ГЕОРГИЙ КОРНИЕНКО

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕЕ УЧАСТНИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Георгий Маркович Корниенко – Чрезвычайный и Полномочный посол, заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации, Герой Социалистического Труда. На протяжении сорока лет службы во внешней политике ему пришлось быть участником важнейших событий международной жизни послевоенного периода. Вместе с тем он волею судьбы оказался очевидцем и закулисной стороны того, как творилась не только внешняя, но и внутренняя политика в высших эшелонах власти до и после 1985 года.

Цель издания: основываясь на воспоминаниях автора и собранных им материалах, показать читателю наиболее интересные эпизоды «холодной войны».

- Георгий Маркович Корниенко
  -
  - ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
  - Глава 1. КАК Я ОКАЗАЛСЯ НА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»
  - Глава 2. У ИСТОКОВ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
  - Глава 3. ПАМЯТНОЕ О ПРЕЗИДЕНТСТВЕ ЭЙЗЕНХАУЭРА
  - Глава 4. УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – ВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА Н. С. ХРУЩЕВА И ДЖОНА Ф. КЕННЕДИ
  - Глава 5. КАРИБСКИЙ КРИЗИС: ЕГО ПРИЧИНЫ, ХОД И УРОКИ
  - Глава 6. НА ПОДСТУПАХ К РАЗРЯДКЕ
  - Глава 7. РАЗРЯДКА И ЕЕ УГАСАНИЕ
  - Глава 8. СНОВА УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
  - Глава 9. АФГАНСКАЯ ЭПОПЕЯ: ПЕРИПЕТИИ ВОКРУГ ВВОДА И ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
  - Глава 10. ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ САМОЛЕТ: ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРИЩА
  - Глава 11. ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ О РАКЕТАХ СС-20 и СС-23
  - Глава 12. ДО И ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
  - Глава 13. ЧТО ТАКОЕ «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»?
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

○ 4

Георгий Маркович Корниенко Холодная война. Свидетельство ее участника

Я больше опасаюсь наших собственных ошибок, чем происков врагов.

Перикл

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Как при подготовке первого издания книги «Холодная война», вышедшей в 1994 году в издательстве «Международные отношения», так и при работе над предлагаемым читателю новым, дополненным изданием я испытывал две основные трудности.

Первая заключалась в том, что за десятилетия информационно-аналитической и дипломатической работы я приучил себя (и ценил это качество в других) писать максимально лапидарно, емко по содержанию, но кратко по форме, строго логично, без всяких словесных красивостей. И никогда не был согласен с теми, кто говорит, будто из «большой бумаги всегда можно сделать короткую». По моему убеждению, хорошо написанную «бумагу» невозможно сократить без серьезного ущерба для ее содержания.

В этой связи могу признаться, что, хотя я не страдаю тщеславием (при наличии других пороков), мне было приятно прочитать в одном серьезном американском исследовании следующий комплимент в свой адрес: «В библиотеках исследовательских центров накоплены миллионы страниц, написанных бывшими официальными лицами. И только в ничтожно малом проценте из них можно обнаружить слова, выбранные с точностью и осмысленностью, сопоставимыми с тем, что мы находим у Кеннана, Ачесона, Нитце, Боуи, Кейзена, Блэквилла и Корниенко».

Речь здесь идет о подготовленном мною анализе главного, на мой взгляд, документа «холодной войны» – директивы Совета национальной безопасности США № 68 (СНБ 68), утвержденного президентом Трумэном в 1950 году. Текст этого моего анализа читатель найдет в главе 2 настоящего издания.

Однако та лаконичность, которая предпочтительна для деловых бумаг, – не самая лучшая манера письма, когда идет речь о книге, предназначенной для широкого круга читателей. Насколько автору удалось преодолеть эту трудность, судить не мне.

Вторая трудность при написании книги заключалась в том, что надо мною довлело ироничное высказывание Жоржа Сименона по адресу мемуаристов: «За свою жизнь я прочел множество мемуаров, но что-то не припоминаю признаний вроде: «При таких-то обстоятельствах я сел в лужу» или нечто подобное».

Чтобы преодолеть эту трудность, я решил для начала

поведать историю, как я в начале своей дипломатической карьеры действительно сел в большую лужу, в которой она (карьера) едва и не закончилась. Тогда не было бы и предлагаемой читателям книги, от чего они, впрочем, а тем более история, наверное, не пострадали бы.

Дело было так. Весной 1954 года в Женеве проходила Международная конференция по Индокитаю и Корее. Советскую делегацию возглавлял В. М. Молотов, ставший после смерти Сталина вновь министром иностранных дел. В качестве одного из экспертов я тогда впервые выехал за границу. Вскоре на приеме, устроенном советской делегацией в отеле, где она размещалась, я опять-таки впервые в жизни выпил виски. Хотя в те годы я вполне мог позволить себе выпить сто, а то и полтораста граммов водки, да еще «с прицепом» (т. е. с кружкой пива), от одной порции виски с непривычки мне стало настолько нехорошо, что я поторопился в свой номер. Однако прежде чем я добежал до него, произошло то, что в таких случаях обычно бывает.

На следующий день Молотову было доложено, что кто-то из сотрудников делегации «перебрал» на приеме и «наследил» в коридоре. Последовало указание найти безобразника, отправить в Москву и примерно наказать. Меня спасло только то, что два незнакомых мне сотрудника МИДа, свидетели моего позора, не выдали меня. А сам я не последовал примеру того чеховского героя, который «в порядке сомнения сделал у самого себя обыск, а не нашедши ничего предосудительного, все-таки сводил себя к квартальному». Надеюсь, Бог простит мне это прегрешение.

Предлагаемая читателю книга – это не попытка воссоздать систематизированную историю «холодной войны». Моя цель намного более ограниченная: на основе личных воспоминаний и доступных мне материалов рассказать об отдельных этапах «холодной войны» и не всегда связанных между собой эпизодах, которые, как мне кажется, могут представлять интерес для читателей. А кое-что в книге, возможно, пригодится и историкам, занимающимся фундаментальными исследованиями «холодной войны».

Глава 1. КАК Я ОКАЗАЛСЯ НА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»

То, в какой семье я появился на свет, и та среда, в которой прошли мои детские и отроческие годы, не предрасполагали к тому, чтобы я оказался на дипломатическом поприще.

Раннее детство

Родился я 13 февраля 1925 года в селе Андреевка Казанковского района Николаевской области Украины. Отец мой был выходцем из крестьян, сумевшим получить среднее агрономическое образование. Мать – тоже из крестьян, очень мудрая в житейских делах женщина, но азам грамоты она научилась на курсах ликбеза (ликвидация безграмотности), когда ей было уже за сорок, одновременно с тем, когда я – самый младший из пятерых детей – пошел в первый класс.

До переезда в Херсон в 1929 году, наряду со службой отца на государственной, или, как она тогда называлась, казенной, сельскохозяйственной опытной станции, наша семья имела свое крестьянское хозяйство, причем довольно крепкое. Как это стало мне понятно впоследствии, сам переезд семьи в город был продиктован не только желанием дать образование детям, но и тем, что отец мудро решил отделаться от деревенского хозяйства, дабы не оказаться в числе «раскулачиваемых» (хотя хозяйство велось силами самой семьи). Он предпочел сосредоточиться на работе в госсекторе агрономом, каковым и оставался на протяжении последующих более чем тридцати лет вплоть до своей смерти в 1963 году. Он немало сделал для внедрения на юге Украины ранее не культивировавшихся там новых культур и выведения новых сортов растений.

В конце 20 – начале 30-х годов в Херсон переехали также четыре брата и три сестры матери. Двое из братьев, как и их жены, учительствовавшие раньше в селах, со временем стали уважаемыми людьми своей профессии и в городе. Третий брат стал почтовым работником, а четвертый – самый старший в семье, не получивший образования, – работал в санэпидемстанции разнорабочим. Две старшие сестры матери смолоду ушли в монастырь, а когда монастыри позакрывали, одна из них стала медсестрой, а другая, инвалид с детства, помогала по хозяйству своей подруге по монастырю.

В отличие от своих старших сестер мать моя, хотя и верила в Бога, особой богомольностью не отличалась – сказывалось, видимо, и наличие большой семьи, требовавшей забот и времени. Лишь по каким-то праздникам она зажигала лампаду перед иконами Казанской Божьей матери и Николая Угодника и ходила в церковь. В этих случаях она брала и меня с собой, но только до тех пор, пока я не пошел в школу. А с началом войны, особенно после гибели одного из моих братьев, ее вера в Бога вообще поколебалась – если Он есть, говорила она, и если согласно Святому Писанию ни один волос не упадет с головы человека без Его воли, то как же Он может допускать гибель тысяч и миллионов ни в чем не повинных людей? Отец на моей памяти (а помню я себя с четырех лет) в церковь не ходил и других признаков верующего человека не проявлял.

И мой отец, и родственники матери, усердно занимаясь каждый своим профессиональным делом, не выказывали и какой-либо политической активности – были не «за», не «против» существовавшей власти.

И тем не менее по мере нарастания с 1934 года волны репрессий, когда все чаще стали пропадать сослуживцы, соседи, знакомые, которых трудно было заподозрить в чем-либо предосудительном, в разговорах в семейном кругу, не предназначавшихся для детских ушей, но доходивших до них, чувствовалась все большая встревоженность за свои собственные судьбы, а также неодобрение происходившего.

Тяжелым ударом для всей нашей большой и дружной родни явилась трагическая смерть в те годы одного из двоюродных братьев матери. Выходец, как и она, из простой крестьянской семьи, он сумел получить еще до 1917 года юридическое образование. В гражданскую войну он, как и будущая его жена, воевал на стороне красных, а к середине 30-х годов занял пост председателя военного трибунала ОКДВА (Особой Краснознаменной Дальневосточной армии). С началом репрессий среди военных он попытался было противиться требованиям «троек» штамповать расстрельные приговоры по явно сфабрикованным обвинениям против людей, в невиновности которых он был убежден. А когда ему стало ясно, что вот-вот и сам окажется на их месте, он предпочел покончить с собой, желая сохранить свое доброе имя и, по крайней мере, избавить жену и двоих детей от клейма «семьи врага народа». Он так и написал в предсмертной записке жене, которая, переехав после его смерти в Херсон, поведала нам эту печальную историю.

Определенную роль в моем «политическом просвещении» сыграли рассказы отца о трудной доле людей, среди которых ему

пришлось работать во второй половине 30-х годов в качестве вольнонаемного агронома. Это была сельскохозяйственная колония, располагавшаяся на окраине Херсона. Я и сам неоднократно бывал там и видел этих «преступников». Это не были политические заключенные, но это не были и уголовники в привычном смысле этого слова. В колонию попадали обыкновенные люди – и городские, и деревенские – за всякие мелкие провинности. «Население» колонии существенно увеличилось, когда стали судить людей за опоздание на работу более чем на 15 минут. Своими глазами я видел на улицах города и умиравших от голода людей в 1933 – 1934 годах.

В детстве я часто болел, подолгу не выходил из дома и читал все, что попадало мне в руки. Так в 13-летнем возрасте я прочитал принесенную отцом или кем-то еще брошюру с текстом обвинительного заключения по делу Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других. Помнится, у меня возникли какие-то недоуменные вопросы по поводу прочитанного. Когда я стал задавать эти вопросы отцу, он оборвал меня: «Не твоего ума это дело», а затем после паузы добавил: «Вот сохрани эту брошюру и прочитай ее лет через десять, тогда, может быть, чего-нибудь и поймешь». И случилось так, что, несмотря на все жизненные перипетии – и эвакуацию во время войны, и многочисленные переезды в последующем, когда обычно выбрасывалось многое из накопившегося хлама, у меня сохранились из далекого детства две книжонки. Одна с рисунками собак, число которых увеличивается с каждой страницей (по ней я учился счету), а вторая – та самая брошюра с обвинительным заключением по делу Бухарина. Брошюру эту я действительно не раз перечитывал по мере взросления и в последующем на переломных этапах политической жизни нашей страны. И с каждым разом мне становились все более ясными абсурдность и злонамеренность содержавшихся в ней обвинений.

Забегая далеко вперед – Сталин, Эйнштейн и Сахаров

Забегая вперед, могу сказать, что, когда в 1956 году в партийных организациях зачитывали доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС с осуждением культа личности Сталина и связанных с ним трагических событий, пережитых нашим народом, я был внутренне подготовлен к этому, в отличие от многих моих сослуживцев и просто знакомых, для которых этот доклад явился громом среди ясного неба.

Поскольку я уже разорвал хронологическую нить своего

автобиографического повествования, хочу «здесь и сейчас» изложить свое принципиальное отношение к сталинскому периоду жизни нашей страны. Это сделает, я думаю, для читателя понятнее мой подход ко многим вопросам и событиям, освещаемым в книге.

С одной стороны, у меня уже смолоду возникло и с годами становилось все более осознанным и определенным отрицательное отношение к режиму единоличной власти Сталина со страшными последствиями для миллионов и миллионов наших сограждан – и близких нам, и просто людей, причем далеко не худших, а в значительной мере лучших членов нашего общества. Никакого оправдания тем злодеяниям, которые творились при Сталине – и им самим и его сподвижниками, по моему убеждению, быть не может.

Единственной заслугой Сталина (заслугой без кавычек) я могу признать – **но не в порядке его оправдания, а в качестве констатации факта** – его роль в Великой Отечественной войне. Да, он сам был ответствен и за то, в каком бедственном положении оказались страна и ее вооруженные силы к началу войны, и за те потери, которые они понесли в ее первый период. Все это так, но давайте задумаемся над вопросом: что произошло бы в той трагической ситуации, которая сложилась, повторяю, по его собственной вине, если бы не его же железная воля и твердая рука, позволившие, разумеется, ценой огромных усилий и новых жертв всего народа, переломить ход войны и одержать победу над гитлеровской Германией?

Я не раз задавал этот вопрос сам себе и обсуждал его с другими, в том числе знавшими реальное положение в стране и в армии в ту пору, и каждый раз вывод был один: в этом случае военного таланта и столь же твердой руки одного Г. К. Жукова вряд ли хватило бы на всю страну. Вероятность поражения Советского Союза в войне была бы неизмеримо большей, а скорее всего оно было бы неизбежным, со всеми вытекающими отсюда тяжелейшими и долговременными последствиями и для нас, и для всего мира. Но даже эта заслуга Сталина не может, конечно, служить ему индульгенцией за все грехи, содеянные и в довоенный, и в послевоенный периоды.

С другой стороны, я никогда не ставил знак равенства между моим отрицательным отношением к сталинскому авторитарному режиму власти и моим восприятием идей социальной справедливости, коллективизма и всего остального, что ассоциировалось в моем представлении с социализмом как более прогрессивным и более предпочтительным общественным строем, чем капитализм.

Важную роль в формировании такого представления еще в мои молодые годы сыграл, как это ни странно, гениальный физик Альберт Эйнштейн. Бытует мнение о нем как об ученом-отшельнике, не интересовавшемся ничем, кроме своей теории относительности и прочих премудростей, недоступных пониманию большинства из нас. На деле это далеко не так – он был мыслителем гораздо более широкого плана. Теперь уже довольно широко известно, что именно он привлек внимание президента США Ф. Рузвельта к тому, что в гитлеровской Германии велись работы по созданию атомного оружия, и призвал его развернуть аналогичные работы в США. Однако, когда к концу 1944 года стало ясно, что Германия не преуспела в разработке атомного оружия и что исход Второй мировой войны предрешен, Эйнштейн был первым, кто вместе с Бертраном Расселом и другими выдающимися учеными обратился к Рузвельту незадолго до его смерти с призывом не выпускать атомного джинна из бутылки, не доводить дело до испытаний атомной бомбы и тем более до ее практического применения. (Сейчас никто не скажет, как поступил бы Рузвельт, проживи он дольше, но сменивший его Г. Трумэн был не тем человеком, который прислушался бы к голосу разума.)

Сегодня мало кто знает, что Эйнштейн задумывался и над путями дальнейшего развития человеческого общества, над угрозами, которыми чреват для него неправильный выбор пути. Плоды своих размышлений на этот счет Эйнштейн изложил в прочитанной мною в 1946 или 1947 году статье «Капитализм или социализм?», опубликованной в одном из американских журналов. В ней с присущей ученому-естественнику, в отличие от общественников, скрупулезностью Эйнштейн проанализировал на примере США реальные преимущества и столь же реальные негативные стороны капиталистической общественно-экономической формации и пришел к выводу, что вторые перевешивают первые. Особый акцент он сделал на расточительности – при кажущейся эффективности – капиталистического способа производства и объяснил, какими бедами это грозит человечеству. В частности, Эйнштейн говорил об истощении природных, прежде всего энергетических ресурсов, а также об экологических последствиях этого. Помнится, он приводил такой пример: США при населении, составлявшем тогда 5 % населения всего мира, потребляли 30 % мировых энергетических ресурсов, причем значительная их часть тратилась впустую, выбрасывалась в полном смысле слова на ветер. Как известно, ситуация в этом отношении к настоящему времени не улучшилась, а еще больше усугубилась. Именно США

и другие промышленно развитые капиталистические страны сегодня повинны в расширяющейся пропасти между богатыми и бедными странами и в нарастании катастрофических последствий для среды обитания всего человечества.

В итоге Эйнштейн пришел к выводу о предпочтительности и большей справедливости социалистического строя. Он не говорил при этом о советской модели социализма. Он говорил о социализме как таковом – правильно понимаемом и гуманно создаваемом.

Суждения Эйнштейна повлияли на мое мировоззрение, пожалуй, больше, чем штудировавшиеся мною в то же самое время сталинские «Вопросы ленинизма».

А в том, что я и по сей день не отрекся от своей приверженности идеалам социализма, несмотря на выявившиеся изъяны его советской модели, немалую роль сыграл другой выдающийся физик, наш соотечественник Андрей Сахаров. Ведь он при всем своем критическом отношении к существовавшему в нашей стране режиму власти не предавал анафеме социализм. Об этом, как и о предложенном Сахаровым в 1989 году проекте конституции, нынешние наши «демократы» и «либералы» предпочитают не вспоминать. А новая их поросль, возможно, и ведать не ведает о **таком** Сахарове. Между тем, сахаровским проектом предусматривалось сохранение «Союза советских республик Евролпы и Азии», а в качестве долгосрочной перспективы предлагалось зафиксировать «стремление к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем».

Согласиться же с рассуждениями тех западных и наших доморощенных «философов» и «политологов», которые считают капитализм самой совершенной, конечной стадией развития человеческого общества, – означало бы вообще перестать верить в прогресс, в поступательное восхождение цивилизации ко все новым вершинам человеческого разума и духа.

Нельзя не удивляться «догматизму наоборот», а также исторической и политической безграмотности иных нынешних политиков. Не счесть, например, сколько тысяч раз за последние 15 лет прозвучали проклятия в адрес коммунистов по поводу того, что они якобы действовали по принципу «разрушим **всё** до основания, а затем…», как это, дескать, предписывает партийный гимн «Интернационал». Но ведь в «Интернационале» (который, кстати, до сих пор остается гимном некоторых современных западноевропейских социалистических партий, как и

революционная «Марсельеза» остается государственным гимном Франции) нет и никогда не было такого призыва – там есть совершенно другое: «**весь мир насилья** мы разрушим до основанья…» Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Ну, и уж совсем мало кому ведомо, что до 30-х годов в русском тексте «Интернационала» в соответствии с французским оригиналом пелось не «весь мир насилья мы **разрушим** до основанья…», а «весь мир насилья мы **разроем** до основанья…». И здесь тоже есть принципиальная разница – французы, создатели пролетарского гимна, как видно, мечтали о том, чтобы сломать, стереть с лица земли «мир насилья» как политическую надстройку, но без разрушения фундамента, ибо любое новое общество создается на фундаменте предшествовавших ему. Более того, и многие «надстроечные» элементы переносятся в новое общество. Марксистам, да и просто грамотным юристам должно быть известно, например, что принцип, который принято считать социалистическим: «от каждого по способностям, каждому по труду», – это норма буржуазного права, которая при социализме должна воплощаться в жизнь более последовательно и полно.

Возвращение в детство

Но вернусь в свое детство. У меня было три брата и одна сестра (вторая умерла совсем маленькой еще до моего рождения). Я был самый младший – соответственно, приходилось донашивать одежду и обувь старших. Жила семья после переезда в город если не голодно, так как отец работал на земле, да и свой небольшой огород был, но и не очень сытно. Два старших брата и сестра после окончания средней школы уехали учиться в другие города и жили на стипендии и свои приработки, рассчитывать на регулярную помощь родителей не приходилось. Третий брат, который был на три года старше меня, по окончании средней школы в 1941 году поехал в Ленинград поступать в Военно–медицинскую академию – хотел стать хирургом. Но вскоре курсанты академии, в том числе вновь принятые, не прошедшие военной подготовки, были направлены на фронт под Ленинградом.

До сих пор звучат в ушах услышанные мною впервые рыдания матери, когда пришло письмо от брата, в котором он описывал свой первый бой. Большинство курсантов там и погибло, а оставшихся в живых направили в другие военные училища. Менее чем через год брат был уже командиром железнодорожной бронеплощадки с зенитными установками в районе Сталинграда,

где и погиб 2 октября 1942 года. Случилось так, что извещение о гибели брата вручили мне. Я не решился сразу сказать об этом матери, а вечером отдал похоронку отцу, но и он сообщил матери только месяца через три. Отец думал, что длительное отсутствие писем от сына психологически подготовит ее к страшной вести, но горе от этого не стало меньшим. Каким-то утешением для матери было лишь то, что вскоре удалось установить место его захоронения, и после войны она и сестра побывали на его могиле и установили памятник.

У меня с детства была тяга к естествознанию, и, не случись войны, я скорее всего пошел бы по отцовскому пути, тем более что в Херсоне находился один из лучших на Украине сельскохозяйственных институтов. В 15-летнем возрасте, в 1940 году, я был даже участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (тогда ВСХВ, потом – ВДНХ, теперь – ВВЦ) по павильону «Юные натуралисты». Тогда-то я и побывал впервые в Москве.

Белинский и «Неизвестная война»

При посещении выставки мне прежде всего бросились в глаза и навсегда запали в память слова известного деятеля русской культуры Виссариона Белинского, сказанные им в 1841 году и начертанные над входом в главный павильон выставки: «Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1941 году, идущую впереди просвещенного мира».

С учетом событий 20-х и 30-х годов могут быть, конечно, разные мнения насчет того, в какой мере сбылось пророчество Белинского к 1941 году, но бесспорным является то, что ценою огромных жертв Россия в лице Советского Союза сыграла решающую роль в спасении просвещенного мира от нависшей над ним в середине XX века угрозы фашистской чумы. Жертвы, принесенные ради этого русским и другими народами Советского Союза, были действительно колоссальными: погибло 27 миллионов человек, были разрушены сотни городов и десятки тысяч деревень.

Когда американскими кинематографистами в содружестве с советскими была создана киноэпопея о Великой Отечественной войне, обошедшая экраны мира под названием «Неизвестная война», у многих в нашей стране такое название вызвало большое недоумение, а у некоторых даже возмущение: как можно говорить так о войне, которая разорила всю европейскую часть нашей страны, унесла жизни десятков миллионов человек и еще больше покалечила?

Но вовсе не удивительно, что для большинства ныне живущих американцев даже старшего поколения та наша война была действительно малоизвестной, а для многих и совсем

неизвестной, тем более что территория самих Соединенных Штатов во Второй мировой войне вообще не пострадала. Да и потери США убитыми и ранеными были несопоставимы с потерями СССР. При всем том, что гибель и одного человека – это трагедия, все же 390 тысяч погибших американцев далеко не то же самое, что 27 миллионов погибших советских людей.

Для наглядности можно привести и такие цифры: за годы Второй мировой войны, корейской и вьетнамской войн США потеряли 500 тысяч человек, а за эти же годы на дорогах США в результате автокатастроф погибли 815 тысяч человек. Другими словами, похоронки с театров войны приходили в дома американцев гораздо реже, чем известия о гибели их близких в автокатастрофах.

А о степени осведомленности, а вернее неосведомленности о событиях Второй мировой войны большинства нынешнего поколения американцев ярко свидетельствуют результаты опроса, проведенного в США незадолго до создания вышеназванного фильма. Оказалось, что 44 процента американцев не знало, что США и СССР были союзниками во Второй мировой войне, а 28 процентов даже полагали, что СССР воевал против США на стороне Германии, и только 28 процентов дали правильный ответ. Возможно, и это сыграло свою роль в выборе авторами фильма не очень понятного многим нашим соотечественникам названия.

Надо сказать, что большинство американцев вообще не очень хорошо знают историю даже собственной страны. Однажды в 70-е годы мне случилось смотреть по американскому телевидению следующий репортаж. В небольшом городе журналисты местной газеты подходили к прохожим на улицах, просили их прочесть какой-то текст и в случае согласия подписаться под ним. Многие просто отмахивались, не желая останавливаться, – в этом ничего удивительного не было. Поразительным было то, что из десяти человек, согласившихся прочитать текст, 9 отказались поставить под ним подпись, причем 6 из них сделали это с возмущением, заявив, что им подсовывают «коммунистическую пропаганду». И только один человек из десяти отнесся к прочитанному спокойно – он узнал текст Декларации независимости, с провозглашения которой в 1776 году началась история Соединенных Штатов Америки.

Война круто изменила мою судьбу. В августе 1941 года я с родителями эвакуировался из Херсона, под бомбежками и обстрелами добрались вначале до Северного Кавказа (там жили наши знакомые), а затем, когда и туда стали подходить немцы, уехали в Хабаровск, где в то время работал один из старших братьев.

В январе 1943 года мне пришло время идти в армию, но ввиду непригодности к армейской службе из-за болезни почек призывная комиссия направила меня на службу в органы госбезопасности. Примерно полгода я служил на радиостанции под Хабаровском, где в мои обязанности входило и прослушивание японских передач на русском языке. Это было мое первое приобщение к внешнеполитической сфере.

Когда подошло время сдачи экзаменов за 10-й класс, я отпросился у начальства на несколько дней и отправился в школу. Первым в ту пору всегда был экзамен по русскому языку и литературе – сочинение. На выбор предлагались три темы – две по произведениям классиков, а третья тема называлась «Данко и Гастелло». (Для молодых читателей, которые могут не знать этих имен, поясню: Данко – герой рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Чтобы вывести соплеменников из темной лесной чащобы, вырвал из груди свое сердце, вспыхнувшее ярким светом. Николай Гастелло – советский летчик, самолет которого был сбит во время наступления немцев на Москву. Вместо того чтобы выброситься на парашюте, он направил горящий самолет на вражескую танковую колонну.)

Я избрал именно эту тему и в качестве эпиграфа накропал несколько стихотворных строк, сохранившихся в памяти и сегодня:

Данко погиб, служа народу.
Любя его, он отдал все, что мог.
И чтобы добыть людям свободу,
Он сердце собственное сжег.
Огонь горел в груди Гастелло,
Когда пошел на подвиг он.
И тело жить еще хотело,
Но сердце вырвалося вон.
И светом праведным пылает,
Врагов сметая впереди,
Пути к победе освещает
И за собой ведет полки.

В таком же ключе, в плане сравнения двух героев – одного из старинной легенды, а второго из современной жизни – было написано и само сочинение. Оно так понравилось школьному начальству, что я был освобожден от сдачи остальных экзаменов.

Прослужив еще некоторое время на радиостанции, а затем в военной цензуре там же в Хабаровске и на Украине, осенью 1944 года я был направлен в Москву на учебу в Высшую школу НКГБ

СССР на факультет иностранных языков, что окончательно определило мою дальнейшую служебную карьеру в сфере внешней политики.

Высшая школа НКГБ – официальные и неофициальные уроки

На собеседовании в приемной комиссии Высшей школы произошел такой казус: на вопрос, чем диктовалось мое желание изучать именно английский, а не какой-нибудь другой язык (выбор там был довольно широкий – от польского до японского), я ответил что-то в том смысле, что английский – это язык главных наших тогдашних союзников и возможных завтрашних главных противников.

Пытаясь впоследствии восстановить в памяти, чем, собственно, был подсказан тогда такой мой ответ, я мог объяснить его только тем, что разговор происходил в тот момент, когда, во-первых, была еще свежа в памяти горечь по поводу двухлетней затяжки с открытием второго фронта в Европе, а, во-вторых, кандидатом в вице-президенты США на выборах 1944 года был выдвинут сенатор Гарри Трумэн – человек, который в 1941 году на следующий день после нападения Германии на СССР заявил, что если Германия будет выигрывать войну, то следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, то следует помогать Германии. Ясно, что перспектива видеть на посту вице-президента, а затем, возможно, и президента США после Рузвельта такого деятеля, как Трумэн, не предвещала ничего хорошего. Помнится, разговоры на эту тему в нашей среде тогда велись.

Однако мой ответ в части «завтрашних главных противников», как я заметил, не всем членам комиссии пришелся тогда по вкусу, и я уже приготовился к тому, что мне будет приказано изучать какой-нибудь более экзотический язык. Но кончилось тем, что я все же был определен в английскую группу. А это, в свою очередь, предопределило то, что в скором будущем, когда, к сожалению, сбылось мое зловещее предсказание, я оказался на главном, советско-американском фронте «холодной войны» – вначале в информационной службе советской политической разведки, а потом в системе Министерства иностранных дел СССР. (Высшее образование я получил экстерном, закончив в 1953 году Московский юридический институт.)

В Высшей школе НКГБ иностранные языки преподавали нам весьма основательно. Достаточно сказать, что одна из

слушательниц нашей группы Галина Маркина (по мужу Федорова) в последующем почти четверть века проработала за границей на нелегальном положении. Число слушателей на факультете иностранных языков было не очень большим, основная же масса курсантов школы обучалась ремеслу контрразведки и работы среди своего населения. Время пребывания в этой школе запомнилось мне не только учебными делами, но и тем, что там пришлось соприкоснуться со многими кадровыми работниками ведомства ГБ, служившими до этого в самых разных его подразделениях. Среди них были всякие люди – и неприятные, и вполне порядочные.

Расскажу о нескольких эпизодах из моей жизни того времени. Через месяца три-четыре после начала учебы дежурный по общежитию, проходя вечером по коридору, услышал за дверью одной из комнат громкие голоса: это я спорил с одним из своих новых товарищей, не согласившимся с высказанным мною сожалением по поводу судьбы Тухачевского и других военачальников. Утром дежурный доложил о подслушанном им крамольном разговоре начальнику факультета. Тот, собрав нас троих в кабинете, обматерил и меня с товарищем, и не менее круто доносчика, едко заметив, что тот, видимо, «ошибся в выборе факультета». На этом дело и закончилось.

Примерно через год в зиму 1945/46 года я получил письмо от отца, в котором сообщалось, что в адрес одного из братьев матери пришла написанная незнакомым почерком и неподписанная записка, в ней говорилось, что пропавший без вести во время войны его сын-военврач, то есть мой двоюродный брат, находится в одном из фильтрационных лагерей где-то под Москвой.

Памятуя, как начальник факультета по-доброму отнесся ко мне, я решился пойти к нему с просьбой навести справки о двоюродном брате. Поначалу он попытался отговорить меня от этой затеи, сказав, что она может обернуться большими неприятностями. Однако поскольку я проявил свое хохляцкое упрямство, он в конечном итоге пообещал попробовать в сугубо неофициальном порядке через знакомых работников НКВД выяснить, в каком из подмосковных лагерей находится мой брат.

Дня через три он сообщил мне необходимые данные и дал увольнительную, но строго предупредил, чтобы в школе никто не знал, куда я поехал, и чтобы в лагере я не ссылался на него, если там спросят, как я узнал место пребывания брата. Продумав легенду на этот случай, я все же поделился своим секретом с двумя наиболее близкими товарищами для того, чтобы вместе с ними под благовидным предлогом выпросить в столовой пару буханок хлеба и немного сахара – авансом в счет полагавшегося

нам довольствия за два дня.

Добрался я на электричке до лагеря, захожу к его начальнику, предъявляю удостоверение слушателя Высшей школы НКГБ СССР и объясняю цель своего приезда. В ответ на вопрос, откуда мне стало известно место пребывания двоюродного брата, сказал, что оно было указано в той самой записке, которую получил его отец. На вопрос же, знает ли мое начальство, куда я поехал, ответил отрицательно.

Посмотрев списки и удостоверившись, что там есть названная мною фамилия, начальник говорит: «А ты понимаешь, младшй (к тому времени я имел звание младшего лейтенанта), что, если я и разрешу тебе увидеться с братом, чего вообще-то делать не положено, то я должен буду сообщить о посещении тобою лагеря и о нахождении здесь твоего родственника своему начальству?» На это я ответил, что не могу, естественно, просить его не делать того, что велит ему долг, ну а я считаю своим долгом увидеться с попавшим в беду братом, чье пребывание в фильтрационном, а не в каком-то ином лагере означает, как я понимаю, то, что его вина пока еще не установлена.

Кончилось дело тем, что начальник лагеря приказал привести брата и, удостоверившись, что тут нет никакой ошибки, даже оставил нас наедине.

Как рассказал брат, он попал в плен при отступлении армии, будучи сам ранен и занимаясь до последнего момента эвакуацией других раненых, находившихся в полевом госпитале. Закончил он свой рассказ просьбой передать всем родным, что греха на его душе нет, чем бы ни закончилось официальное разбирательство его дела. В отличие от многих других, а может быть, даже большинства попадавших в фильтрационные лагеря, брату повезло: на его счастье, нашлись свидетели и тех обстоятельств, при которых он попал в плен, и его достойного поведения в плену. Он был выпущен из лагеря и затем много лет плодотворно врачевал, став со временем главным хирургом Запорожского металлургического завода, был награжден орденом Ленина.

Это к слову. Что же касается начальника лагеря, то он, как и начальник факультета, оказался порядочным человеком. Не только позволил мне встретиться с братом, но и никаких рапортов по этому поводу совершенно определенно не посылал. Иначе меня наверняка вызывали бы если не в особый отдел, то в отдел кадров для соответствующей беседы с возможными дальнейшими последствиями.

На факультете иностранных языков слушателей готовили в основном для работы в Первом главном управлении (внешняя разведка), но некоторое число выпускников предназначалось и

для работы в территориальных органах госбезопасности, в частности там, где имелись иностранные представительства. Очевидно, поэтому, хотя основная часть учебного времени (6–8 часов в день) отводилась языковой подготовке, преподавали нам и так называемую спецдисциплину – основы агентурно-осведомительной работы среди населения.

Эти специальные знания в моей дальнейшей практической работе мне никак не пригодились. В то же время я использовал их, чтобы помочь двоим моим двоюродным сестрам уклониться от вербовки в осведомители, тем более, что «вербовочные подходы» к ним были осуществлены с нарушением существовавших на этот счет правил, о которых я узнал в Высшей школе.

Неязыковые знания, полученные там, помогли мне сориентироваться и в следующей ситуации, с которой я столкнулся в один из своих приездов к родным в Херсон вскоре после окончания учебы. В это время у младшей сестры моей матери – моей любимой тети – родилась внучка, и тетя, а также ее приемная дочь – мама новорожденной попросили меня быть ее крестным отцом. При этом не «виртуальным», как сказали бы сейчас, а самым настоящим, то есть принять участие в церковном обряде крещения новорожденной. Я, конечно, ясно представлял себе, чем это грозило мне – члену партии, сотруднику госбезопасности, – если бы о моем участии в обряде крещения стало известно «кому положено». А вероятность этого была вполне реальной хотя бы потому, что большинство священнослужителей, как известно, находилось «на крючке у органов». К тому же сам я не был верующим (как не прикидываюсь оным и сейчас). Но мне было совестно отказать родным, тем более что, будучи сам атеистом, я всегда уважительно относился к верующим. И проведя «разведку» через двух других маминых сестер, бывших монашек, постоянно посещавших церкви и хорошо знавших священника, я сделал то, что мне подсказала совесть, а не страх перед возможными последствиями. И никаких последствий не было. Но вот крестницу свою я увидел в следующий раз – так сложилась жизнь – только через 50 с лишним лет.

Как и в случае с посещением двоюродного брата в фильтрационном лагере, я не считал этот свой поступок каким-то героическим. Так же поступали и многие другие. А рассказываю я о об этих эпизодах из своей биографии вот почему. Мне хочется, чтобы у людей, по молодости лет не живших в те действительно нелегкие времена, не создавалось под влиянием заполонившей книжный рынок и телевидение «чернухи» превратного

впечатления, будто в сталинское время существовали лишь две с половиной категории людей: одни сидели в тюрьмах и лагерях, другие строчили доносы, ну а остальные только и делали, что дрожали от страха, забившись в щели, как тараканы, или зарывшись в ил, как пескари.

Нет, в большинстве своем люди изо дня в день в меру сил и способностей трудились на благо своей семьи, своего народа, своей Родины, подчиняясь, разумеется, правилам, диктуемым режимом, но в то же время оставаясь честными людьми, поступающими по совести.

Однако времена до 1953 года были, конечно, тяжелые, и люди нередко попадали в совершенно идиотские ситуации, которые нынешнему молодому поколению просто невозможно представить себе. Приведу для примера два-три случая, имевших место уже после окончания учебы в Высшей школе. Где-то в 1947 году в розданном слушателям семинара плане очередного политзанятия обнаружился допущенный машинисткой страшный «грех». В перечне рекомендуемой литературы после пункта «Речь т. Сталина перед избирателями…» шел пункт «Выступление т. Черчилля в Фултоне…» Тут же было созвано партийное собрание, где бедную машинистку обвинили в политическом недомыслии: как она умудрилась напечатать букву «т.» перед фамилией Черчилля, заклятого врага Советского Союза.

Другой аналогичный случай, произошедший, помнится, в 1948 – 1949 годах. Заходит в кабинет, где работают несколько человек, сослуживец из соседней комнаты и начинает шумно выражать эмоции по поводу проигрыша наших футболистов венграм. Один из работников говорит: «Ну и хрен с ними. Не мешай работать». И его тоже начинают прорабатывать на партийном собрании за «непатриотическое поведение». Полный абсурд. Но опять же хочу отметить, что и в том и в другом случае на собраниях раздавались и здравые голоса.

Более серьезный случай. В 1950 году, когда началась корейская война, мне пришлось участвовать в подготовке для высшего руководства первой разведывательной сводки о реакции за рубежом на происходившее в Корее. Так как из всех поступавших разведданных вытекало, что военные действия были начаты Северной Кореей (более обстоятельно этот вопрос будет освещен в следующей главе), то, соответственно, это нашло отражение и в подготовленной сводке. Поскольку, однако, по нашей официальной версии, военные действия начала Южная Корея по наущению США, сводка была забракована, и начальник отдела, где она готовилась, подвергся соответствующему «промыванию мозгов». Возникла нелепая ситуация: получалось,

что разведка должна была докладывать руководству не о подлинной реакции в мире на события в Корее, а нечто совсем другое. Однако выход из этой ситуации был найден довольно простой, а главное, такой, что нам не пришлось грешить против истины в том, что касалось существа дела. Практически ничего не меняя в подготовленной информации, мы предпослали ей буквально один абзац, в котором говорилось, что американцам удалось с помощью мощного пропагандистского аппарата быстро распространить по всему миру свою версию начала военных действий в Корее, чем, дескать, и объясняется изложенная далее реакция на эти события. Существо же этой реакции, повторяю, было сохранено без изменений.

Работа в разведке и около нее

По окончании осенью 1946 года Высшей школы МГБ СССР (к тому времени наркоматы были переименованы в министерства) я был направлен на работу в Информационное управление Первого главного управления МГБ. Около года я проработал в переводческом бюро, занимавшемся переводом добываемых разведкой документов, а затем перешел в американский сектор этого же, Информационного управления, где систематизировались и анализировались поступающие материалы и на их основе готовилась соответствующая информация для руководства и других заинтересованных ведомств.

Оперативной разведывательной работой мне заниматься не пришлось. Несколько раз руководители оперативных подразделений предпринимали попытки переманить меня к себе, но каждый раз мое начальство пресекало эти поползновения. Да, откровенно говоря, я и сам больше тяготел к информационно-аналитической работе, чем к работе «в поле».

Между тем информационная служба внешней разведки, как и сама разведка, претерпевала различные трансформации, о чем хотелось бы тоже коротко рассказать, тем более что за последние годы в печати появлялись публикации, в которых допускались неточности при освещении этого вопроса.

Весной 1947 года, вслед за созданием в США Центрального разведывательного управления, у Сталина возникла идея «переплюнуть» американцев. В США при создании ЦРУ были сохранены военная и другие ведомственные разведслужбы, а на ЦРУ, наряду с функциями политической разведки и проведения спецопераций, были возложены функция координации

деятельности других разведслужб, а самое важное – функция анализа, сопоставления и обобщения информации, поступающей по всем каналам, включая открытые публикации.

Сталин же решил собрать под одну крышу в прямом смысле этих слов все разведывательные службы. Первоначально предполагалось назвать этот орган Комитетом № 4 при Совете Министров СССР. Потом появился новый вариант – Комитет экономических исследований при Совете Министров, были уже заготовлены печати, бланки и папки с таким наименованием. В конце концов, к осени 1947 года Сталин и Молотов остановились на названии – Комитет информации при Совете Министров СССР. Молотов и стал председателем этого Комитета, хотя практически повседневной работой руководили два его заместителя – генерал Федотов, пришедший из МГБ, и адмирал Родионов, пришедший из Министерства обороны. В таком виде Комитет информации просуществовал всего два года, в 1949 году военная разведка вернулась в систему Министерства обороны. Статус комитета был понижен – отныне он стал именоваться Комитетом информации при МИД СССР, а не при Совете Министров СССР, и Молотов перестал быть его председателем. В течение следующих двух лет эту должность занимали поочередно три заместителя министра иностранных дел – Вышинский, Зорин и Малик. Однако все трое всячески старались – и небезуспешно – отделаться от этих непривычных для них и деликатных обязанностей. Практически работой комитета в те годы руководил генерал Савченко, бывший до этого министром госбезопасности Украины.

В 1951 году и политическая разведка была возвращена в систему МГБ, но Комитет информации при МИД СССР был сохранен в качестве информационно-аналитической службы на правах автономного органа (с тех пор его иногда называли Малым комитетом). Замысел заключался в том, что в Комитете информации должна была по-прежнему концентрироваться вся политическая и военно-политическая информация, поступающая как по линии разведок, так и по официальным каналам. Она обрабатывалась, сопоставлялась и обобщалась для докладов в ЦК КПСС, правительство и заинтересованные ведомства с соответствующими выводами и соображениями. С целью сохранения тесных рабочих контактов с разведслужбами сотрудники Комитета информации были оставлены в так называемом действующем резерве МГБ и Министерства обороны (им присваивались очередные ранги и т. д.). Председателем Комитета был назначен по совместительству первый заместитель министра иностранных дел А. А. Громыко.

Однако с течением времени поступление информации в

Комитет становилось все более скудным – ведомства предпочитали докладывать руководству страны наиболее важную информацию самостоятельно, минуя Комитет информации. Постепенно ему становилось все труднее выполнять возложенные на него функции.

Поскольку, однако, потребность в едином информационном органе подобного рода определенно существовала, в 1958 году в ЦК КПСС был создан Отдел информации с такими же функциями, какие возлагались ранее на Комитет информации. Заведующим этого нового отдела ЦК был назначен опытный дипломат Г. М. Пушкин, а я стал там заведовать американским сектором (к моменту этой очередной реорганизации я был в Комитете информации начальником американского отдела). Одновременно Комитет информации преобразовали в Управление внешнеполитической информации в качестве одного из обычных подразделений МИД СССР.

Но уже через год, весной 1959 года, Отдел информации ЦК КПСС тоже был расформирован. Объяснялось это тем, что тогдашний Первый секретарь ЦК Н. С. Хрущев вообще не имел вкуса к информации, а непосредственно курировавший отдел секретарь ЦК Мухитдинов по своим деловым качествам тем более не мог помочь отделу найти свое место в аппарате ЦК.

Постоянная «прописка» в МИД СССР

При расформировании Отдела информации Пушкин и ряд других его сотрудников, в том числе я, вернулись в МИД. Пушкин стал заместителем министра, а мне Громыко, ставший в 1957 году министром иностранных дел, предложил пост заместителя заведующего Отделом стран Америки. В конце 1959 года меня направили в посольство СССР в США, где я выполнял обязанности советника, а затем советника-посланника до октября 1964 года. С 1965 года до апреля 1986 года я работал в центральном аппарате МИДа в качестве заведующего Отделом США – сначала члена коллегии министерства, затем заместителя министра (с 1975 г.) и первого заместителя министра (с 1977 г.). Хотя постепенно круг моих обязанностей расширялся, главными в моей работе оставались проблемы, так или иначе связанные с США.

Поначалу изредка, а потом все чаще Громыко брал меня с собой на заседания Политбюро ЦК, когда там обсуждались внешнеполитические вопросы. А после назначения меня первым заместителем министра по установившейся традиции я присутствовал практически на всех регулярных заседаниях

Политбюро, даже когда там рассматривались не только внешнеполитические, но и другие вопросы, кроме кадровых и особо щекотливых, которые обычно слушались до или после обсуждения официальной повестки дня.

За исключением последних лет жизни Л. И. Брежнева заседания Политбюро были не такими уж короткими, как это иногда изображается сейчас. Но беда в том, что чем длительнее были заседания, тем тягостнее было видеть, насколько некомпетентно, а иногда просто несерьезно решались многие народнохозяйственные и другие вопросы, сколько времени тратилось на комплименты в адрес первого лица и вообще на пустословие. Наблюдать все это для меня лично было мучительно. Пару раз после того, как заканчивалось обсуждение мидовских вопросов, я подходил к Громыко и просил разрешения уйти, тем более что в МИДе всегда ждали другие дела. Но он оба раза велел оставаться, а по возвращении в МИД втолковывал мне, что для того, чтобы осмысленно вести внешнеполитические дела, надо хорошо знать, что происходит внутри страны. Спорить с этим было трудно.

Присутствуя на заседаниях Политбюро, я в тех случаях, когда ощущал такую необходимость, встревал в обсуждение мидовских вопросов, особенно если Громыко по каким-то соображениям не использовал весь арсенал аргументов в пользу того или иного предложения, а тем более когда Громыко отсутствовал. Поскольку же присутствующим на заседании из категории приглашенных не полагалось «высовываться» со своим мнением, если ведущий заседание не обратится к нему с каким-то вопросом, я использовал обычно такой ход: просил у ведущего разрешения **дать справку** по обсуждаемому вопросу, а затем, оттолкнувшись от каких-нибудь фактических данных, присовокуплял к этому ту аргументацию по данному вопросу, которую считал необходимым. В этой связи некоторые члены ПБ в шутку звали меня «товарищ Справка».

За время работы в ЦК КПСС в 1958–1959 годах и особенно за период с 1965 по 1988 год, когда я то эпизодически, то регулярно бывал на заседаниях Политбюро, Секретариата, различных комиссий ПБ и прочих совещаниях, иногда в весьма узком составе с участием первых лиц партии и государства, мне довелось видеть их в разной форме: и в расцвете сил, и дряхлеющих физически и – не всех, но многих – интеллектуально. Это позволяет мне судить о них не понаслышке. В следующих главах в соответствующем контексте, когда это будет к месту, я поделюсь своими воспоминаниями и на этот счет.

Глава 2. У ИСТОКОВ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

На протяжении всех десятилетий «холодной войны» между Западом и Востоком шли споры относительно того, как и когда она началась, кто развязал ее и кто, стало быть, несет ответственность за ее последствия. И после того как «холодная война», **казалось бы**, ушла в прошлое, споры эти не прекратились. Ничего удивительного в этом, думается, нет. Без правильных и честных ответов на вопросы, как и почему началась «холодная война», кто и в какой мере повинен в этом, невозможно по-настоящему, «по-правильному» покончить с ней, расчистить путь для новых международных отношений.

Ведь даже в случае с «горячей» войной, когда абсолютно ясно, кто сделал первый выстрел (попытки закамуфлировать это провокациями не выдерживают испытания временем), то есть кто своим односторонним актом начал войну, ее течение и окончание всегда являются делом двух сторон. С «холодной войной», когда такой ясности нет, для ее окончания тем более было важно понимание всеми участниками причин и обстоятельств начала и течения этой войны, ибо иначе невозможно устранение самих причин, а следовательно, нет гарантий, что она не возобновится. Одно дело, если обе стороны, сознавая свою долю ответственности за «холодную войну», проходят свою часть пути для ее прекращения. И совсем другое, если одна из сторон считает, что вся вина лежит на другой стороне и только та, другая, должна сделать все для ее прекращения, в то время как первая ничего делать не обязана. При таком подходе вряд ли можно рассчитывать, что «холодная война» окончательно и бесповоротно уйдет в прошлое.

Конечно, с конъюнктурно-политической точки зрения могло показаться соблазнительным поступить так, как предлагал американский историк Джон Геддис: давайте считать, говорил он, что ни та ни другая сторона не желала «холодной войны», а на деле и США и СССР просто заботились о своей безопасности, но, дескать, «трагедия заключалась в том, что добивались они своей цели в одностороннем порядке вместо того, чтобы действовать сообща». Другими словами, предлагалось закрыть вопрос о происхождении «холодной войны» совместной констатацией того, что все мы, мол, просто оказались «без вины виноватыми».

Но предлагавшаяся Геддисом формула не снимала все тот же главный вопрос: а почему, собственно, по окончании Второй

мировой войны, в которой СССР и США были союзниками, они не смогли действовать сообща в интересах сохранения мира, что помешало им поступать именно таким образом?

Отнюдь не претендуя на внесение полной ясности в эту и другие проблемы, хотел бы поделиться некоторыми размышлениями о начальном периоде «холодной войны», предложить свой вариант ответа на вопрос, кто здесь сказал «а», а кто «б». Это мне представляется важным, несмотря на то, что дальнейшая история «холодной войны», на мой взгляд, изобиловала опрометчивыми шагами и с той и с другой стороны.

Мои размышления основаны на ретроспективном анализе событий первоначального этапа «холодной войны», на некоторых личных воспоминаниях о том времени, а также на неформальных беседах с Громыко, имевших место чаще всего во время многократных многочасовых перелетов через Атлантический океан. Когда он сам и сопровождавшие его лица не были заняты подготовкой к переговорам с США в полете туда или подведением их итогов на пути обратно, Громыко охотно делился воспоминаниями о давно минувших днях. А память у него была отменная.

С чего началась «холодная война»?

На Западе если не общепринятой, то наиболее широко распространенной является следующая версия: начало «холодной войне» положили действия Советского Союза в 1945 году, направленные на то, чтобы «советизировать» страны Восточной Европы, используя факт нахождения там советских войск, а также подорвать демократические режимы в странах Западной Европы с помощью местных коммунистических партий. Действия же Соединенных Штатов и других западных держав были, согласно этой версии, вынужденными, ответными, имевшими целью воспрепятствовать такому обороту дел.

В этой связи небезынтересно для начала поразмышлять вот над чем. Допустим, все началось действительно с попыток Сталина насадить в странах Восточной и Центральной Европы образ жизни, подобный советскому, что было неприемлемо для Запада и вызвало соответствующую реакцию с его стороны. Но в этом случае историки, видимо, не могут не задаться вопросом: а как и почему советские войска оказались в этих странах?

Впервые на эту мысль меня навело следующее высказывание американского историка Фредерика Шумана в его лекции, прочитанной в Университете штата Луизиана в марте 1961 года:

«Холодная война», как мы ее знаем на протяжении дюжины или больше лет, проистекает – верьте этому или нет – из разности ответов Советского Союза и западных демократий на общий вызов, брошенный фашизмом в 30-е годы». Поначалу это высказывание кажется не очень понятным, но если вдуматься в него, то трудно не согласиться с ходом мыслей американского историка.

Ответ на вопрос, почему положение в Европе к концу войны сложилось именно таким образом, лежит, по мнению Шумана, в «мюнхенском мире» 1938 года, заключением которого западные державы предали Чехословакию и, по существу, предоставили Гитлеру полную свободу действий в Восточной Европе и на Балканах с довольно очевидной надеждой на то, что он нападет на Советский Союз и оставит западные демократии в покое. «Мюнхен», с точки зрения Шумана, на деле означал, что западные демократии в ошибочном стремлении к миру для себя жертвовали Восточной Европой, закрывая глаза на то, что она или попадет под нацистский контроль, или будет разделена между Германией и Советским Союзом, или, возможно, попадет под русский контроль, если попытки Гитлера покорить Россию провалятся, как оно и случилось. К тому же, говорил Шуман, затяжка с открытием западными державами эффективного второго фронта против Германии в Европе до середины 1944 года обусловила продвижение советских войск на Запад дальше, чем это случилось бы при более раннем открытии второго фронта.

На решающее значение этого последнего фактора указывал и один из первых теоретиков, а затем критиков «холодной войны», видный американский дипломат и историк Джордж Кеннан. Отмечая ошибочность утверждений, будто положение, сложившееся в Восточной Европе после окончания войны, явилось результатом ялтинских соглашений, Кеннан писал, что единственно возможным путем предотвратить такое положение было бы со стороны западных правительств «создание успешного второго фронта в Европе в значительно более ранние сроки, обеспечив тем самым, чтобы советские и союзные армии встретились дальше на Востоке, чем произошло на самом деле».

Более того, Кеннан вполне резонно, на мой взгляд, усматривал и политическую взаимосвязь между невыполнением первоначального обещания США и Великобритании открыть второй фронт в Европе в 1942 году и послевоенным положением в Восточной Европе. «Когда было окончательно признано невозможным, – писал Кеннан, – открыть второй фронт в сколько-нибудь ранние сроки, союзникам пришлось сидеть сложа руки на европейском театре месяц за месяцем, в то время как русские

принимали на себя все удары гитлеровской военной машины. Это вызывало у западных государственных деятелей – что, я думаю, было и неизбежным – глубокое чувство вины и неадекватности своих усилий». Именно это, по мнению Кеннана, в сочетании с опасениями, что в таких условиях Сталин мог пойти на сепаратный мир с немцами, позволив им повернуть свои армии против западных держав, заставляло английских и американских руководителей «придерживаться довольно сочувственного и поощрительного отношения к послевоенным устремлениям Советского Союза». А эти его устремления – оказывать решающее влияние на положение в Восточной Европе и на Балканах – отнюдь не были новостью для Лондона и Вашингтона. Сталин вполне ясно изложил их британскому министру иностранных дел Энтони Идену еще в конце 1941 года во время визита последнего в Москву.

Примечательно, что, рассматривая этот вопрос в более широких исторических рамках, Кеннан подобно Шуману пришел к выводу, что среди причин сложившейся в Европе послевоенной ситуации следует признать «долю ответственности, которую несут сами западные демократии за подъем нацизма в первую очередь».

Итак, если исходить из западной же версии о том, что «холодная война» началась из-за того, что СССР использовал пребывание своих войск в странах Восточной Европы для «советизации» последних, то получается, что фактически сами западные державы и повинны в том, что советские войска оказались в этих странах.

Правда, могут сказать, что, хотя Запад повинен в первопричине появления советских войск в странах Восточной и Центральной Европы («Мюнхен», «отступное» за затяжку с открытием второго фронта), Советский Союз, со своей стороны, повинен в том, что пошел дальше того, на что западные державы дали согласие, в частности в Ялте и Потсдаме относительно степени и методов проведения в жизнь советского влияния в этих странах.

Но, во-первых, как справедливо отмечали тот же Шуман и некоторые другие западные ученые, то, что впоследствии изображалось Лондоном и Вашингтоном как нарушение ялтинских и потсдамских соглашений, правильнее было бы называть нарушением англо-американской интерпретации этих соглашений, а это вовсе не обязательно означало отход Советского Союза от его собственной изначальной их интерпретации.

Во-вторых, оставляя пока в стороне действительную

последовательность событий (то есть когда именно СССР перешел к «советизации» восточноевропейских стран), думается, резонно поставить вопрос так: могли ли вообще западные державы ожидать, что Советский Союз, чьи войска оказались в этих странах в силу изложенных выше обстоятельств, станет действовать как-то иначе? Разве, скажем, США повели себя не так же в тех странах, где оказались их войска? Хорошо известно, например, что послевоенная конституция Японии 1946 года писалась отнюдь не самими японцами, а в штабе генерала Макартура. Там группе американских офицеров было предписано стать на время «томасами джефферсонами» и в трехнедельный срок, ко дню рождения Джорджа Вашингтона (22 февраля), составить японскую конституцию. Затем она была передана министру иностранных дел и другим деятелям послевоенного японского правительства. Робкие попытки японцев выразить неудовольствие таким образом действий были решительно пресечены генералом Макартуром. 5 марта 1946 года он заявил о «чувстве удовлетворения, которое испытывает, провозглашая решение императора и правительства Японии предоставить японскому народу новую и просвещенную конституцию». Так что, как видим, методы, использовавшиеся Соединенными Штатами, не отличались в лучшую сторону от тех, которыми стал с определенного момента оперировать Сталин в Восточной Европе.

Таким образом, **если даже**, повторяю, исходить из официальной западной версии непосредственных причин и времени возникновения «холодной войны», то при объективном историческом подходе к рассмотрению этой версии оказывается, что политика самих западных держав в предвоенный период и в ходе войны во многом предопределила происшедшее после ее окончания. Следовательно, **и при этой версии** на западных державах лежит если не вся, то добрая половина ответственности за возникновение «холодной войны».

Между тем изложенная выше официальная версия начала «холодной войны» разделяется далеко не всеми даже на Западе. Ряд западных исследователей склонны, например считать, что первым актом «холодной войны» явилось применение Соединенными Штатами атомных бомб против Японии, имея в виду, что этот шаг был продиктован не военной необходимостью, а желанием продемонстрировать Советскому Союзу и всему миру свою преобладающую военную мощь и сделать тем самым заявку на неоспоримую решающую роль США в мировых делах после Второй мировой войны. Так, один из ведущих английских специалистов в области атомной энергии профессор П. Блэкетт, отметив отсутствие военной целесообразности в атомной

бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, писал в 1949 году, что «сбрасывание атомных бомб явилось не столько последним актом Второй мировой войны, сколько первой большой операцией холодной дипломатической войны с Россией».

То, что реальной необходимости в применении атомных бомб для победы над Японией не было, явствует и из выводов, сделанных вскоре после окончания войны группой американских правительственных специалистов во главе с Полом Нитце. В подготовленном этой группой секретном обзоре говорилось: «По мнению составителей обзора, Япония капитулировала бы определенно до 31 декабря 1945 года, а по всей вероятности – до 1 ноября 1945 года, даже если бы атомные бомбы не были сброшены».

Поэтому мнение Блэкетта о том, что атомные бомбардировки Японии были **первой большой операцией** в «холодной войне» представляется справедливым. Но это не означает, что они были **самым первым шагом** в этой новой войне. В противном случае их тоже можно было бы представить как уже ответную акцию, вызванную «нехорошим поведением» Советского Союза в Европе, то есть она вписывалась бы в официальную западную версию возникновения «холодной войны» исключительно по вине Советского Союза. Именно так рассуждал бывший государственный секретарь США Джеймс Бирнс, когда в 1957 году писал, что применение атомных бомб против Японии было необходимо для того, чтобы «сделать Россию более сговорчивой в Европе».

Факты, однако, говорят о том, что в действительности первые «выстрелы» в «холодной войне» были сделаны еще раньше, практически сразу после смерти Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года.

Была ли «холодная война» неизбежной?

Памятуя, что история не признает сослагательного наклонения, конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что, не умри Рузвельт в столь ответственный для послевоенного развития момент и останься он на посту президента США до окончания своего четвертого срока в январе 1949 года, «холодная война» не возникла бы вовсе. И тем не менее с точки зрения выяснения того, когда и как она началась, думается, имеет существенное значение то, какими виделись послевоенные отношения между США и СССР Рузвельту и какой линии он намеревался придерживаться в этом вопросе.

Прежде всего, о том, что нам известно об этом со слов самого Рузвельта. В разгар Второй мировой войны, принимая 4 октября 1943 года верительные грамоты у нового советского посла Громыко, Рузвельт в ответном слове выразил уверенность в том, что «единство цели, объединяющее наши народы и страны в войне, превратится в тесное и прочное сотрудничество вместе с другими одинаково мыслящими странами в деле создания справедливого мира». В последовавшей затем беседе с советским послом президент особо подчеркнул, что считает поддержание и развитие дружественных отношений между США и СССР абсолютно необходимыми и соответствующими интересам обеих стран. Вслед за этим, вскоре после состоявшейся в ноябре 1943 года в Тегеране встречи руководителей СССР, США и Великобритании, Рузвельт в послании Сталину от 4 декабря писал: «Я считаю, что конференция была весьма успешной, и я уверен, что она является историческим событием, подтверждающим нашу способность не только совместно вести войну, но также работать для дела грядущего мира в полнейшем согласии».

Но, может быть, подобные высказывания Рузвельта, обращенные непосредственно к советским руководителям, диктовались тактическими соображениями и не отражали его действительных взглядов? О том, что Рузвельт был искренен, свидетельствуют, в частности, сохранившиеся не предназначавшиеся для чужих глаз личные заметки президента, датированные 8 марта 1944 года: «Начиная с последней встречи в Тегеране мы работаем в действительно хорошей кооперации с русскими. И я считаю, что русские вполне дружественны; они не пытаются поглотить всю остальную Европу или мир».

Имеются и другие авторитетные свидетельства искренней уверенности Рузвельта в необходимости и возможности поддержания дружественных отношений между США и СССР после окончания войны. Так, его ближайший сподвижник Гарри Гопкинс говорил после Ялтинской конференции составителю речей президента Р. Шервуду: «Русские доказали, что они могут быть разумными и дальновидными, и ни у президента, ни у кого-либо из нас не было ни малейшего сомнения в том, что мы можем жить в мире с ними и сотрудничать так долго, как только можно себе представить». То, что Рузвельт мыслил при этом категориями неопределенно длительной перспективы, подтверждает и другой хорошо знавший его человек – заместитель государственного секретаря США в годы войны Самнэр Уэллес. По его словам, Рузвельт «считал необходимым, чтобы оба правительства (США и СССР) осознали, что в области международных отношений взятые

ими курсы могут всегда быть параллельными, а не антагонистическими». Из свидетельств того же Уэллеса видно, что Рузвельт руководствовался при этом не просто благородной, но абстрактной мыслью о «вечном мире», а интересами безопасности Соединенных Штатов, ибо он «понимал, что любая сторона (США или СССР) сможет обеспечить свою безопасность, только сотрудничая с другой стороной».

Иногда, правда, приходилось встречаться с такими суждениями некоторых американских историков, что не следует, мол, полностью полагаться на подобные свидетельства таких деятелей, как Гопкинс и Уэллес, так как они, будучи сами сторонниками послевоенного сотрудничества с Советским Союзом, могли в воспоминаниях вкладывать в уста Рузвельта во многом свои собственные мысли. Но вот свидетельство Р. Мэрфи – деятеля совсем иной политической окраски, никогда не питавшего симпатий к СССР. Вспоминая о наказах, которые ему давал незадолго до смерти Рузвельт при назначении его политическим советником американской военной администрации в Германии, Мэрфи писал: «Он требовал от меня помнить, что нашей первостепенной послевоенной целью будет советско-американское сотрудничество, без которого сохранить мир во всем мире было бы невозможно, и что Германия будет подходящей базой для такого сотрудничества».

Известно и то, что Рузвельт не ограничивался общими высказываниями насчет важности советско-американского сотрудничества после войны, но много внимания уделял разработке планов создания совместными с СССР усилиями эффективной международной организации, в рамках которой практически осуществлялось бы такое сотрудничество. Уэллес писал: «Он заявил мне: «У нас не будет сильной международной организации до тех пор, пока мы не сможем найти путь, посредством которого Советский Союз и Соединенные Штаты сотрудничали бы вместе для укрепления этой организации в течение многих лет». Это было для него ключевой проблемой».

Итак, на мой взгляд, есть все основания утверждать: да, Рузвельт не только считал необходимым и желательным, но и был уверен в возможности неограниченного во времени послевоенного сотрудничества США и СССР в интересах обоих государств и всего мира. Размышляя над этим, я не раз задавался вопросом: на чем, собственно, основывалась такая его уверенность? Определенным ответом, думается, могут служить следующие соображения, относящиеся еще к 1943–1944 годам.

В журнале «Форчун», издающемся в США для деловых людей и отличающемся аналитическим, непропагандистским подходом

к рассматриваемым проблемам, в специальном приложении к номеру за апрель 1943 года, озаглавленном «Соединенные Штаты в новом мире», можно прочитать: «Россия предпочтет мир в Европе ее коммунизации. Аргументы в пользу этого предположения состоят в том, что Троцкий мертв, Россия после войны будет слишком слаба для агрессии в Европе, даже для идеологической. Сутью сталинизма является использование коммунизма в качестве инструмента русской национальной внешней политики, а Россия как государство, хотя она постепенно расширялась на протяжении веков, нуждается не столько в новых землях, сколько в безопасности на границах. **Если такая безопасность будет ей обеспечена** (выделено мною. – *Г. К.*), она скорее всего сосредоточит свое внимание на развитии своих огромных внутренних ресурсов». Примечательна, по-моему, такая деталь – этот вывод был сделан журналом «Форчун» еще до роспуска Коминтерна, о чем было объявлено 15 мая 1943 года.

О том, что в данном случае «Форчун» выражал мнение, совпадавшее с мнением Рузвельта и его окружения, свидетельствует аналогичное по смыслу высказывание Уэллеса, относящееся к 1944 году: «Нынешнее советское правительство дало ясно понять, что оно отказалось, по крайней мере временно, от идеи мировой революции…По окончании войны главные усилия советского правительства, несомненно, на протяжении многих лет будут направлены на восстановление и реконструкцию разрушенных городов и территорий, индустриализацию и подъем жизненного уровня населения». Фактически этот же вывод подтвержден и в секретном аналитическом документе «Возможности и намерения СССР в послевоенный период», подготовленном Объединенным комитетом начальников штабов США в январе 1945 года. В нем на основе обстоятельного и всестороннего анализа этой проблемы делалось заключение, что Советский Союз будет отдавать приоритет восстановлению экономики и ограничится «классической моделью» создания «пояса безопасности» вдоль своей границы.

Закономерен, однако, вопрос: не были ли все эти прогнозы американской стороны ошибочными, насколько они соответствовали намерениям Советского Союза в лице Сталина?

Имеется достаточно оснований полагать, что в те годы, когда делались эти прогнозы (1943–1944 гг. и начало 1945 г.), а также в течение еще определенного времени, о чем речь ниже, они соответствовали послевоенным намерениям советского руководства. Это подтверждается анализом не только того, что

говорилось Сталиным публично, при личных встречах с американскими и английскими руководителями и в переписке с ними, но, главное, и того, что делалось Советским Союзом в ту пору и что говорилось Сталиным за закрытыми дверями, «для внутреннего пользования».

Одним из главных свидетельств правильности приведенных выше американских оценок намерений Сталина в послевоенный период с моей точки зрения может служить роспуск Коминтерна не в 1941 или 1942 годах, когда это можно было бы объяснить чисто тактическими соображениями, «заигрыванием» с западными союзниками ради скорейшего открытия второго фронта, а уже после того, как в ходе войны ясно обозначился перелом в пользу СССР и в целом антигитлеровской коалиции.

Другим весомым доказательством того, что Сталин взял курс на послевоенное сотрудничество в первую очередь с США и вообще с Западом, служит то значение, которое он, как и Рузвельт, придавал созданию совместными усилиями эффективной международной организации с широкими полномочиями по пресечению агрессии и поддержанию мира. Зачем нужно было Сталину так упорно отстаивать свои позиции в отношении целей и принципов деятельности Организации Объединенных Наций, которые мы и сегодня признаем воплощением мудрости ее создателей, если бы он заранее исходил из неизбежности развала после войны антигитлеровской коалиции?

А воспоминания Громыко, написанные и ненаписанные, однозначно говорят о том, что советское руководство и лично Сталин действительно придавали этим вопросам исключительное значение. Я специально интересовался этим у Громыко, и он подробно рассказывал, какие строгие и вместе с тем конструктивные наказы давал Хозяин ему в 1944 году перед конференцией в Думбартон-Оксе, где вырабатывался Устав ООН. Исходя из этого, а также из других моментов, обсуждавшихся в связи с подготовкой и ходом Ялтинской конференции, у Громыко, по его словам, сложилось твердое убеждение, что Сталин в ту пору был определенно настроен на длительное послевоенное сотрудничество с Западом, и прежде всего с США. В частности, когда в советском руководстве обсуждалась позиция СССР относительно местонахождения штаб-квартиры ООН, Сталин, высказавшись за ее пребывание в США, а не в Европе, аргументировал это целесообразностью активного участия США в мировых делах и нежелательностью повторения в этом отношении истории с Лигой Наций, к созданию которой США приложили свою руку, а затем остались вне этой организации.

Кстати, все это совпадает во многом с впечатлениями, которые вынес из бесед со Сталиным Иден. Как он рассказывал Гопкинсу, по его мнению, у Сталина было два разных плана на послевоенный период: один их них, более **предпочтительный** для СССР, основывался на предположении, что США и Великобритания будут продолжать сотрудничать с Советским Союзом, а второй – на предположении, что США после окончания войны отойдут от европейских дел. Предпочтительность для Сталины первого варианта Иден усматривал в том, что сам Сталин «не был готов к последствиям установления Россией контроля над европейскими делами».

То, что до определенного момента, наступившего уже после смены президента США, Сталин исходил из предпочтительности сохранения после окончания войны отношений сотрудничества с западными державами, подтверждается практическими действиями СССР в восточноевропейских странах по мере их освобождения советскими войсками. Хотя Москвой, конечно, предпринимались шаги по установлению в них режимов, которые были бы дружественными по отношению к СССР (о чем Сталин, как мы помним, заранее предупреждал союзников), но, вопреки сформировавшемуся впоследствии стереотипному представлению, никакой торопливости в «советизации» этих стран первоначально не проявлялось. Скажем, выборы, состоявшиеся в 1945 году в Болгарии и Венгрии – в условиях пребывания и там, и там советских войск, – принесли успех силам противоположной политической ориентации.

Показательно в этой связи, что, как справедливо отмечает Шервуд, говоря о развитии событий в освобожденных странах и на Востоке, и на Западе Европы в конце 1944 – начале 1945 года, «первые признаки трещины в это время появились не между СССР и западными державами, а между Великобританией и США, и главными спорными пунктами были, как ни иронично это звучит, принципы самой Атлантической хартии».

Речь шла о политических кризисах, возникших в конце 1944 года в Бельгии, Италии и Греции. В этих странах, где в то время находились преимущественно британские войска, англичане, по признанию Шервуда, оказывали всемерную поддержку более консервативным силам «в противовес либералам или левым, которые активнее всех боролись с немцами и фашистами». А это было негативно воспринято американской общественностью, в результате чего возникли трения и между руководителями этих стран. Как видим, водораздел первоначально проходил отнюдь не там и не по той линии, где он прошел позднее.

Не просто любопытны, но и, как мне представляется,

существенно важны в этом плане воспоминания Элеоноры Рузвельт. В разговоре с супругом она однажды заметила, что для Уинстона Черчилля послевоенное время, видимо, будет более трудное, чем довоенное, и Рузвельт сказал: «Ты права. Это будет труднее для Уинстона, и я уверен, что в некотором роде г-на Сталина после войны будет легче побудить понять некоторые вещи». И дальше Элеонора добавляет от себя: «Он чувствовал, что мир идет к тому, чтобы быть значительно более социалистичным после войны, и г-ну Черчиллю, наверное, будет очень трудно приспособиться к новым условиям».

Это, конечно, не означает, что Франклину и Эдеоноре Рузвельт мир виделся все более **социалистичным** по образцу советской модели социализма. Наверняка нет. Но приведенный выше обмен репликами между ними подтверждает, что расхождения, возникавшие на том этапе как между СССР и западными союзниками, так и между самими западными союзниками, определялись скорее политическими интересами и взглядами, а не принадлежностью к той или иной социально-экономической системе. Следовательно, они не были непримиримыми. Решающее значение, очевидно, имела готовность сторон строить отношения друг с другом на равных, учитывать законные интересы друг друга, искать взаимоприемлемые компромиссы.

Понимание этого, судя по всему, было присуще Рузвельту, что придавало еще большую реалистичность его уверенности в возможности хороших отношений с СССР после войны. «Курс Франклина Рузвельта, – писал Ф. Шуман, – состоял в том, чтобы относиться к Советскому Союзу как к равному, сводить до минимума трения и регулировать расхождения путем обсуждения и компромисса». Ключевым, принципиально важным здесь представляется констатация готовности Рузвельта при всех мировоззренческих, социально-экономических и политических различиях между США и СССР строить отношения с ним **на равных**. Из этой посылки вытекает остальное – не заострять, а, наоборот, сглаживать возникающие трения и устранять расхождения путем поиска приемлемых для обеих сторон решений.

Опять-таки может возникнуть вопрос, не приписывает ли Шуман Рузвельту больше, чем было на самом деле, есть ли другие доказательства того, что Рузвельт считал возможным и необходимым вести дела со Сталиным, с Советским Союзом на основе равенства? Да, такие доказательства есть. Обратимся в этой связи к двум на первый взгляд не связанным между собой эпизодам из опубликованных воспоминаний Громыко.

Первый касается его беседы с президентом Рузвельтом в конце сентября 1944 года, когда переговоры на конференции в Думбартон-Оксе (проходившей с 21 августа по 7 октября 1944 года) зашли в тупик из-за несогласия американской и английской делегаций включить в Устав ООН принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности при принятии им важных решений. Из этой беседы Громыко сделал вывод, что у Рузвельта наметился отход от прежней отрицательной позиции в этом вопросе; он внимательно выслушивал аргументы в пользу указанного принципа, взвешивал их, размышляя вслух. И действительно, несколько позднее, уже в Ялте, Рузвельт, а вслед за ним и Черчилль дали согласие на принцип единогласия. Кстати, в последующем, когда соотношение сил в ООН изменится, США сами не раз будут использовать право вето.

Второй эпизод касается беседы Громыко с фельдмаршалом Я. Смэтсом, руководителем Южно-Африканского союза, состоявшейся в ходе конференции в Сан-Франциско, где принимался Устав ООН. Суть ее заключалась в том, что Смэтс пытался убедить Громыко в необходимости упомянуть в Уставе Бога как высшего судью, которого должны бояться и люди, и государства. Однако, выслушав доводы против этого, поскольку затрагивалась идеологическая сфера, между тем как ООН призвана служить общим идеалам объединяемых ею государств вне зависимости от идеологических и иных различий, Смэтс вынужден был признать, что в контраргументации Громыко есть здравый смысл, и не стал настаивать на своем предложении. Но Громыко, рассказывая об этом любопытном разговоре со старым фельдмаршалом, не знал, что здравомыслие Смэтса проявилось еще раньше, в не менее важном вопросе: именно он, оказывается, сыграл положительную роль в том, что Рузвельт и Черчилль одобрили принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН, в основе которого лежала идея равенства великих держав, включая Советский Союз.

Из опубликованных впоследствии мемуаров Черчилля стало известно, что, когда в сентябре 1944 года в Думбартон-Оксе переговоры зашли в тупик, он получил телеграмму от Смэтса. В ней последний, обстоятельно рассмотрев сложившуюся ситуацию, писал следующее: «Советский подход (относительно принципа единогласия. – *Г. К.*) вначале поразил меня как абсурдный, и я счел, что другие великие державы не должны уступать его [СССР] требованию, которое, по всей вероятности, будет отвергнуто также малыми государствами. Но, поразмыслив как следует, я склонен считать по-другому. Я думаю, Молотов искренен в изложении советского подхода, и Кадоган и Кларк Керр

правильно полагают, что здесь вовлечены честь и положение России среди ее союзников. Она хочет понять, доверяют ли ей и относятся ли к ней как к равной или же она все еще остается парией и изгоем». Проанализировав далее опасность разногласий между союзниками после войны, Смэтс пришел к выводу, что если их пути разойдутся, то им не удастся создать эффективную международную организацию. Поэтому он рекомендовал Черчиллю поддержать принцип единогласия великих держав, руководствуясь «здравым смыслом и соображениями безопасности».

Из мемуаров же Черчилля известно, что он переслал телеграмму Смэтса американскому президенту, и изложенные в ней взгляды произвели большое впечатление на Рузвельта, который 28 сентября 1944 года телеграфировал Черчиллю: «Я с большим интересом прочел присланную Вами телеграмму от фельдмаршала Смэтса, и я думаю, мы все согласны с ним в том, что касается необходимости относиться к СССР как полноправному и равному члену любой организации великих держав, создаваемой с целью предотвращения международной войны».

Таков был подход Рузвельта к отношениям с Советским Союзом. На этих позициях он оставался до последних дней своей жизни. Это видно и из его переписки с Черчиллем, не предназначавшейся для чужих глаз. Известно, в частности, что в телеграмме Черчиллю, написанной им буквально за час до кончины, Рузвельт в связи с предстоявшим выступлением британского премьера, касавшимся позиции Советского Союза в польском вопросе, недвусмысленно высказался за сохранение «твердых, но дружественных отношений с русскими». «Я бы, – писал он, – насколько возможно, свел до минимума советскую проблему, потому что отдельные вопросы, связанные с ней, возникают в той или иной форме ежедневно и, по-видимому, большинство из них разрешается».

Таким образом, позиция Рузвельта была однозначной и определенной: он считал необходимым и возможным послевоенное сотрудничество с СССР именно на основе равенства и поиска взаимоприемлемых решений, в том числе в самом трудном на тот момент польском вопросе.

Но вот не стало Рузвельта

Уже через 48 часов после смерти Рузвельта новый президент США Гарри Трумэн в качестве своей первой внешнеполитической

акции обратился к британскому премьеру с предложением направить Сталину совместное послание с ультимативным по существу требованием согласиться с западными условиями решения польского вопроса. Здесь показательны как характер предлагавшегося демарша, так и само предложение о совместном с Черчиллем послании, ибо известно, что Рузвельт всячески избегал каких-либо совместных американо-английских акций в отношениях с СССР, к чему периодически Черчилль пытался склонить его. И дело, как видно, не просто в деликатности по отношению к Сталину. Как явствует из сделанной тогдашним морским министром США Дж. Форрестолом записи в его дневнике за март 1945 года, Рузвельт высказывал опасения, что «англичане очень хотели бы, чтобы Соединенные Штаты в любое время начали войну против России, и, по его мнению, следовать британским планам – значит идти к этой цели».

Черчилль, конечно, с радостью дал согласие на предложение Трумэна, а в телеграмме Идену, находившемуся в те дни в Вашингтоне, написал: «Добиваясь, как я это делаю, прочной дружбы с русским народом, я вместе с тем уверен, что она может основываться только на признании русскими англо-американской силы. Я с удовольствием отмечаю, что новый президент не позволит Советам запугать себя».

За этим первым шагом Трумэна, означавшим поворот США от сотрудничества с СССР к конфронтации с ним, вскоре последовали другие. Громыко в воспоминаниях рассказывает о конфронтационной манере, в которой Трумэн провел беседу с Молотовым, остановившимся в Вашингтоне по пути в Сан-Франциско на конференцию по учреждению ООН. Трумэн не только не проявил готовности продвинуться вперед в согласовании оставшихся после Ялты некоторых конкретных вопросов, касающихся функций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, но и дал понять, что он не вполне доволен ялтинскими решениями по принципам деятельности ООН; это затем проявилось и в линии поведения американской делегации в Сан-Франциско.

Беседа Трумэна с Молотовым проходила 23 апреля 1945 года, то есть через 10 дней после смерти Рузвельта. На состоявшемся накануне в Белом доме совещании, как зафиксировал в дневнике Форрестол, президент, проинформировав членов кабинета о предстоявшей беседе, заявил, что он «намерен осуществить свои планы на конференции в Сан-Франциско, и если русские не пожелают присоединиться к нам, то пусть убираются к черту».

Вот так от линии Рузвельта на поддержание отношений с СССР как с равным, на поиски взаимоприемлемых решений

произошел поворот на 180° – «соглашайтесь с нами или идите к черту». Это были не просто слова, это была иная психологическая установка, иная политика, которая вскоре получила фактически официальное наименование политики «с позиции силы».

На мой взгляд, заслуживает быть особо отмеченным тот факт, что отход Трумэна от курса Рузвельта в отношениях с СССР проявился еще до того, как Трумэну стало известно о проводившихся в США работах по созданию атомной бомбы. Находясь в должности вице-президента, он не был посвящен в этот секрет, и впервые ему доложили об этом проекте 25 апреля 1945 года, то есть уже после упомянутого совещания в Белом доме 22 апреля и после его беседы с Молотовым 23 апреля. В этом отношении в книге воспоминаний Громыко допущена неточность, когда он объяснял задиристость Трумэна в беседе с Молотовым прежде всего скорой перспективой обладания Америкой новым грозным оружием.

Как мы видим, на деле было не так, и это, по-моему, ясно говорит о том, что Трумэн в принципе – и без атомной бомбы – был деятелем совершенно другого склада и калибра, нежели Рузвельт, и уровень его мышления после того, как он стал президентом, мало изменился. Мы уже отмечали, что, еще будучи сенатором, на следующий день после нападения Германии на СССР Трумэн заявил: «Если мы увидим, что Германия выигрывает войну, нам следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше».

Кстати, я интересовался у Громыко, не было ли у советского руководства предубеждения против Трумэна, когда он стал президентом, в связи с упомянутым его заявлением в июне 1941 года. По словам Громыко, об этом заявлении Трумэна вспомнили, конечно, в советском посольстве в Вашингтоне в 1944 году, когда Рузвельт остановил свой выбор на нем в качестве кандидата на пост вице-президента. Но тогда было понятно, что выбор Рузвельта определялся исключительно внутриполитическими соображениями, и поскольку вице-президент в США в те времена не имел касательства к внешней политике, то особого беспокойства этот факт в Москве не вызывал. Когда же Трумэн стал президентом, отношение к нему советского руководства определялось тем, какую линию он стал проводить в отношении СССР, а не воспоминаниями о его заявлении в 1941 году.

Но если Трумэн с первых шагов, еще ничего не зная об атомной бомбе, повел себя столь вызывающе по отношению к Советскому Союзу, то нетрудно представить себе, насколько он воодушевился, узнав о перспективе обладания Соединенными

Штатами атомным оружием, а тем более когда это стало реальностью. Какими категориями он мыслил в этой связи, можно судить, в частности, по его словам, сказанным им дочери, сопровождавшей его в Потсдам, в канун намеченного на 16 июля 1945 года первого испытательного взрыва атомной бомбы: «Если она взорвется, а я думаю, что это случится, у меня будет управа на этих [русских] парней». И с того момента, как он получил 17 июля сообщение о том, что «дитя благополучно родилось» (условная фраза, означавшая успешное испытание первой атомной бомбы), Трумэн бесповоротно встал на путь использования атомного оружия в качестве главного козыря американской дипломатии, что стало основным генератором «холодной войны».

Был ли возможен иной путь?

Думается, да. Но Трумэн сознательно отверг его. О том, каким мог бы быть этот другой путь и почему США не пошли по нему, лучше всего свидетельствует судьба «меморандума Стимсона». Речь идет о секретной докладной записке, которую Генри Стимсон, военный министр США в годы Второй мировой войны, представил президенту Трумэну 11 сентября 1945 года, то есть примерно через месяц после того как были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Этот документ, мне кажется, заслуживает того, чтобы привести его полностью.

«Президенту, Белый дом.
11 сентября 1945 года.
Меморандум Президенту
По вопросу о намеченных мерах контроля над атомными бомбами.

Появление атомной бомбы вызвало во всем цивилизованном мире большой военный и, пожалуй, еще больший политический интерес. В международных отношениях, и без того исключительно чутко реагирующих на силу, создание этого оружия глубоко повлияло на политическое мнение во всех районах земного шара.

Во многих кругах оно рассматривается как серьезное препятствие росту русского влияния на континенте. Мы можем быть уверены, что советскому правительству это известно и советские политические и военные руководители будут испытывать большое искушение как можно скорее приобрести это оружие. Англия уже фактически является нашим партнером по

работе над атомным оружием. Следовательно, если Советский Союз не будет добровольно привлечен к участию на основе сотрудничества и доверия, то мы будем иметь англосаксонский блок, противостоящий Советскому Союзу в обладании этим оружием. Такое положение почти неизбежно вызовет в СССР лихорадочную деятельность, направленную на создание бомбы, что фактически приведет к тайной гонке вооружений, которая примет отчаянный характер. По некоторым данным, такая гонка, возможно, уже началась.

Если мы считаем, – а я думаю, мы должны так считать, – что цивилизация требует от нас достижения удовлетворительного международного соглашения относительно контроля над этой новой силой, то вопрос состоит в том, до каких пор мы сможем использовать свое временное превосходство в надежде добиться осуществления своих ближайших целей на мирных конференциях.

Овладеет ли Россия необходимыми ей секретами производства, скажем, минимум в четыре года или максимум в двадцать лет, это не имеет существенного значения для мира и цивилизации; важно добиться того, чтобы, овладев этими секретами, она добровольно стала готовым к сотрудничеству партнером миролюбивых наций мира. Правда, если мы обратимся к ней сейчас, как я предлагаю, может случиться, что, рассчитывая на ее добропорядочность, мы дадим ей возможность начать производить бомбы несколько раньше, чем она смогла бы в противном случае.

Короче говоря, я считаю, что наши удовлетворительные отношения с Россией не только связаны с проблемами атомной бомбы, но и фактически подчинены им. Если бы не задача установления контроля над атомной бомбой, то эти отношения, хотя и крайне важные, не требовали бы столь срочного урегулирования. Установить отношения взаимного доверия между Россией и нами можно было бы и постепенно, с течением времени. Но с изобретением атомной бомбы это стало срочной необходимостью. Эти отношения могут оказаться непоправимо испорченными – все зависит от того, как мы подойдем к решению вопроса о бомбе с Россией. Ибо, если мы не обратимся к ней сейчас, а лишь будем продолжать вести с ней переговоры, довольно явно держа за спиной это оружие, ее подозрительность и ее недоверие к нашим целям и мотивам возрастут. Это заставит ее приложить все усилия для разрешения проблемы производства атомной бомбы. Если будет принято решение в таком духе, то вряд ли мы когда-нибудь придем к соглашению, крайне необходимому нам в будущем. Это, по-моему, сопряжено с бльшим риском, чем другой исход, поскольку наша цель должна

состоять в том, чтобы добиться наиболее приемлемого международного соглашения, которое даст хоть какое-то основание надеяться, что его будут соблюдать и что оно спасет цивилизацию не на пять или двадцать лет, а навсегда.

Главный урок, полученный мною за долгую жизнь, состоит в том, что человека можно сделать достойным доверия, только доверяя ему, и самый верный способ сделать его недостойным доверия – не доверять ему и проявлять свое недоверие на практике.

Одно дело, если бы атомная бомба была обычным, хотя и более сокрушительным видом оружия, который мы использовали бы в своих международных отношениях. В этом случае мы могли бы следовать старому обычаю: хранить его в тайне, обеспечить военное превосходство в наших национальных интересах и надеяться на то, что все государства из соображений осторожности запретят использование в будущем этого оружия, как мы поступили с отравляющими веществами. Но я думаю, что атомная бомба представляет собой лишь первый шаг в приобретении человеком новой власти над силами природы – силами слишком революционными и опасными, чтобы к ним можно было подходить со старыми представлениями. Я считаю, что это изобретение является венцом в соревновании между ростом находящихся в распоряжении человека технических возможностей разрушать и его психологической способностью владеть собой и коллективом – его моральной силой. А в таком случае метод нашего подхода к русским имеет величайшее значение для прогресса человечества.

Поскольку в центре проблемы стоит Россия, любые предложения насчет мер контроля над этим видом оружия должны быть адресованы прежде всего к России. Мое мнение таково, что Советский Союз скорее откликнется на прямое и откровенное обращение Соединенных Штатов по этому поводу, чем на предложение в порядке какого-то общего международного плана или после целого ряда явных или скрытых угроз или полуугроз в ходе наших переговоров.

Я мыслю себе это обращение к Советам как прямое предложение после обсуждения с англичанами, выражающее нашу готовность достичь с русскими договоренности в целях контроля и ограничения использования атомной бомбы как орудия войны и, насколько это возможно, направления и поощрения развития атомной энергии для мирных и гуманных целей.

Такое предложение может предполагать прекращение дальнейшего усовершенствования и производства бомбы как

орудия войны при условии, что русские и англичане согласятся сделать то же самое. Наше предложение может также предусматривать, что мы будем готовы конфисковать бомбы, имеющиеся сейчас в Соединенных Штатах при условии, что русские и англичане договорятся с нами о том, чтобы ни при каких условиях не использовать такие бомбы в качестве орудия войны, если только все три правительства не решат применить их. Мы должны также рассмотреть вопрос о включении в это соглашение договоренности с Соединенным Королевством и Советами об обмене данными о дальнейших открытиях, с тем чтобы атомная энергия могла использоваться в будущем на взаимно удовлетворительной основе для коммерческих или гуманных целей.

Я бы обратился с таким предложением, как только это позволят наши политические соображения.

Я особенно подчеркиваю, помимо всяких прочих соображений, как исключительно важно, чтобы эта мера в отношении России носила характер предложения Соединенных Штатов, поддержанного Великобританией, но именно предложения Соединенных Штатов. Действия любой группы стран, в том числе многих малых стран, не проявивших своей потенциальной силы или ответственности в этой войне, по-моему, не встретят серьезного отношения со стороны Советов. Общие разговоры, которые возникнут по поводу такого предложения, если его вынести на совещание наций, едва ли будут благоприятно приняты Советами. Я повторяю, что считаю это самым важным пунктом своей программы.

После того как страны-победительницы договорятся об этом, будет достаточно времени, чтобы привлечь Францию и Китай к участию в соглашении и, наконец, чтобы включить это соглашение в сферу компетенции Организации Объединенных Наций. Использование атомной бомбы было воспринято всем миром как результат инициативы и индустриальной мощи Соединенных Штатов, и я думаю, что это будет служить для Советов самым сильным стимулом для принятия нашего предложения; с другой стороны, я весьма скептически отношусь к возможности добиться каких бы то ни было реальных результатов путем международного обсуждения. Я настаиваю на предложенном способе действий как на самом реальном средстве добиться принятия этого важнейшего в истории мира соглашения.

ГЕНРИ Л. СТИМСОН

Военный министр».

Как видно из его меморандума, Стимсон, провидчески опасаясь последствий, которыми была чревата как для США, так и для всего мира гонка ядерных вооружения, убеждал Трумэна в необходимости предпринять действительно серьезную попытку достичь международного соглашения, которое сделало бы невозможным использование атомной энергии в военных целях, ради чего США, по его мнению, должны были пожертвовать своей временной монополией на атомное оружие.

При этом Стимсон, исходя из реального положения США и СССР в мире после Второй мировой войны, особо подчеркивал необходимость закрытых, доверительных переговоров с Советским Союзом и высказывал скептическое отношение к возможности достижения положительного результата, если США начнут действовать сразу через ООН в расчете оказать давление на СССР с помощью «многих малых стран».

Какова же была реакция президента на позицию Стимсона, его предложения и предостережения? Из ряда источников известно, что обсуждению меморандума Стимсона и в целом вопроса о том, какую политику следует проводить Соединенным Штатам в области атомной энергетики в послевоенный период, было посвящено специальное заседание американского кабинета, состоявшееся 21 сентября 1945 года. По свидетельствам участников этого заседания, большинство членов кабинета во главе с президентом Трумэном высказалось в поддержку «двух Джеймсов» – государственного секретаря Бирнса и морского министра Форрестола (вскоре он займет вновь созданный пост министра обороны), настаивавших на сохранении Соединенными Штатами своей монополии на атомное оружие и использовании его в качестве инструмента своей послевоенной политики.

Присутствовавший на заседании в качестве министра торговли Генри Уоллес в своем публичном выступлении в 1950 году рассказывал: «Министр Стимсон заявил на заседании кабинета 21 сентября 1945 года, что другие страны почти наверняка будут иметь атомную бомбу к 1950 году. Я ему верил… Однако творцы нашей высокой политики, ничего не понимая в науке, думали, что мы обладаем секретом, который сможем использовать в мирное время как орудие в международных делах. Они не спрашивали себя, что будет с нашей внешней политикой, когда бомбой будут обладать две страны».

И сам факт выдвижения в 1946 году Соединенными Штатами в ООН «плана Баруха» (прием, против которого столь категорично предостерегал Стимсон) разве не свидетельствовал о том, что США избрали в атомном вопросе путь, прямо противоположный тому, который рекомендовал Стимсон?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, в чем заключалась суть «плана Баруха». Согласно этому плану, право собственности на атомные предприятия во всем мире и разработку атомного сырья принадлежало бы международному органу под эгидой ООН, который, однако, не был бы подконтролен Совету Безопасности, где действует правило единогласия великих держав при принятии важных решений. Таким образом, Советскому Союзу предлагалось передать свой суверенитет в области использования атомной энергии органу, который находился бы под полным контролем США, располагавших в эту пору механическим большинством голосов в ООН. Но, может быть, в обмен на это США готовы были бы все же отказаться от атомного оружия, уничтожить его? Отнюдь. В секретном докладе Ачесона-Лилиенталя, легшим в основу «плана Баруха», мы читаем: «Весьма знаменательно, что в течение переходного периода такие объекты, как склады атомных бомб и установки для производства расщепляющихся материалов, будут все время находиться по-прежнему в США. Таким образом, если в переходный период выполнение плана будет сорвано, мы окажемся в благоприятном положении в смысле атомного оружия».

Все это, как видим, было прямо противоположно тому, что предлагал и отстаивал Стимсон: попытаться решить атомный вопрос «на основе сотрудничества и доверия» в отношениях с Советским Союзом. Рекомендации Стимсона были отвергнуты, и сам он вскоре ушел в отставку. Поэтому 21 сентября 1945 года вполне можно считать днем, когда США окончательно решили идти по пути «атомной дипломатии», иными словами – по пути «холодной войны». Оставалось официально провозгласить ее, что и было сделано 5 марта 1946 года, когда Трумэн благословил речь Черчилля в Фултоне, штат Миссури.

О предлагавшемся Стимсоном ином, разумном, пути и об итогах рассмотрения его предложений, как и о делавшихся Трумэном на закрытых совещаниях высказываниях в адрес СССР вроде следующего: «Пусть убираются к черту», широкая общественность узнала, конечно, не сразу.

Если же говорить о советском руководстве, то, во-первых, начавшийся сразу после смерти Рузвельта поворот в политике США оно ощутило по практическим делам нового хозяина Белого дома (совместная телеграмма Трумэна и Черчилля по польскому вопросу, характер беседы с Молотовым, линия поведения на конференции в Сан-Франциско, вызывающее по своей манере прекращение поставок по ленд-лизу через три дня после окончания войны в Европе, несмотря на предстоявшее вступление

СССР в войну с Японией, и т. п.). Во-вторых, современным историкам, ищущим истоки «холодной войны» и анализирующим последовательность событий, важно учитывать теперь уже ставшие широко известными факты, объясняющие исключительно хорошую осведомленность советского руководства в те годы обо всем происходившем в Вашингтоне и Лондоне, включая и переписку между ними по вопросам политики в отношении СССР. Я имею в виду информацию, которой располагало советское руководство благодаря тому, что на советскую разведку работали такие осведомленные в этих вопросах люди, как К. Филби, Д. Макклин, Г. Берджесс и другие.

Вспоминается мне, в частности, такой эпизод. Отмечая 1 мая 1945 года в семье одного высокопоставленного сотрудника НКГБ СССР, с сыном которого я учился в то время в Высшей школе, я услышал не предназначавшуюся для моих ушей фразу из разговора хозяина дома со своими коллегами насчет того, что Трумэн, мол, «фактически послал Молотова к черту». Спустя годы, когда из опубликованного дневника Форрестола стало известно об упомянутом выше совещании в Белом доме 22 апреля 1945 года, накануне беседы Трумэна с Молотовым, мне стало ясно происхождение фразы, услышанной мною в Москве всего через неделю после того совещания.

А например, из бесед с Громыко я понял, что при определении позиции СССР в отношении «плана Баруха» учитывалось не только то, что говорилось открыто в самом плане, но в не меньшей мере и содержание секретного тогда доклада Ачесона – Лилиенталя, о котором упоминалось выше. В ряде случаев я сам, знакомясь с появившимися на Западе после войны публикациями документов и мемуаров, ловил себя на том, что в той или иной форме знал раньше об упоминавшихся в них фактах. Во время работы в первые послевоенные годы в информационной службе советской разведки мне приходилось переводить подчас «обезличенные» документы, которые теперь, в свете опубликованных материалов, открывали мне свое «лицо».

Другими словами, не во всех случаях, когда внешне дело выглядело так, будто СССР первым сделал какой-то шаг, а США лишь отреагировали на него, это соответствовало действительному положению вещей. Иногда такое впечатление создавалось потому, что советское руководство, достоверно зная об определенных американских решениях, планах и скрытых действиях, неизвестных пока общественности, вело себя соответственно, подчас, возможно, излишне упреждая события, но все же первопричиной было то, что происходило в Вашингтоне, а не в Москве.

В этой связи, по-моему, снова возникает нелюбимое историками «если бы». Что, скажем, если бы Трумэн согласился с советами Стимсона? Ответил бы Сталин взаимностью на готовность американского президента, будь она проявлена, всерьез договориться об отказе от производства и использования атомного оружия?

С уверенностью дать положительный ответ на такой вопрос, разумеется, невозможно. Так сказал мне и Громыко, когда я однажды спросил его об этом. Однако добавил, что он, зная настроение Сталина тех дней, его установку на послевоенное сотрудничество с США, планы восстановления разрушенного войной народного хозяйства, не стал бы полностью исключать возможность благоприятного развития событий, пойди Трумэн по пути, предлагавшемуся Стимсоном.

В пользу такого допущения, я думаю, говорит и то, что, как теперь известно, по-настоящему широкомасштабные работы по созданию атомного оружия в СССР стали разворачиваться в 1946 году, уже после того, как совершенно ясно сформировалась линия США на отход от сотрудничества с СССР и США перешли к политике силы, где главным аргументом была атомная бомба.

Не случайно, видимо, и то, что уже после этого, где-то в 1947-м, но никак не в 1945 году, Сталиным был взят курс на преобразования по советскому образцу в странах Восточной Европы, а в Восточной Германии это произошло еще позднее. До того, главным образом, СССР заботился о том, чтобы в странах Восточной Европы были дружественные Советскому Союзу режимы, но вовсе не обязательно социалистические. Начиная с 1941 года, как уже отмечалось, Сталин в контактах с западными руководителями открыто предостерегал против попыток вновь превратить эти страны после войны в «санитарный кордон» вокруг Советского Союза.

Все сказанное выше не означает, что вся ответственность за «холодную войну», за доведение ее подчас до грани «горячей» лежит на США и в целом на Западе.

Если даже не забегать вперед и не говорить о блокаде Берлина в 1948 году, событиях в Чехословакии в том же 1948-м, а потом в 1968 году, событиях в Венгрии в 1956 году и тому подобном, а задаться вопросом, все ли было сделано Советским Союзом в самом начале, чтобы не допустить «холодной войны», то вряд ли можно, не греша против истины, дать положительный ответ. Когда анализируешь тогдашний ход событий и вспоминаешь некоторые детали, возникает такое ощущение, что, хотя Сталин, возможно, и предпочел бы иное, более благоприятное развитие отношений с США (и будь Рузвельт жив,

шанс на это, наверное, был бы), сам он не приложил достаточных усилий к этому. Более того, в какой-то момент Сталин, похоже, решил, что наметившуюся конфронтационную линию Вашингтона можно и следует использовать в интересах «закручивания гаек» внутри страны и для перехода к «советизации» восточноевропейских стран.

Сегодня с учетом архивных материалов, свидетельствующих о серьезном беспокойстве Сталина по поводу настроений, с которыми возвращались на Родину с войны офицеры и солдаты, вполне можно допустить, что если бы Трумэн подзадержался с переходом на путь конфронтации с Советским Союзом, то Сталин мог бы и сам проявить инициативу в этом деле по упомянутым соображениям. Но допущение допущением, а факты говорят о том, что «а» в «холодной войне» было сказано американской стороной, хотя Сталин и не заставил себя долго ждать, чтобы сказать «б». Дальше логика конфронтации сделала свое злое дело.

Вспоминается в этой связи небольшой, но, думается, показательный эпизод с точки зрения характеристики происшедших к 1947 году изменений в настроении Сталина. Когда в июльском номере журнала «Форин афферс» за 1947 год появилась статья Джорджа Кеннана (подписанная «г-н Х») «Источники советского поведения», мне пришлось принимать участие в срочном переводе этой статьи, предназначенном для Сталина. И вот когда подготовленный перевод просматривался руководством службы, которое знало, «чем дышит» тот, кому он предназначался, было заметно ставшее понятным мне через какое-то время настойчивое стремление ужесточить смысл статьи. Так, например, ключевой в ней термин «сдерживание» (containment), давший название «политике сдерживания» по отношению к Советскому Союзу, кое-кому очень хотелось заменить термином «удушение». К счастью, переводчикам удалось отстоять правильный термин, хотя руководствовались мы не высокими материями, в которых мало кто из нас тогда разбирался, а просто профессиональным подходом. Но и при максимально правильном переводе статьи Кеннана она была истолкована Сталиным как крайне враждебная по отношению к СССР, что, очевидно, и предопределило недолгое пребывание Кеннана на посту посла США в СССР в начале 50-х годов. Советской стороной был дан агреман на его назначение, но при первом же подходящем случае Сталин приказал объявить его персоной нон грата. Кстати, как впоследствии не раз говорил сам Кеннан, истинный смысл его статьи 1947 года был во многом извращен не только в СССР, но и в США сторонниками доведения «холодной войны» до крайних пределов.

Предлагая, чтобы основным элементом политики США в отношении Советского Союза было «долгосрочное, терпеливое, но твердое и неусыпное сдерживание экспансионистских тенденций России», Кеннан, как он настойчиво подчеркивал, не имел в виду, что советский экспансионизм будет носить обязательно военный характер и что, следовательно, Запад должен сдерживать его военными средствами. Главным средством сдерживания Советского Союза он считал экономическое восстановление Западной Европы и главной ареной соперничества – политическую. Более того, он прямо предостерегал против опасностей, которыми было чревато развязывание Соединенными Штатами гонки вооружений в качестве основного инструмента «сдерживания» Советского Союза.

Однако в Вашингтоне верх одержала опять-таки иная точка зрения, которую наиболее ярко олицетворял Пол Нитце, в то время руководитель Совета по планированию политики государственного департамента США. Эта точка зрения нашла наиболее полное свое выражение и приобрела характер внешнеполитической доктрины в директиве Совета национальной безопасности США 68 (СНБ 68), утвержденной президентом Трумэном в 1950 году. Именно этот документ – своего рода хартия «холодной войны», – остававшийся совершенно секретным до 1975 года, во многом обусловил, по моему убеждению, более конфронтационный характер американо-советских отношений в послевоенный период, чем это было объективно неизбежным.

Основной концептуальный порок документа СНБ 68 заключался в том, что его авторы – в отличие от Кеннана – поставили знак равенства между декларировавшейся советским руководством уверенностью в победе коммунизма во всем мире и приписываемым Советскому Союзу как государству стремлением «установить свою абсолютную власть над остальным миром». Тезис о стремлении СССР к мировому господству многократно повторяется в документе как нечто само собой разумеющееся без малейшей попытки обосновать его теоретически или фактологически.

Между тем присущие советскому руководству со времен В. И. Ленина две линии в политике, которые он называл «коминтерновской» (идеологическая) и «наркоминделовской» (государственная), хотя временами и могли быть трудно различимыми, на деле никогда не сливались воедино. В любом случае, говорить в 1950 году, как это делали авторы документа, о наличии у Советского государства в качестве практического курса

планов установления своего господства над миром или для начала над Европейско-Азиатским континентом было просто несерьезно. Американскому руководству было хорошо известно, что, например, приход к власти в Китае коммунистов не был равнозначен установлению господства Советского государства над этой страной.

Вышесказанное не означает отрицания мною того, что Советскому Союзу (как, впрочем, и другим великим державам, включая не в последнюю очередь США) было присуще стремление к расширению сферы своего влияния. И естественно, что Советский Союз воздействовал на внутреннее развитие тех стран, где он имел такую возможность, пытаясь создать режимы по своему образу и подобию; точно так же поступали и Соединенные Штаты (достаточно еще раз напомнить, скажем, о роли штаба генерала Макартура в выработке японской конституции).

С этой точки зрения у авторов документа СНБ 68 явно не сходились концы с концами, когда они, с одной стороны, утверждали, что США, будучи «свободным обществом», не стремятся к «превращению всех других обществ в подобные себе», а с другой – предлагали, чтобы политика и действия США были направлены на «достижение фундаментального изменения природы советской системы». Или когда они требовали, чтобы Советский Союз строил свои отношения с другими странами на основе равенства и уважения их прав, отнюдь не будучи готовыми в то же время считать его самого равноправным членом мирового сообщества.

Указанный концептуальный порок документа СНБ 68 (приписывание Советскому государству планов установления своего господства над миром) в практическом плане существенно усугублялся допущенным его авторами весьма серьезным искажением действительного положения вещей чисто фактического порядка.

В подкрепление своего тезиса о наличии у Советского Союза планов установления господства над миром, а для начала над Евразией, авторы документа утверждали, будто в 1950 году Советский Союз обладал способностью захватить континентальную часть Западной Европы, выйти к нефтеносным районам Ближнего и Среднего Востока, а также нанести ядерные удары по США и Канаде, не говоря уж о Британских островах. Более того, для пущей убедительности в документе утверждалось, что даже если бы США первыми нанесли мощный ядерный удар по Советскому Союзу (а такой способностью США реально обладали), то якобы и после этого «Кремль был бы способен использовать контролируемые им силы для установления

господства над большей частью или всей Евразией».

Все это не было просто преувеличением. Это в корне не соответствовало действительности. Когда я поинтересовался мнением руководителей Генерального штаба Вооруженных Сил СССР об указанной оценке авторами документа (после опубликования его полного текста в 1975 г.) советских военных способностей в 1950 году, они назвали ее заведомо ложной, смехотворной. Они не могли поверить, что их коллеги из Объединенного комитета начальников штабов США, на которых имелась ссылка в документе, всерьез могли столь сильно переоценивать реальные возможности Советских Вооруженных Сил того времени.

Между тем именно из этой ложной посылки вытекала главная рекомендация авторов документа СНБ 68 – насчет необходимости форсированного всеобъемлющего наращивания военной мощи США и их союзников. Фальсифицируя оценку соотношения военных сил по состоянию на 1950 год, составители документа руководствовались целью, как это позже признал тогдашний госсекретарь Дин Ачесон, «так поразить коллективный разум «высшего руководства», чтобы президент не только смог принять решение, но чтобы это решение было претворено в жизнь».

И, как хорошо известно, они преуспели в этом. Одобрение президентом Трумэном документа СНБ 68 предопределило на многие годы вперед бешеную гонку вооружений в мире. Этого вполне можно было, думается, избежать, если бы в администрации США в ту пору взяла верх предлагавшаяся Кеннаном концепция «сдерживания» Советского Союза преимущественно политическими и экономическими методами, а не главным образом военными средствами, к чему привело принятие документа СНБ 68.

Кстати, начавшаяся в 1950 году война в Корее, которая, говорят, убедила Трумэна в обоснованности анализа и рекомендаций, сделанных авторами документа, в действительности ведь не была частью «планов Кремля», как это изображалось. Сталин серьезно сомневался в разумности действий Ким Ир Сена, благословив их только после того, как последний заручился поддержкой Мао Цзэдуна. Во всяком случае, корейская война не могла служить доказательством правильности утверждений о стремлении Советского государства к мировому господству.

Крайне отрицательные последствия для развития международных отношений с моей точки зрения имело и то, что в рамках рекомендованного авторами документа СНБ 68 политического курса фактически не было места для серьезных и

успешных переговоров между Соединенными Штатами и Советским Союзом как по общему урегулированию их отношений, так и по вопросам ограничения вооружений и разоружения. Не рассчитывая, что с помощью переговоров Соединенным Штатам удастся достичь такого урегулирования, которое вело бы к фундаментальным изменениям советской системы, авторы документа допускали использование переговоров с СССР лишь в чисто тактических целях.

У Советского Союза не было своего катехизиса «холодной войны», подобного американскому документу СНБ 68. Но, по существу, наши концептуальные представления того времени были почти зеркальным отражением американских. Справедливо отрицая наличие у нас самих стремления к завоеванию мирового господства, мы подозревали наличие подобных устремлений у США – именно через эту призму нам виделись все их практические действия, в том числе в военной области. Не имея агрессивных намерений в отношении к США и их союзников, мы отказывались усматривать оборонительные мотивы в наращивании ими вооружений, считая это бесспорным признаком агрессивных намерений в отношении СССР. Поскольку они рассуждали так же, то возникал заколдованный круг, порождавший все новые витки гонки вооружений с вытекавшими отсюда последствиями как в плане экономического бремени, так и дальнейшего роста напряженности и военной опасности.

Глава 3. ПАМЯТНОЕ О ПРЕЗИДЕНТСТВЕ ЭЙЗЕНХАУЭРА

Большинство моих соотечественников, людей старшего поколения помнят Дуайта Эйзенхауэра и как генерала, командовавшего западным, вторым для нас, фронтом в войне против гитлеровской Германии, и как президента США, который перед уходом с этого поста в январе 1961 года предостерег своих сограждан насчет опасности растущего влияния военно-промышленного комплекса на жизнь страны. Эти воспоминания носят явно положительную окраску. В то же время у многих людей осталась в памяти прискорбная история с американским разведывательным самолетом У-2, сбитым 1 мая 1960 года в районе Свердловска, в связи с чем оказалась сорванной четырехсторонняя встреча на высшем уровне в Париже и визит президента в Советский Союз, намечавшийся на июнь того же года (кстати, учитывая пристрастие Эйзенхауэра к гольфу, в связи с ожидавшимся его визитом в СССР было подготовлено первое в нашей стране поле для игры в гольф).

У тех же, кто занимался Соединенными Штатами профессионально, палитра воспоминаний о Дуайте Эйзенхауэре, занимавшем пост президента США в течение двух четырехлетних сроков – с 1953 по 1960 год, естественно, богаче и многоцветнее.

Первый срок президентства, 1953–1956 годы

Мое первое воспоминание о нем связано со сделанным в ходе избирательной компании 1952 года тогда еще кандидатом в президенты Эйзенхауэром заявлением о том, что если он будет избран, то первым делом отправится в Корею, чтобы продемонстрировать свое стремление к скорейшему окончанию войны там. Так он и поступил, что, как я помню, вызвало положительную реакцию в нашем Министерстве иностранных дел и в высшем руководстве страны.

Дело в том, что, вопреки существовавшему на Западе да и сейчас еще сохраняющемуся мнению, будто Ким Ир Сен начал в 1950 году войну по наущению Сталина, решившего, дескать, «поиграть мускулами» после взрыва советской атомной бомбы, такая трактовка, как уже упоминалось в предыдущей главе, не соответствовала действительности. На самом деле Сталин первоначально пытался отговорить Ким Ир Сена от «похода на

Юг», что подтверждается имеющимися в архиве документами. Сталин резонно опасался серьезного осложнения отношений с Соединенными Штатами, чьи войска находились в Южной Корее. Как он понимал, США не смогут остаться безучастными к их судьбе и судьбе южнокорейского режима. Однако после того как Ким Ир Сен заручился поддержкой Мао Цзэдуна, Сталин, не желая, видимо, выглядеть менее «храбрым», чем китайский лидер, не стал дальше препятствовать «походу на Юг», а затем санкционировал и предоставление КНДР военной помощи, включая посылку туда советских летчиков. Поскольку же последующий ход событий полностью подтверждал опасения Сталина, то шаги Эйзенхауэра, направленные на окончание корейской войны, импонировали ему.

Не менее памятным мне событием была важная речь, с которой выступил Эйзенхауэр вскоре после смерти Сталина, а именно 16 апреля 1953 года. Мне пришлось участвовать в подготовке оценки этого выступления президента для представления ее советскому руководству. У меня и некоторых моих коллег было ощущение, что в речи Эйзенхауэра заложено искреннее желание переломить развитие мировых событий, остановить набиравшую все больший размах гонку вооружений. Однако надо прямо сказать, что убедительно донести это наше ощущение до понимания вышестоящего начальства мы не смогли, тем более что конструктивное начало в речи президента было утоплено в стереотипных обвинениях по адресу советского режима. Новые советские руководители фактически были поставлены перед необходимостью, прежде чем принять протянутую руку мира, признать одностороннюю вину Советского Союза за все происшедшее после Второй мировой войны, покаяться в своих грехах или, по крайней мере, списать эти грехи на Сталина. Рассчитывать на положительное восприятие новым советским руководством в тот момент такой постановки вопроса, конечно, было совершенно нереалистично.

Когда спустя годы мне удалось узнать подлинную историю подготовки апрельской речи Эйзенхауэра, я убедился в том, что его собственный замысел, который лишь угадывался в свое время, был действительно весьма конструктивным, но замысел этот оказался практически полностью извращен теми, кто приложил руку к подготовке речи.

Излагая свой первоначальный замысел речи одному из помощников, Эммету Хьюзу, президент говорил: «Послушай, я устал – и, думаю, все устали – от голых обвинений советского режима. Я считаю, будет неправильно – по существу, глупо, – если я встану перед миром, чтобы произнести еще одну из таких

обвинительных речей. Вместо этого важно на деле одно: что мы имеем предложить миру? Что мы готовы сделать, чтобы улучшить шансы на сохранение мира?»

И президент изложил Хьюзу четкую конструктивную концепцию своей речи. Лейтмотивом речи, согласно замыслу президента, должна была стать тема опасностей, которыми чревата гонка вооружений. Он хотел подчеркнуть, что гонка вооружений в худшем случае приведет к атомной войне, а в лучшем – к лишению каждого народа плодов его собственного труда. Возможен другой путь – путь разоружения, который позволит обратить средства, поглощаемые гонкой вооружений, на те вещи, которые необходимы для достойной жизни человека: продукты питания, одежду, дома, больницы, школы.

В заключение президент сказал Хьюзу: «Что мы скажем о советском правительстве? Я хотел бы встать и сказать: я не собираюсь их обвинять. Прошлое говорит само за себя. Меня интересует будущее. Оба правительства – и их, и наше – включают сейчас новых людей. Перед нами чистая грифельная доска. Давайте начнем говорить друг с другом. И то, что у нас есть сказать, давайте скажем так, чтобы каждому человеку на Земле это было понятным. Вот что предлагаем мы. Если вы, Советский Союз, можете предложить лучшее, мы хотим услышать это».

Выслушав президента, Хьюз счел необходимым обратить его внимание на то, что изложенный им замысел речи не очень согласуется с позициями, которых придерживался государственный секретарь Джон Фостер Даллес, с которым он, Хьюз, имел накануне беседу как раз на эту тему. Эйзенхауэр отреагировал очень резко: «Если г-н Даллес и его просвещенные советники действительно считают, что они не могут всерьез говорить о мире, тогда я оказался не в том приходе. Ибо если мы собираемся говорить о войне, то я знаю людей, с которыми надо советоваться об этом, – они находятся не в государственном департаменте. Итак, или мы бросим валять дурака и предпримем серьезное усилие ради мира, или забудем об этой затее с речью».

Но из рассказа того же Хьюза стало известно, как мучительно проходила дальнейшая работа над речью президента, поскольку его замысел действительно был воспринят, мягко говоря, без всякого энтузиазма как Даллесом, который поначалу вообще был против идеи выступления президента с подобной речью, так и многими его единомышленниками в окружении Эйзенхауэра.

Неудивительно поэтому, что в конечном варианте речь президента получилась совершенно не такой, какой она должна была быть, судя по воспоминаниям Хьюза. В частности, по

настоянию Даллеса в нее был вставлен перечень «лакмусовых тестов», которые предлагалось пройти новым советским руководителям для доказательства своей доброй воли.

В целом, в прямом противоречии с первоначальным замыслом Эйзенхауэра, по меткому определению американского исследователя его президентства Б. Кука, речь 16 апреля явилась скорее «первым выстрелом в послесталинской фазе «холодной войны», а не приглашением нового советского руководства к серьезному разговору с целью покончить с ней. К тому же вслед за президентом, буквально через два дня после него, Даллес произнес свою собственную большую речь, выдержанную в резком, вызывающем тоне по отношению к СССР, что также не способствовало благоприятному восприятию в Москве даже того позитивного, что оставалось в речи президента.

Конечно, сейчас невозможно с определенностью сказать, как повернулось бы дело, если бы речь Эйзенхауэра 16 апреля получилась такой, какой она была задумана им самим, тем более с учетом того обстоятельства, что в тот момент новое советское руководство было поглощено своими, сугубо внутренними раздорами. Думается все же, что шансов на положительный результат в этом случае было бы значительно больше.

К сожалению, и следующая памятная речь Эйзенхауэра – «Атомы для мира», произнесенная на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1953 года, тоже оказалась не серьезной инициативой, а очередным пропагандистским ходом, рассчитанным, по признанию другого американского исследователя его президентства, Р. Гартгоффа, на то, чтобы, с одной стороны, выставить в невыгодном политическом свете Советский Союз, а с другой – снять с атомной энергии негативный ореол. «Предложение о согласованной взаимной конверсии Советским Союзом и Соединенными Штатами некоторой части их атомного оружия, – говорил Гартгофф, – не могло быть принято Москвой. Это был пропагандистский жест, ход в психологической войне».

Тот факт, что это предложение в случае его реализации было бы односторонне выгодно Соединенным Штатам, признал в своих мемуарах и сам президент. «Наши технические эксперты заверили меня, – писал он, – что если бы даже русские согласились сотрудничать в осуществлении такого плана, Соединенные Штаты могли бы позволить себе уменьшить свой запас расщепляющихся материалов на количество в два или три раза большее того количества, которое могли бы выделить русские, и все еще **улучшить наши относительные стратегические позиции** (выделено мною. – *Г. К.*)».

Среди воспоминаний, связанных с первым сроком президентства Эйзенхауэра, особое место занимает состоявшаяся в июле 1955 года в Женеве встреча «большой четверки» – руководителей СССР, США, Англии и Франции. Хотя эта встреча не принесла осязаемых конкретных результатов, в ее ходе, пожалуй, впервые проявились признаки понимания руководителями ведущих держав мира общей для всех необходимости не допустить ядерной войны. До этого – при кажущейся сегодня невероятности такого образа мыслей – ядерная война отнюдь не считалась нереальной. Например, как стало позже известно, тот же Эйзенхауэр до какого-то момента не исключал возможности начала Соединенными Штатами войны против Советского Союза, прекрасно понимая, что она в этом случае будет ядерной. Так, в американских архивах сохранилась датированная сентябрем 1953 года записка Эйзенхауэра Даллесу, в которой он высказывал мнение, что экономическое и политическое бремя поддержания средств сдерживания может стать столь тяжким, что «мы будем вынуждены взвесить, не требует ли наш долг перед будущими поколениями того, чтобы мы начали войну в самый подходящий по нашему выбору момент».

Однако с течением времени, прежде всего под воздействием происходившего в те годы процесса утраты Соединенными Штатами своей неуязвимости, Эйзенхауэр все больше становился – и ко времени встречи в Женеве, похоже, уже встал – на точку зрения, исключавшую возможность сознательного начала Соединенными Штатами превентивной войны против СССР (это не исключает предусматриваемой и поныне военной доктриной США возможности нанесения ими упреждающего ядерного удара в случае, если Вашингтон придет к выводу, пусть и ошибочному, что другая сторона собирается нанести удар по США).

Что же касается выдвинутого Эйзенхауэром в Женеве плана «открытого неба», то вопреки тем, кто задним числом готов сейчас превозносить его до небес, я не считал тогда и не считаю сейчас это серьезным (в тех условиях) предложением, рассчитанным на возможность принятия его советской стороной. Возможно, и на этот раз у самого президента был более благородный порыв, но в том виде, в каком было сконструировано предложение (обмен полными картами расположения военных объектов и предоставление друг другу неограниченного права производить съемки с воздуха), оно было заведомо неприемлемым для Советского Союза, хотя бы уже потому, что у США были практические возможности для осуществления таких съемок, а у СССР их не было.

Здесь был явный расчет лишь на пропагандистский выигрыш, а вовсе не на возможность принятия этого предложения Советским Союзом. Этот факт подтверждается не только тем, что инициатором и разработчиком плана «открытого неба» было существовавшее в Белом доме подразделение по ведению «психологической войны», но и тем, что план не был заранее проработан и одобрен во всех его аспектах Объединенным комитетом начальников штабов США. И случись так, что Советский Союз вдруг согласился бы с ним, президенту грозили бы большие неприятности, вплоть до импичмента. Но президент Эйзенхауэр ничем не рисковал, так как прекрасно понимал неприемлемость предложенного им плана для Советского Союза. «План «открытого неба» (как и «Атомы для мира») имел своей целью поставить Советский Союз в оборонительное положение из-за закрытости советского общества. Президент исходил из того, что он будет отвергнут», – прямо говорит Р. Гартгофф.

Плюс к этому вполне возможно, что кое-кто в Вашингтоне заранее замышлял использовать неизбежный отказ СССР от предложения об «открытом небе» для морального оправдания планировавшихся уже в то время полетов американских разведывательных самолетов У-2 над его территорией, которые начали осуществлять в следующем, 1956 году. И действительно, когда в 1960 году стал достоянием гласности факт многократных полетов этих самолетов над территорией Советского Союза и других стран, кое-кто в Вашингтоне пытался оправдывать это грубейшее нарушение всех норм международного права ссылками на отказ СССР в 1955 году от предложения об «открытом небе» и вообще на «закрытость» Советского Союза.

В любом случае я лично не считаю выдвинутое в Женеве в 1955 году предложение об «открытом небе» одной из блестящих страниц президентства Эйзенхауэра.

Последнее воспоминание, относящееся к первому сроку президентства Эйзенхауэра, навеяно суэцким кризисом 1956 года, вызванным тройственной агрессией Израиля, Франции и Англии против Египта. То, что США не присоединились к этой агрессии и, более того, заняли негативную по отношению к ней позицию, многими у нас, во всяком случае поначалу, расценивалось как «распределение ролей» и только. Многие и остались при этом мнении, ссылаясь, в частности, на сказанные по окончании кризиса Эйзенхауэром Идену слова: «В конце концов наши разногласия из-за Суэца были подобны небольшой семейной ссоре».

Но были среди нас тогда и те, кто усматривал существенные различия в позициях Англии и Франции, с одной стороны, и США

– с другой, что подтвердилось впоследствии опубликованными документами и мемуарами. В качестве примечательного факта можно отметить, что в данном случае обнаружилось полное совпадение взглядов Эйзенхауэра и Даллеса, одинаково считавших пагубным для общих интересов Запада образ действий Англии и Франции в суэцком кризисе. О такой точке зрения Даллеса стало достоверно известно Москве еще в дни кризиса, и это, пожалуй, больше, чем что-либо другое, помогло убедить советское руководство в том, что отрицательное отношение Вашингтона к тройственной агрессии – не просто игра. Но по-умному воспользоваться сложившейся ситуацией мы не сумели, если не считать очень умным наше заведомо неприемлемое для США обращение к ним с предложением о направлении советских и американских войск для пресечения агрессии.

Второй срок президентства, 1957–1960 годы

В качестве одного из памятных событий, относящихся ко второму сроку президентства Эйзенхауэра, я бы назвал прежде всего начавшуюся в 1957 году работу над первым соглашением об обменах между СССР и США в области науки и культуры, подписанном в январе 1958 года. Долгие годы оно было известно под названием «Соглашение Зарубина-Лейси» (по именам тогдашнего советского посла в США Зарубина и одного из руководителей госдепартамента Лейси, сыгравших большую роль в его достижении).

Потом было заключено много других, более масштабных соглашений между СССР и США об обменах в области науки, техники и культуры. Но начало этому процессу было положено еще тогда, при Эйзенхауэре, в разгар «холодной войны». Как всякое начало, это было нелегким делом, и, безусловно, его надо записать в позитив президентства Эйзенхауэра.

В 1957 году был сделан также первый серьезный шаг по созданию преград на пути распространения ядерного оружия при одновременном расширении использования атомной энергии в мирных целях. При активном участии и определенном взаимодействии СССР и США было учреждено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое с тех пор играет все возрастающую роль в этой области международной жизни. Это тоже позитивная часть президентства Эйзенхауэра.

К позитивным шагам следует отнести и начавшиеся в октябре 1958 года переговоры между СССР, США и Англией по вопросу о прекращении испытаний ядерного оружия. К сожалению, однако,

потребовалось много лет, чтобы достичь хотя бы частичного решения этой проблемы в 1963 году, а полностью решить ее не удается и до сих пор. В связи с тем, что путь к прекращению испытаний ядерного оружия оказался столь тернистым и долгим, вспоминается, как западные державы для замедления продвижения по нему умышленно усложняли вопрос о контроле.

Когда в 1958 году начались советско-американо-английские переговоры, Вашингтон и Лондон на деле еще не были готовы пойти на отказ от проведения испытательных ядерных взрывов хотя бы в атмосфере, в космосе и под водой, не говоря уже о подземных испытаниях. Не желая, однако, признать это открыто, американская и английская делегация поднимали все новые вопросы относительно контроля.

Ими, в частности, предлагалось: создать сотни наземных постов по всему миру, оснащенных аппаратурой, способной улавливать радиоактивные осадки, засекать вспышки света и ультразвука от взрывов в атмосфере, а также рентгеновские и другие излучения от взрывов в космосе; держать на постоянной основе в Мировом океане десятки судов со смешанными экипажами и сложным оборудованием для регистрации подводных взрывов; иметь десятки специально оборудованных самолетов, которые курсировали бы по установленным маршрутам в поисках радиоактивных облаков от взрывов в атмосфере; расположить десятки спутников на трех постоянных орбитах, оснастив их аппаратурой для обнаружения взрывов в космосе. С серьезным видом ставились и дискутировались и такие, скажем, вопросы: как засечь ядерный взрыв, если он будет произведен за Луной или даже за Солнцем? Подчас эти дискуссии напоминали схоластический спор о том, сколько чертей может разместиться на острие иголки.

И продолжались эти дискуссии пять лет – до тех пор пока в Вашингтоне и Лондоне не было принято, наконец, политическое решение пойти на прекращение ядерных испытаний в трех средах, сохранив возможность их проведения под землей. Как только такое решение было принято, США и Англия тут же сами сняли все свои предложения по контролю. В подписанном в 1963 году Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой никакой системы международного контроля вообще не предусмотрено. И действительно, в данном случае вполне достаточны национальные технические средства контроля; это было ясно еще в 1958 году, когда начинались трехсторонние переговоры, и полностью подтвердилось 30-летним опытом с момента подписания договора. А то, что пять лет были истрачены на

бесплодные дискуссии и тем временем продолжались ядерные взрывы в атмосфере с их долгосрочными зловредными последствиями, осталось на совести наших западных партнеров.

И если нашу планету еще долгие годы сотрясали ядерные взрывы, производимые в ее недрах, то это тоже объясняется не неразрешимостью проблемы контроля за их запрещением. Эта проблема при наличии политической воли была разрешима в том же 1963 году, когда был заключен договор о запрещении ядерных взрывов в остальных трех средах, и тем более она технически вполне разрешима сегодня. Однако США никогда особенно не скрывали, что они в принципе – вне зависимости от решения вопросов контроля – не согласны пойти на полное прекращение подземных испытаний ядерного оружия.

И все же движение по пути к прекращению, пусть и не полному, испытаний ядерного оружия началось в 1958 году, в бытность президентом Эйзенхауэра.

В том же 1958 году состоялся предварительный обмен мнениями, а в следующем году – официальные переговоры, закончившиеся подписанием в декабре 1959 года в Вашингтоне 12 государствами, включая СССР и США, Договора об Антарктиде, призванного не допустить милитаризации этого большого и экологически важного региона земного шара. Тем самым этот документ времен Эйзенхауэра явился первым документом, направленным на сдерживание гонки вооружений – в данном случае в географическом разрезе. Это был пусть и небольшой, но реальный шаг по пути, ведущему к демилитаризации международной жизни, к разоружению.

Следующее воспоминание – к сожалению, совсем малоприятное – касается упомянутой в начале главы истории с самолетом У-2, которая серьезно осложнила развитие начавшей было намечаться тенденции к разрядке международной напряженности и улучшению советско-американских отношений. Хорошо помню, что у тех наших американистов, кто был настроен на волну этой позитивной тенденции, чувство сожаления по поводу случившегося было не менее сильным, чем возмущение действиями США и удовлетворение от того, что удалось сбить американский самолет – нарушитель воздушного пространства СССР.

Однако, хотя я никогда не считал вершиной государственной мудрости образ поведения Хрущева в Париже, когда эмоции в связи с самолетом У-2 взяли у него верх над рассудком, категорически невозможно согласиться с теми, кто под предлогом «нового мышления» готов был вообще признать чуть ли не правомерными полеты американских разведывательных

самолетов над территорией СССР ввиду его «закрытости» в те времена: виноваты, мол, мы сами. Это полный абсурд.

Во-первых, если говорить об «открытости» и «закрытости» не в абстрактном плане, а применительно к данному случаю, то было бы сверхнаивностью думать, что при всей «открытости» США советская сторона могла получать легальным путем такие же разведывательные сведения, какие получала американская сторона в результате полетов У-2 над территорией СССР.

Во-вторых, – и это главное – вообще не может быть обстоятельств, которые оправдывали бы столь грубое попрание одного из основополагающих принципов международного права: принципа суверенитета государства, включая воздушное пространство над его территорией. Игнорирование этого принципа – под каким бы предлогом это ни делалось – к добру никогда не приводило. История с У-2 в 1960 году – не единственный тому пример.

Не меняет сути дела и то, что, как потом утверждалось, завершись тот конкретный полет У-2 успешно для американской стороны, его результаты могли бы помочь развеять миф о «ракетном отставании» США от СССР и тем самым подорвать позиции тех в Вашингтоне, кто требовал дальнейшего форсирования ракетной гонки. Сожалеть, исходя из такого предположения, о том, что самолет-разведчик был сбит, можно только в том случае, если придерживаться правила «цель оправдывает средства», а это, как показывает исторический опыт, всегда имело печальные последствия.

Инцидент с У-2 усугубило и поведение американского руководства после того, как самолет был сбит. Работая в то время в Вашингтоне, я хорошо помню, как это все происходило. В качестве первой реакции на советское сообщение о том, что над территорией СССР сбит американский самолет-нарушитель, в Вашингтоне лживо заявили, что ни один американский самолет никогда не засылался умышленно в воздушное пространство СССР и речь может идти лишь о самолете, совершавшем невинный полет вблизи советской границы с метеорологическим заданием. Когда же стало ясно, что у Москвы есть доказательства разведывательного характера полета, американская администрация вынуждена была признать это, но опять-таки с оговоркой, будто власти Вашингтона не давали разрешения на такие полеты. А затем еще через несколько дней Белый дом признал, что разрешение на разведывательные полеты американских самолетов над территорией СССР было дано лично президентом, поскольку это, мол, оправдывалось жизненной важностью для США задачи проникновения в советские военные

секреты.

При всем том, что в ходе президентства Дуайта Эйзенхауэра были и такие темные страницы, он бесспорно вошел в историю не только как хороший генерал, но и как по-настоящему крупный, дальновидный политический деятель. Его политические качества как нельзя ярче проявились в прощальном обращении к американскому народу 17 января 1961 года, за три дня до ухода с поста президента. То была речь настоящего государственного мужа, мыслящего широко и смотрящего далеко вперед.

Лейтмотивом этого выступления была мысль о важности соблюдения в жизни американского общества необходимых балансов:

– баланса между частным и государственным секторами экономики;

– баланса между явно необходимым и желательным;

– баланса между потребностями страны и обязанностями, возлагаемыми страной на гражданина;

– баланса между действиями, диктуемыми требованиями момента, и будущим благополучием нации и – главное – баланса между действительными потребностями обеспечения безопасности американского государства и опасностями, которыми чревато приобретение неоправданно большого влияния военно-промышленным комплексом, сформировавшимся в стране в послевоенный период.

Помнится, что для многих и в самих США, и у нас такого рода «антимилитаристское» заявление пятизвездного генерала-президента показалось неожиданным. Но для тех, кто внимательно следил за президентством Эйзенхауэра или изучал его впоследствии, это заявление не кажется неожиданным. Скорее речь Эйзенхауэра выглядела как логичное завершение той линии в вопросах национальной безопасности, которой он последовательно – хотя и не весьма успешно – старался придерживаться на протяжении всего пребывания в Белом доме и которая просматривалась уже в первоначальном замысле его речи 16 апреля 1953 года.

Коротко, но емко эта линия была выражена в формуле, высказанной Эйзенхауэром в самом начале его президентства, в 1953 году, и повторявшейся им не раз впоследствии: «Выживание нации зависит от обеспечения безопасности при сохранении платежеспособности». Еще яснее эту же мудрую мысль, сохраняющую свою злободневность и сегодня, он выразил позже в следующих словах: «Нам нужна достаточная оборона, но каждый доллар, который мы расходуем на оружие сверх достаточности, оказывает долгосрочный ослабляющий эффект на страну и ее

безопасность».

Если не сразу, то со временем становились известными и другие не менее мудрые высказывания Эйзенхауэра в закрытых разговорах со своим окружением, что делает эти высказывания тем более показательными для его умонастроения, поскольку они не предназначались для немедленной публикации. Так, 23 октября 1956 года во время совещания в Белом доме по поводу предстоявшего очередного испытания мощного водородного заряда президент воскликнул: «Боже мой, мы просто должны найти выход из этой ситуации. Просто бессмысленно говорить о «победе» в ядерной войне. Это все равно, что сказать: пошли переправимся вплавь через Атлантический океан». Для человека с таким умонастроением, конечно, не было случайным и внезапным озарением все то, что он сказал в своей прощальной речи насчет возможных опасных последствий – в экономическом, политическом и духовном плане – растущего влияния военно-промышленного комплекса.

Впоследствии понятие «военно-промышленный комплекс» нередко употреблялось всуе, в качестве пропагандистского штампа. Но на самом деле жизнь целиком подтвердила прозорливость и справедливость высказанных Эйзенхауэром опасений по поводу слишком большого влияния ВПК на жизнь общества, причем подтвердились эти опасения применительно не только к США, но и к другим государствам, в том числе не в последнюю очередь к Советскому Союзу.

К сожалению, осталось практически без внимания, во всяком случае, быстро забылось, еще одно не менее серьезное предостережение, высказанное Эйзенхауэром в той же прощальной речи: об опасности для американского общества (предостережение относилось опять-таки не только к нему) стать «пленником научно-технологической элиты». Между тем президент не вскользь упомянул об этой опасности, а, как и в случае с военно-промышленным комплексом, показал ее истоки и механизм действия. И снова время подтвердило его пророчество, к которому в свое время зря не прислушались. Это не могло не сказаться пагубно на духовной да и на социально-политической жизни как американского, так и советского общества. А поправить теперь дело – гуманизировать общество, прежде всего его высший эшелон, – отнюдь не легкая задача.

При чтении следующих глав читатель сможет убедиться в том, с каким трудом идет – по обе стороны океана – и освоение единственно разумного метода действий, который подсказывал все в той же речи Эйзенхауэр в качестве средства повернуть развитие тревоживших его процессов в обратном направлении.

«Постоянным императивом, – говорил он, – является разоружение при взаимной честности и доверии. Мы должны вместе научиться, как улаживать разногласия: не с помощью оружия, а с помощью интеллекта и руководствуясь добропорядочными намерениями».

Глава 4. УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – ВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА Н. С. ХРУЩЕВА И ДЖОНА Ф. КЕННЕДИ

Состоявшаяся в июне 1961 года в Вене встреча Н. С. Хрущева и Джона Ф. Кеннеди, по-моему, незаслуженно обойдена вниманием историков и политологов. Между тем эта встреча, как мне кажется, представляет большой интерес с точки зрения упущенной тогда возможности для радикального улучшения отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Мне лично не довелось присутствовать на ней, но, будучи в то время советником посольства СССР в США, я был осведомлен о ее предыстории, о ходе и последующем развитии событий, так сказать, «с вашингтонского конца». А находясь в отпуске в Москве в августе 1961 года, я имел возможность ознакомиться с записями венских бесед и поговорить с рядом ее участников. Основываясь на этих знаниях, дополненных рассекреченными в последующие годы американскими документами, относящимися к венской встрече, хотел бы поделиться своими воспоминаниями и соображениями о ней.

Предыстория встречи

Сразу же после победы Кеннеди на президентских выборах в ноябре 1960 года из Москвы стали исходить сигналы о желании Хрущева как можно скорее, не дожидаясь вступления Кеннеди в должность в январе 1961 года, завязать с ним диалог через доверенных лиц, а еще лучше – встретиться лично. Что касается неофициальных контактов, то таковые были без труда установлены, в частности через Аверелла Гарримана. Рассчитывать же на личную встречу с вновь избранным президентом до инаугурации было абсолютно нереально. Нам в посольстве это было ясно, но посол М. А. Меньшиков, зная настроения в Москве, довольно назойливо поднимал этот вопрос при встречах со всеми, кто мог довести его до сведения Кеннеди. Из этой затеи, естественно, ничего не получилось.

Однако вскоре после инаугурации, по данным посольства, в Белом доме началось обсуждение вопросов взаимоотношений США с СССР и, в частности, вопроса о встрече Кеннеди с

Хрущевым. В течение февраля состоялось три таких обсуждения с участием государственного секретаря Д. Раска и лучших знатоков Советского Союза: Дж. Кеннана, А. Гарримана, Л. Томпсона, Ч. Болена, Ф. Колера. В результате было подготовлено и 22 февраля подписано президентом его первое письмо советскому лидеру, в котором содержалось предложение об их встрече. Томпсон, тогдашний посол США в СССР, вернулся с этим письмом в Москву 27 февраля, но ввиду того, что Хрущев находился в длительной поездке по стране, письмо президента было передано ему Томпсоном только 9 марта в Новосибирске. При этом в качестве возможного срока встречи на высшем уровне Томпсон назвал начало мая, а в качестве места встречи предложил на выбор Вену или Стокгольм. Хрущев высказался в пользу Вены.

В обеих столицах сразу началась интенсивная подготовка к встрече. Через некоторое время она, правда, застопорилась в связи с тем, что начали сгущаться тучи над Кубой и в середине апреля произошло организованное Соединенными Штатами вторжение на Кубу антикастровских формирований. Но уже в конце апреля Москва дала знать Белому дому, вначале по неофициальному каналу, что Хрущев желает вернуться к вопросу о встрече с президентом. 4 мая министр А. А. Громыко подтвердил это официально послу Томпсону в Москве, 16 мая Меньшиков вручил президенту письмо Хрущева, датированное 12 мая, явившееся ответом на февральское письмо Кеннеди, в котором содержалось предложение о встрече. Хрущев официально принимал это предложение.

До посольства доходили сведения (впоследствии они подтвердились опубликованными материалами), что не все в окружении президента считали момент подходящим для его встречи с Хрущевым. Без энтузиазма к ней относились, в частности, вице-президент Линдон Джонсон и госсекретарь Дин Раск. Они опасались, что согласие Кеннеди на встречу так скоро после провала кубинской авантюры могло быть расценено Хрущевым как дающее ему возможность разговаривать с Кеннеди в Вене «с позиции силы». Но президент, как и его основные советники по советским делам Томпсон и Болен, не разделял таких опасений. Встреча в Вене была назначена на начало июня.

В чем были едины в канун венской встречи все советники Кеннеди, включая Томпсона, так это в том, что президенту не следует втягиваться в дискуссию с Хрущевым общего и тем более философского характера, а сконцентрироваться вместо этого на обсуждении конкретных, наиболее острых на тот момент проблем: Берлин, Лаос, запрещение ядерных испытаний.

На встрече все пошло не так

Когда я познакомился с советскими записями бесед на встрече в Вене, состоявшейся 3–4 июня 1961 года, то, к своему удивлению, обнаружил, что, вопреки предостережениям советников Кеннеди именно по его инициативе большая часть времени была затрачена на дискуссию как раз по общим, принципиальным вопросам отношений между США и СССР как лидерами двух социально-экономических систем. Кеннеди в начале первой же беседы сказал Хрущеву, что его как президента США интересует главным образом вопрос о том, как обеспечить такое положение, при котором США и СССР – две мощные державы, имеющие многочисленных союзников и придерживающиеся разных социальных систем, державы, находящиеся в соревновании друг с другом в различных частях земного шара, – могли бы жить в мире.

Последовавший за этим разговор об историческом процессе мирового развития, о допустимых и недопустимых формах соревнования двух систем – капитализма и социализма – занял всю первую беседу. И хотя два лидера не пришли к единому мнению по этим вопросам, что было неудивительно, казалось, «философская» часть обмена мнениями на этом могла бы и закончиться.

Но после перерыва на официальный завтрак Кеннеди снова предложил продолжить разговор с Хрущевым по вопросам общего характера. Этот разговор, по инициативе опять-таки президента, проходил один на один с участием только переводчиков. В продолжение утренней дискуссии Кеннеди сказал Хрущеву, что он хорошо понимает его высказывания насчет смены в свое время феодализма капитализмом, и, более того, заявил буквально следующее: «Я также хорошо понимаю Вас, когда Вы говорите, что наше время характеризуется упадком капитализма и приходом на смену ему социализма». Сославшись далее на бурные события, которые потрясали Европу в эпоху перехода от феодализма к капитализму, Кеннеди выразил убеждение в том, что как раз в такой переходный период необходимо проявлять особую осторожность в подходе к различным спорным проблемам, тем более учитывая то страшное оружие, которое находится в руках США и СССР.

Все это звучало так, будто Кеннеди соглашался с тезисом Хрущева о том, что капитализм идет к закату и будущее принадлежит социализму. Когда я впервые прочел такое в советских записях бесед, меня, по правде говоря, взяло сомнение: точно ли переданы слова президента? Но, как явствует из

опубликованных потом американских документов, советские записи не грешили против истины.

Так неужели Кеннеди действительно считал, что будущее мира за социализмом? Весьма, конечно, сомнительно, тем более что в другой части беседы он прямо говорил Хрущеву, что не считает такой ход событий в мире исторически неизбежным. Думается, правы те американские исследователи президентства Кеннеди, которые полагают, что в данном случае он позволил себе выражения, импонировавшие Хрущеву, руководствуясь тактическими соображениями: главным для него было так или иначе убедить последнего в опасности попыток изменить сложившееся на тот момент статус-кво в мире. И действительно, на протяжении всей венской встречи Кеннеди многократно возвращался именно к мысли о том, что в мире тогда установилось настолько четко очерченное соотношение сил, что даже если одно из новых государств перейдет на сторону Советского Союза и примет его систему, то и это резко изменит существующее равновесие в его пользу. В стремлении предостеречь Хрущева против попыток нарушить сложившийся баланс сил Кеннеди, чтобы продемонстрировать свою искренность в таком подходе, не остановился перед тем, чтобы назвать в этом контексте своей ошибкой недавнюю интервенцию на Кубу. Кстати, в связи с разговором о Кубе Хрущев среди прочего провидчески сказал Кеннеди: «Ведь Фидель Кастро не коммунист. Но вы своими действиями можете так вышколить его, что он в конечном счете действительно станет коммунистом, и тогда это уже будет ваша заслуга».

Кеннеди заявил, что он верит в возможность сосуществования стран с разными социальными системами при условии, чтобы каждая из них проводила независимую политику. Тревогу у него вызывает только то, что в случае победы в той или иной стране сил, исповедующих идеи, которых придерживается Советский Союз, эта страна крепко привяжет себя к его политике, а это не может не затрагивать безопасности Соединенных Штатов. Получалось, что его беспокоила перспектива изменения статус-кво не столько в социальном, сколько в геополитическом плане.

Анализируя в целом «философскую» часть бесед Хрущева и Кеннеди в Вене в сочетании с другими ставшими известными позже американскими материалами того времени, приходишь к выводу, что, хотя Кеннеди, конечно же, не разделял мнение советского лидера об обреченности капиталистической системы и неизбежности торжества социализма, он вместе с тем действительно был готов на практике исходить из факта сосуществования двух систем. Это документально подтверждается

тем, что в феврале 1961 года при работе в Белом доме над первым письмом президента Хрущеву Кеннеди в качестве исходной установки в развитии отношений с Советским Союзом написал на представленном ему проекте письма следующую лаконичную, но емкую формулу: «Я заинтересован в гармоничных отношениях с СССР – это означает признание разных систем».

Готовность Кеннеди строить свои отношения с СССР исходя из принципиальной установки на мирное сосуществование разных социальных систем вполне ясно просматривалась во всех его высказываниях и на самой встрече. Однако Хрущев был явно не расположен к достижению взаимопонимания на предложенной Кеннеди основе «замораживания» сложившегося в мире статус-кво. Во-первых, потому, что это предполагало отказ Советского Союза от активной поддержки национально-освободительных войн (об этом Кеннеди прямо говорил со ссылкой на речь Хрущева от 6 января 1961 года, в которой открыто провозглашался курс на их поддержку), пойти же на такой отказ Хрущев не считал возможным и по собственным убеждениям, и с оглядкой на Пекин, да и на некоторых своих коллег в Москве. Во-вторых, в не меньшей, а может быть, и в большей степени потому, что предлагавшееся Кеннеди «замораживание» статус-кво в геополитическом плане означало бы отказ Хрущева уже тогда, в Вене, от своего требования об изменении статуса Западного Берлина. Пойти на это там он тоже не был готов.

«Да, кажется, холодная зима будет в этом году»

Как известно, еще в ноябре 1958 года Хрущев выступил с инициативой заключения странами-победительницами мирного договора с двумя германскими государствами – ФРГ и ГДР – при одновременном придании Западному Берлину статуса «вольного города». Берлинская дилемма имела длинную историю, и выдвижение Хрущевым ноябрьских предложений определялось целым рядом обстоятельств. Но мне вспоминается деталь, которая, с учетом импульсивности советского лидера, тоже сыграла определенную роль, во всяком случае в выборе момента для его инициативы. В октябре 1958 года в связи с обострением ситуации вокруг китайских прибрежных островов Куэмой и Мацзу, удерживавшихся Тайванем при поддержке США, Джон Фостер Даллес сделал заявление в том смысле, что США не остановятся перед применением силы, чтобы воспрепятствовать захвату Пекином этих островов, точно так же как в Европе западные державы никогда не отдадут Москве Западный Берлин.

Г. М. Пушкин, в то время заведующий Отделом информации ЦК КПСС, рассказывал: когда он привлек внимание Хрущева к этому заявлению Даллеса, чтобы предостеречь от опрометчивых шагов в отношении Западного Берлина, реакция была совершенно противоположной. Хрущев разразился тирадой примерно следующего содержания: ишь, как расхрабрился Даллес, ну и пусть китайцы «чикаются со своими говенными островами», а нам пора показать Даллесу кузькину мать в Берлине. И далее последовало указание ускорить подготовку германского пакета предложений.

Поскольку западные державы заняли резко отрицательную позицию в отношении выдвинутых Хрущевым предложений по Германии, он периодически грозил, что в этом случае Советский Союз один заключит мирный договор с ГДР, а это будет означать прекращение оккупационного режима и в Западном Берлине, находившемся на ее территории; соответственно, после этого западным державам придется договариваться о доступе в Западный Берлин непосредственно с правительством ГДР. При встрече Хрущева с Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде в 1959 году американский президент признал существовавшее положение в Западном Берлине «ненормальным» и выразил принципиальное согласие на проведение переговоров по этой проблеме. Имелось в виду обсудить ее на встрече «большой четверки» в мае 1960 года в Париже.

После того как парижская встреча была сорвана из-за инцидента с американским разведывательным самолетом У-2, Хрущев «подвесил» германский вопрос до избрания нового президента США. Советский лидер пошел и навстречу пожеланию Кеннеди, выраженному неофициально сразу после его избрания: дать ему время, чтобы определить свою позицию в этом непростом вопросе. Но в Вену Хрущев приехал с твердым намерением не оттягивать дальше решение берлинского вопроса или, во всяком случае, начало серьезных переговоров по нему. К этому его подталкивала ситуация в самом Берлине и в ГДР в целом: усиливавшийся отток квалифицированной рабочей силы из страны в ФРГ и ежедневный наплыв западноберлинцев в ГДР для приобретения там по более дешевым ценам продуктов и некоторых услуг, что наносило дополнительный ущерб восточногерманской экономике.

Между тем Кеннеди прибыл в Вену с прямо противоположным намерением. И он сам, и практически все его советники считали, что малейшие уступки с его стороны в берлинском вопросе на венской встрече будут восприняты как проявление слабости и вызовут резкую негативную реакцию

американских союзников и особенно правых кругов внутри США. Это еще больше ослабило бы его положение как президента, и без того не очень прочное в результате неубедительной победы на выборах 1960 года и с учетом провала апрельской интервенции на Кубу.

В результате занятая Кеннеди в Вене позиция по германскому вопросу была совершенно «глухой» – она сводилась к тому, что все здесь должно было оставаться, во всяком случае на ближайшее время, без всяких изменений и, стало быть, предмета для переговоров в этой части фактически нет. Это был явный шаг назад по сравнению с позицией Эйзенхауэра. Такой оборот дела, конечно, «завел» Хрущева, что во многом определило ту предельную остроту, которой достиг в Вене разговор по Берлину.

Хрущев подтвердил предложение о том, чтобы при заключении мирного договора с двумя германскими государствами Западный Берлин был наделен статусом «вольного города». Для обеспечения такого статуса, для гарантии невмешательства в дела города и его связей с внешним миром там могли бы быть размещены символические контингенты войск четырех держав – США, СССР, Англии и Франции или же войска нейтральных стран; гарантии для Западного Берлина были бы юридически закреплены также Организацией Объединенных Наций. При отказе же западных держав от такого варианта, заявил Хрущев, Советский Союз подпишет не позже декабря 1961 года мирный договор с ГДР, а следовательно, прежнее соглашение о доступе в Западный Берлин по утвержденным в свое время воздушным и наземным коридорам станет недействительным.

На прямой вопрос Кеннеди, означает ли это, что в случае подписания мирного договора СССР с ГДР доступ западным державам в Западный Берлин будет прегражден, последовал столь же прямой ответ Хрущева: «Вы правильно поняли, господин президент». Правда, затем он добавил, что правительство ГДР готово гарантировать доступ всех стран в Западный Берлин, но об этом надо будет договариваться непосредственно с этим правительством. Это мало утешило Кеннеди, который заявил, что если США позволят выгнать себя из Западного Берлина, лишившись в одностороннем порядке завоеванных ими и договорно оформленных прав, то все обязательства США по отношению к другим странам «превратятся в пустой клочок бумаги», никто больше не станет верить Соединенным Штатам, и это приведет к их полной политической изоляции. «А я, – сказал Кеннеди, – не для того стал президентом США, чтобы председательствовать при подобном процессе изоляции моей

страны».

Желая, видимо, намекнуть на возможность подвижек с его стороны в будущем, Кеннеди сказал, что Эйзенхауэр, возможно, был прав, когда в беседах с Хрущевым признал положение в Западном Берлине ненормальным, и если бы напряжение в мире уменьшилось, то, быть может, и удалось бы достичь взаимоприемлемой договоренности по этому вопросу, но сейчас для этого нет необходимых условий.

Своей кульминации дискуссия по Берлину достигла, когда Хрущев, усмотрев в одной реплике Кеннеди намек на возможность возникновения войны из-за Западного Берлина и сказав, что Советский Союз войны не начнет, дальше выпалил: «Если вы развяжете войну из-за Берлина, **то уж лучше пусть сейчас будет война, чем потом, когда появятся еще более страшные виды оружия**». Выделенная мною концовка тирады Хрущева была столь залихватской, что при оформлении официального текста записи беседы его помощники опустили эту концовку, заменив ее совсем другими словами: «**…то тем самым вы возьмете на себя всю ответственность**», – однако копия текста с подлинными хрущевскими словами неофициально сохранилась.

Любопытно, что, как потом выяснилось, в американской записи этой беседы при сохранении смысла сказанного Хрущевым форма была также несколько смягчена – его слова заменены другими: «**…то пусть будет так**». В этом, видимо, отразилась общая установка Кеннеди после Вены: излишне не драматизировать происходившее на встрече, чтобы его последующие шаги не расценивались как результат того, что он был запуган Хрущевым. По этой же, похоже, причине американская сторона не стала даже предавать огласке то обстоятельство, что Хрущев установил ультимативный срок для решения берлинского вопроса – декабрь 1961 года.

Венская встреча подошла к концу. Но, не желая, очевидно, завершить ее на столь мрачной ноте, Кеннеди пожелал поговорить с Хрущевым еще раз наедине. Он выразил надежду, что со временем появится возможность разработать мероприятия, направленные на обеспечение более удовлетворительного положения в Берлине, и обратился к Хрущеву с просьбой провести грань между заключением мирного договора СССР с ГДР, с одной стороны, и вопросом о правах западных держав в Западном Берлине и их доступе туда – с другой.

Хрущев был, однако, непреклонен – он повторил, что решение Советского Союза подписать не позже декабря мирный договор с ГДР с вытекающими из этого последствиями

бесповоротно, и никакие угрозы со стороны США его не остановят. «Мы, – повторил Хрущев, – войны не хотим, но если вы ее навяжете, то она будет».

«Да, кажется, холодная зима будет в этом году», – заключил Кеннеди.

Драматические перипетии после встречи

Как рассказывал потом К. О'Доннел, один из ближайших помощников президента, Кеннеди по пути из Вены в Лондон последними словами ругал Хрущева, особенно за жесткую постановку берлинского вопроса. Вместе с тем президент сказал: «Бог свидетель, что я не изоляционист, но кажется чрезвычайной глупостью рисковать жизнью миллионов американцев из-за спора о правах доступа по автобану… или из-за того, что немцы хотят объединения Германии. Должны быть гораздо более крупные и важные причины, чем эти, если мне придется грозить России ядерной войной. Ставкой должна быть свобода всей Западной Европы, прежде чем я припру Хрущева к стенке и подвергну его окончательному испытанию».

Тем не менее по возвращении в Вашингтон Кеннеди продолжал, как и в Вене, демонстрировать твердую решимость не остановиться перед применением силы для сохранения военного присутствия западных держав в Западном Берлине и свободного доступа туда. И это не была просто словесная бравада. До посольства доходили сведения, а потом они выплеснулись и на страницы печати, о разработке разных вариантов военных планов на этот случай. Разработка этих планов соответствовала преобладавшей в то время в Вашингтоне «линии Ачесона».

Сторонники бывшего государственного секретаря Дина Ачесона, которого президент привлек к германским делам еще до венской встречи и под воздействием которого в значительной мере сформировалась «глухая», неконструктивная позиция, занятая Кеннеди в этих вопросах на встрече, стояли на своем. По их мнению, в ответ на жесткую, ультимативную позицию по Берлину, продемонстрированную в Вене Хрущевым, США должны были продолжать придерживаться бескомпромиссной линии в этом вопросе до тех пор, пока Хрущев не отступит. Вашингтону, согласно этой линии, не следовало подавать Москве никаких сигналов о готовности к переговорам, поскольку это, дескать, будет расценено Хрущевым как признак того, что Кеннеди «дрогнул».

Отражением «ачесоновской линии» явилось, в частности, то,

что в состоявшейся 27 июня в Вашингтоне беседе Кеннеди с зятем Хрущева А. Аджубеем президент попросил его передать советскому лидеру следующее: «Я не хочу ввязываться в войну из-за Западного Берлина, но воевать мы будем, если вы односторонним образом измените обстановку… Если я сейчас уступлю или откажусь от занимаемой позиции, конгресс, сенаторы привлекут меня к ответственности и посадят в тюрьму».

Вместе с тем посольству было известно, что и в Белом доме, и в государственном департаменте далеко не все и, во всяком случае, не полностью разделяли «линию Ачесона», считая ее слишком опасной, тем более что резонно усматривали политико-дипломатическую слабину в той позиции, с которой поехал Кеннеди в Вену: отход от ранее выраженной Эйзенхауэром готовности к переговорам ввиду «ненормальности» положения в Берлине.

В тех условиях была особенно важна правильная оценка посольством реальной расстановки сил в американской администрации по данному вопросу, которая помогла бы Москве избежать просчета в понимании действительной решимости США не допустить изменения ситуации в Западном Берлине. Не менее важным представлялось и то, чтобы поведение самого посольства, как и Москвы, не лило воду на мельницу сторонников «линии Ачесона», а укрепляло позиции тех, кто выступал за более гибкий образ действий.

К сожалению, тогдашний наш посол Меньшиков был далек от понимания важности и того и другого. Рассчитывая потрафить Хрущеву, он фактически дезинформировал Москву, утверждая, что президент Кеннеди и его брат Роберт, которых он вслед за Аджубеем называл не иначе как «мальчишками в коротких штанишках», лишь храбрятся до поры до времени, а потом дрогнут и отступят. Помнится, как в одной из телеграмм, отправленных в Москву в начале июля 1961 года, Меньшиков, подделываясь под стиль Хрущева, высказал мнение, что «новые американские вожди петушатся», пока еще есть время, а когда дело ближе подойдет к решительному моменту (т. е. к подписанию мирного договора СССР с ГДР), «они первые накладут в штаны».

Наряду с дезинформацией Москвы Меньшиков в беседах с американскими деятелями и даже публично выражал в те дни уверенность, что, «когда будут раскрыты карты, американцы не станут воевать из-за Берлина». Подобные заявления не могли не провоцировать сторонников Ачесона не только давать резкую отповедь Меньшикову, но и усиливать давление на своего президента.

Отнюдь не все в советском посольстве были согласны с такой линией поведения посла. Спорить с ним было бесполезно, но кое-кто из нас стремился в меру своих возможностей как-то поправить дело, стараясь более правдиво информировать Москву и нейтрализовывать опрометчивые заявления Меньшикова.

Именно с этой целью я, например, встретился 5 июля с Артуром Шлесинджером, одним из помощников президента, с которым у нас был неплохой контакт и который не принадлежал к числу сторонников Ачесона (так же как ранее не был сторонником вторжения на Кубу).

Походив, как говорится, вокруг да около юридических и политических аспектов берлинского вопроса, я прямо спросил Шлесинджера: действительно ли все упирается в недоверие со стороны США, когда мы говорим, что их прежние позиции в Западном Берлине сохранятся и в новом контексте – в случае подписания мирного договора СССР с ГДР? Мой собеседник столь же прямо ответил, что да, все заключается как раз в том, что США не могут полагаться на наши гарантии в этом отношении. Мой следующий вопрос: если США не считают предлагаемые нами гарантии достаточными, почему бы им не предложить со своей стороны какие-либо другие гарантии? Почему не обсудить все это?

Как потом Шлесинджер говорил мне, а затем и писал в одной из своих книг, в таких моих высказываниях он усмотрел признаки того, что Москва, возможно, хочет сойти с пути, ведущего к столкновению. В ту пору считалось аксиомой, что любой советский дипломат говорил иностранцу только то, что ему предписано начальством, хотя в данном случае, как и во многих других, это было совсем не так – многое делалось и по собственному разумению, исходя из интересов своей страны, как они тобой понимались.

Во всяком случае, наша беседа, по словам Шлесинджера, подтолкнула его к тому, что на следующий день, посоветовавшись с некоторыми своими коллегами в Белом доме и госдепартаменте, он подготовил меморандум для президента Кеннеди с мотивированным изложением обеспокоенности потенциальной опасностью «линии Ачесона». Главная опасность усматривалась Шлесиджером в том, что эта линия предусматривала концентрацию всех усилий на возможности военной конфронтации, игнорируя необходимость прилагать, прежде всего, усилия по ее предотвращению дипломатическим путем.

Шлесинджер напомнил президенту, что кубинское фиаско в апреле 1961 года во многом проистекало как раз из излишней

концентрации на военных и оперативных вопросах при совершенно недостаточном учете политических соображений. При этом он высказал опасение, что то же самое может повториться и в случае с Берлином. Предложенный Ачесоном курс действий, по его мнению, мог рассматриваться как подходящий только в крайнем случае, если будут исчерпаны все остальные альтернативные курсы, между тем как в плане Ачесона вообще не было заложено никаких альтернатив конфронтационному варианту.

Шлесинджер убедительно показал в своем меморандуме, что, не разработав и не исчерпав все политико-дипломатические альтернативы, США рискуют сами себя загнать в тупик и оказаться без продуманной заранее линии поведения в случае, если Хрущев – как скорее всего и будет – вместо подписания мирного договора с последующим установлением физической блокады Западного Берлина станет действовать более осмотрительно.

Согласно рассказу Шлесинджера, президент, прочитав его меморандум, тут же согласился, что план Ачесона был слишком узко нацелен на военную сторону проблемы и что планированию по Берлину надо придать более сбалансированный характер. Вслед за этим Кеннеди ознакомил с меморандумом госсекретаря Д. Раска, министра обороны Р. Макнамару и своего военного советника М.Тейлора. Ознакомил он их и с еще одним меморандумом, подготовленным другим его помощником Макджорджем Банди. В этом документе указывалось на опасную жесткость продолжавшего сохранять свою силу со времени прежней администрации стратегического военного плана, согласно которому в случае серьезного обострения ситуации вокруг Берлина предусматривалось почти немедленное применение ядерного оружия вплоть до нанесения общего ядерного удара по Советскому Союзу.

Ясно выразив при этом свое неудовольствие состоянием планирования по Берлину, президент дал указание Раску в течение десяти дней разработать и представить переговорную позицию США по германским делам, а Макнамаре – в тот же срок разработать новый военный план, «который допускал бы неядерное сопротивление в масштабах, достаточных как для того, чтобы продемонстрировать нашу решимость, так и для того, чтобы дать коммунистам время вторично подумать и вступить в переговоры прежде, чем все выльется в ядерную войну». В этом указании Кеннеди содержался зародыш той стратегии, которая впоследствии получила название «гибкого реагирования».

Тем не менее среди разрабатывавшихся вариантов нового

военного плана на случай обострения ситуации вокруг Берлина был и тот, о котором мир узнал много лет спустя из опубликованных в 1989 году воспоминаний Ф.-Й. Штрауса, бывшего в те годы министром обороны ФРГ. Согласно Штраусу, этот вариант, на который дало свое согласие и западногерманское правительство, предусматривал, что в случае установления Советским Союзом блокады Западного Берлина туда направится из ФРГ американская танковая бригада, и, если советские войска физически воспрепятствуют ее продвижению, на один из полигонов на территории ГДР, где сконцентрировано большое количество советских войск, будет сброшена американская атомная бомба с целью продемонстрировать Москве решимость Запада. «Если бы намерение американцев, – писал Штраус, – сбросить бомбу на один из советских полигонов было осуществлено, то это означало бы гибель тысяч советских солдат. Это была бы Третья мировая война. Американцы осмелились внести эту идею потому, что точно знали, что Советы в то время не располагали надежно функционирующими межконтинентальными ракетами. Война, таким образом, проходила бы в основном в Европе; это была бы война обычными средствами, в которую США могли привнести некоторые ядерные компоненты». Тот факт, что в числе вариантов, разрабатывавшихся летом 1961 года в Вашингтоне на случай блокады Западного Берлина, был и описанный Штраусом, не отрицал в беседе со мной в 1990 году и М. Банди. А в ответ на вопрос, не разрабатывался ли такой вариант специально, чтобы о нем узнали в Кремле, Банди только усмехнулся.

Мне неизвестно, был ли Хрущев в 1961 году в курсе данного и других конкретных вариантов военных планов. Но, исходя из информации, которой я располагал в ту пору и получил позже, я убежден, что Хрущев, заняв в Вене жесткую, ультимативную позицию по Берлину и фактически грозя войной, по существу блефовал. А столкнувшись уже там с твердой решимостью Кеннеди не отступать и увидев подтверждение тому в последующих шагах президента по подготовке к возможной пробе сил, Хрущев стал думать над таким выходом из создавшегося положения, который, пусть при минимальных результатах, не означал бы вместе с тем большой «потери лица».

«Стена чертовски намного лучше, чем война»

Оптимальным, как представляется, выходом из создавшейся действительно опасной ситуации и явилось осуществленное в

ночь с 12 на 13 августа 1961 года закрытие границы между Восточным и Западным Берлином – сначала путем установления проволочных заграждений, а затем возведения бетонной стены. Так была решена в практическом плане наиболее острая проблема – остановить поток беженцев из ГДР, статус же Западного Берлина остался прежним, как и свобода коммуникаций между ним и ФРГ. Известно, что, давая В. Ульбрихту 5 августа санкцию на закрытие границы, Хрущев строго предостерег его против каких-либо акций, затрагивавших территорию непосредственно Западного Берлина или пути доступа туда из ФРГ, сказав ему: «Ни одного миллиметра дальше».

Руководствуясь этой установкой, правительство ГДР при объявлении о мерах по закрытию границы четко заявило: «Само собой разумеется, что эти меры не должны затронуть существующий порядок движения и контроля на путях между Западным Берлином и Западной Германией».

По существу, это, конечно, было отступлением от всего того, чем Хрущев грозил Кеннеди в Вене, но внешне дело выглядело так, как будто он достиг того, чего добивался. В то же время это явилось вполне приемлемым выходом и для Запада. Вопреки делавшимся там заявлениям, стена вовсе не была полной неожиданностью для американского руководства. Например, посол США в СССР Томпсон еще в марте 1961 года в одной из своих телеграмм в Вашингтон писал: «Если мы хотим, чтобы Советы оставили берлинскую проблему, как она есть, тогда мы должны по меньшей мере ожидать, что восточные немцы закроют секторальную границу, с тем чтобы остановить продолжающийся поток беженцев через Берлин, что они должны считать нетерпимым».

Сразу же после венской встречи в упоминавшемся выше разговоре со своим помощником О'Доннелом Кеннеди, высказав мнение, что главной причиной стремления Хрущева «закупорить» Западный Берлин был отток рабочей силы из Восточной Германии, заявил: «Вы не можете винить Хрущева за болезненную реакцию на это». Еще более определенно на этот счет высказался президент в начале августа в разговоре с другим своим помощником У. Ростоу: «Он [Хрущев] будет предпринимать что-то, чтобы остановить поток беженцев. **Возможно, это будет стена** (выделено мною. – *Г. К.*). И мы не сможем предотвратить этого. Я могу сохранить сплоченность Атлантического союза с целью защиты Западного Берлина, но я не могу действовать так, чтобы оставить открытым Восточный Берлин».

Об этих конкретных высказываниях Кеннеди,

свидетельствовавших о том, что он считался с возможностью закрытия границы между Восточным и Западным Берлином, стало известно только спустя годы. Но отзвуки таких настроений мы в посольстве в Вашингтоне улавливали уже в конце июля – начале августа 1961 года в публичных заявлениях президента. Так, от нашего внимания не ускользнуло, что в его важной речи по Берлину 25 июля, с одной стороны, подтверждалась твердая решимость отстаивать позиции западных держав в Западном Берлине и объявлялось о военных мерах в подкрепление этой решимости, но с другой – говорилось о «границе свободы, разделяющей Берлин», как о «границе мира». Это можно было понять как намек на допустимость закрытия границы, тем более что в той же речи при неоднократном подтверждении решимости США защитить Западный Берлин ни разу не упоминалось о предусмотренной прежними соглашениями свободе передвижения между Западным и Восточным Берлином.

Не менее показательным было то, что близкий к президенту сенатор Фулбрайт (Кеннеди хотел было назначить его на пост государственного секретаря и не сделал этого лишь по внутриполитическим и внутрипартийным соображениям) в телеинтервью 30 июля прямо заявил: «Я не понимаю, почему восточные немцы не закроют свою границу. Я думаю, они имеют право закрыть ее». Не могло не обратить на себя внимание и то, что, когда на состоявшейся вскоре пресс-конференции президента ему был задан вопрос в связи с таким заявлением Фулбрайта, Кеннеди не стал дезавуировать его, уйдя от прямого ответа.

О том, что заявление Фулбрайта отражало настроения в Белом доме, мне лично стало абсолютно ясным, когда в разговоре со мной один на один, состоявшемся в начале августа, Чарльз Болен выразил «недоумение», почему восточные немцы не могут «физически воспрепятствовать» потоку беженцев. Он подчеркнул при этом, что высказывает свою личную точку зрения, и даже предупредил, чтобы я не ссылался на него в своих депешах в Москву (в те дни я был поверенным в делах). Но, хорошо зная Болена, я был уверен, что он не стал бы доводить такую точку зрения до моего сведения, если бы она не разделялась в Белом доме.

И когда возникла стена, в Вашингтоне раздался «вздох облегчения», хотя вслух одобрение, конечно, не выражалось, скорее наоборот. По словам О’Доннела, президент «фактически рассматривал стену как поворотный пункт, который приведет к концу берлинского кризиса». «Это не очень приятное решение, – сказал Кеннеди, – но стена чертовски намного лучше, чем война».

С течением времени берлинская стена стала восприниматься

как нечто отвратительное, бесчеловечное. Но с учетом конкретных исторических обстоятельств, когда ее возведение предотвратило возможность гораздо более опасного развития событий – вплоть до прямого столкновения с применением ядерного оружия, это отнюдь не было самым плохим выходом из создавшегося положения. Поэтому вовсе не удивительно, что тот же Ф.-Й. Штраус, рассказывая о варианте применения ядерного оружия в случае блокады Западного Берлина, закончил свое повествование тоже вздохом облегчения: «К счастью, эта идея в воскресный день 13 августа 1961 года превратилась в макулатуру. Берлин разделила стена».

Напряжение вокруг Западного Берлина еще некоторое время сохранялось, но кризис все же был преодолен. Остался, однако, вопрос: были ли сколько-нибудь разумные основания для его возникновения и тем более доведения до той остроты, какой он достиг при встрече Хрущева и Кеннеди в Вене? Почему Хрущев и Ульбрихт не ограничились сразу возведением стены? На это иногда отвечают, что в иных условиях, при отсутствии кризиса, при котором стена всеми была воспринята как если не благо, то наименьшее из возможных зол, ее возведение в более спокойной обстановке само по себе могло бы вызвать не менее острый кризис с неизвестными последствиями. С психологической точки зрения, наверное, есть доля правды в таких рассуждениях, как и в том, что весьма воинственный тон Хрущева в Вене был во многом спровоцирован отсутствием у Кеннеди какой-либо переговорной позиции по Западному Берлину, а это было даже шагом назад от обещанного в свое время Эйзенхауэром.

Но так или иначе и вне зависимости от того, чьей вины здесь больше, мне представляется очевидным следующее: возникшие в Вене резкие расхождения по Берлину явились одной из главных причин того, что обеими сторонами была упущена реальная возможность (о наличии которой свидетельствовала «философская» часть встречи) достижения уже тогда, в 1961 году, широкого принципиального взаимопонимания между лидерами Советского Союза и Соединенных Штатов, которое позволило бы изменить к лучшему отношения между двумя ведущими державами мира. Вместо этого впереди их ожидали многие новые испытания, в том числе такие драматические, как карибский кризис 1962 года.

Лирическое послесловие

На фоне драматических перипетий, последовавших за

встречей Хрущева и Кеннеди в Вене, среди многих тревожных событий вспоминается и эпизод иного, скорее забавного свойства. Недели через две после венской встречи посольство получило депешу о срочном вылете из Москвы в Вашингтон специального эмиссара с подарками от Хрущева президенту Кеннеди и его супруге Жаклин. Посольству предписывалось обеспечить их вручение адресатам лично и незамедлительно, причем было воспрещено заранее сообщать американским службам о характере подарков, дабы они явились сюрпризом для получателей.

Последнее условие выполнить практически было невозможно, поскольку охрана президента, естественно, не могла допустить доставку в Белый дом неведомо чего. Но в конце концов с охранниками удалось отработать процедуру, при которой они убедились в безопасности доставляемого, пообещав сохранить это в тайне от президента (как мы потом убедились, свое обещания они сдержали).

Положение осложнилось тем, что в те дни президент официально не функционировал ввиду болезни – в очередной раз дал знать о себе поврежденный в свое время позвоночник. С помощью наших контактов в Белом доме все же удалось договориться о краткой аудиенции. И вот в назначенный день и час я как поверенный в делах СССР (посол Меньшиков после венской встречи задержался в Москве)[1] и прибывший из Москвы К. Смирнов появились в Белом доме, в президентских жилых апартаментах, с двумя коробами – одним, поменьше, для президента и другим, побольше, для его супруги.

Когда мы вошли в гостиную, президент стоял у окна, опираясь на костыли. Он двинулся нам навстречу, и было заметно, что ему приходится превозмогать сильную боль. Тут же, откликнувшись на зов мужа, из соседней комнаты вышла Жаклин, она была в легком домашнем халатике, без всякой косметики. Обменявшись несколькими обычными в таких случаях фразами, мы со Смирновым приступили к извлечению из коробов их содержимого. Президенту мы вручили небольшую модель старинной американской шхуны-китобойца, вырезанную из моржового клыка чукотским умельцем в XIX веке. Затем настал черед главного сюрприза: из второго короба мы извлекли живого белого щенка. На удивленный возглас Кеннеди: «Это что за зверь?» – ответила смутившаяся Жаклин: «Пожалуй, я догадываюсь – это господин Хрущев выполнил мое пожелание». И она поведала, что в Вене в одном из разговоров с Хрущевым, когда последний упомянул о появлении щенков у одной из русских дворняжек, побывавших в космосе, она имела неосторожность сказать, что с удовольствием взяла бы такого

щенка для своей дочурки Каролины.

А тем временем произошло нечто, повергшее меня и моего спутника в ужас: щенок, будучи выпущен из коробки на волю, тут же напрудил лужицу на пушистый восточный ковер. Хозяева постарались нас успокоить, но, выпив по чашечке кофе, мы побыстрее ретировались, чтобы не быть свидетелями еще какой-нибудь проказы Пушинки, как был наречен щенок.

Позже говорили, что, прежде чем Пушинка получила «прописку» в Белом доме и стала «любимым членом семьи», она прошла тщательнейшую проверку – проверяли, не была ли она носителем вживленного подслушивающего устройства. Если даже это говорилось в шутку, то сам характер шутки напоминает о том, каковы были времена.

Глава 5. КАРИБСКИЙ КРИЗИС: ЕГО ПРИЧИНЫ, ХОД И УРОКИ

После карибского ракетного кризиса 1962 года прошло уже почти 40 лет, а он по-прежнему остается предметом дискуссий и углубленного изучения учеными – от историков до психологов, а также политиками, дипломатами и военными. В США уже изданы десятки книг об этом кризисе и пишутся все новые, да и в нашей стране о нем написано и наговорено немало, нередко противоречивого.

Особенно «урожайным» для изучающих карибский кризис оказался период после того, как в марте 1987 года в связи с предстоявшей 25-й годовщиной этого события была впервые организована встреча группы американских ученых, специализирующихся на изучении кризиса и его последствий, с рядом высокопоставленных чинов администрации Джона Кеннеди, входивших в период кризиса в состав специально учрежденного тогда Исполнительного комитета Совета национальной безопасности США (Исполком СНБ). Эта встреча ученых с непосредственными участниками кризиса, состоявшаяся в Хоукс Кей, штат Флорида, помогла им кое в чем существенно скорректировать свои представления о кризисе и вытекающих из него уроках. В тот же период в США были преданы огласке некоторые важные документальные материалы 1962 года, остававшиеся до тех пор строго секретными. Особый интерес среди них представляли опубликованные в журнале «Интернэшнл секьюрити» протокольная запись первого совещания в Белом доме 16 октября 1962 года – сразу после доклада президенту Кеннеди материалов аэрофотосъемки, подтвердивших наличие советских ракет на Кубе, и расшифровка магнитофонной записи заседания Исполкома СНБ 27 октября – в день, когда карибский кризис достиг в Вашингтоне своей кульминационной точки.

Но при всем богатстве документальной базы и «свидетельских показаний», которыми располагали американские ученые, в их работах был и большой недостаток, признававшийся ими самими: все они основывались исключительно на американских источниках; советские и кубинские источники до конца 1987 года практически отсутствовали. Взгляд же на происходившее в 1962 году с одного, «американского, угла» при отсутствии обзора с двух других – советского и кубинского – неизбежно вел к существенным неточностям и снижал историческую ценность таких работ.

Поэтому можно, полагаю, считать началом качественно нового этапа в исследовании карибского кризиса состоявшуюся в октябре 1987 года в Кэмбридже, штат Массачусетс, конференцию, в которой наряду с американскими представителями приняли участие три советских представителя – Ф. Бурлацкий, С. Микоян и Г. Шахназаров. Правда, из них только Серго Микоян был в определенной мере (через своего отца А. И. Микояна) вовлечен в события, связанные с карибским кризисом, и, соответственно, его информация и суждения основывались на фактических знаниях и личных впечатлениях. Два же других советских участника той конференции обнаружили весьма слабое знание фактической стороны дела, поскольку сами не имели к нему прямого касательства, а знали о нем кое-что из третьих и десятых рук. К тому же высказывавшиеся ими, особенно Бурлацким, суждения несли на себе весьма заметный конъюнктурный, «новомышленческий» налет, что не помогало воссозданию советского видения карибского кризиса, каким оно было в тот исторический отрезок времени.

Главное, однако, состояло в том, что было положено начало совместным советско-американским обсуждениям и исследованиям причин, хода, результатов и уроков карибского кризиса. За этим последовала в январе 1989 года уже трехсторонняя конференция, в которой со стороны США, СССР и Кубы наряду с учеными участвовали те, кто в 1962 году имел непосредственное касательство к кризису. В их числе от советской стороны были А. А. Громыко, А. Ф. Добрынин (посол СССР в США в то время) и А. И. Алексеев (тогдашний посол СССР на Кубе). Это, безусловно, помогло прояснить многое, хотя появились и новые вопросы, требовавшие дополнительного изучения, тем более что советские участники конференции выступали на ней, полагаясь целиком на свою память, без подкрепления своих воспоминаний документальными материалами.

После этого состоялись еще две советско-американо-кубинские встречи – одна на острове Антигуа в начале 1991 года и вторая в Гаване в начале 1992 года. С советской и кубинской сторон в них принял участие ряд новых лиц, хорошо информированных о событиях 1962 года. Не менее важно и то, что в ходе этих двух встреч были впервые преданы огласке многие советские и кубинские документы того времени.

С каждой новой встречей становились известными дополнительные, подчас до неправдоподобия сенсационные детали происходившего в дни карибского кризиса, причем нередко такие детали, от которых даже сейчас, спустя

десятилетия, становилось не по себе тем, кто узнавал о них впервые.

Итоги первых трех встреч – американской в Хоукс Кей, советско-американской в Кэмбридже и советско-американо-кубинской в Москве – суммированы в весьма обстоятельной и хорошо документированной книге Дж. Блайта и Д. Уэлча «На грани», вышедшей в США в 1990 году. В 1993 году вышла новая книга Дж. Блайта, Б. Аллина и Д. Уэлча под названием «Куба на грани», в которой рассказывается о всех пяти упомянутых конференциях, с особым упором на заключительную – гаванскую.

Что касается излагаемых мною ниже сведений и размышлений о карибском кризисе, то они основаны, помимо анализа соответствующих материалов, прежде всего на личных воспоминаниях (в период кризиса я исполнял обязанности советника-посланника посольства СССР в Вашингтоне), на беседах по «горячим следам» с В. В. Кузнецовым и Л. И. Менделевичем, прибывшими в Нью-Йорк для отработки деталей карибского урегулирования, а также на «реконструкции» происходившего в Москве в дни кризиса – в той мере, в какой это мне удалось сделать с помощью М. Н. Смирновского, тогдашнего заведующего Отделом США МИД СССР, и других моих коллег во время кратковременного пребывания в Москве весной 1963 года и затем после возвращения в Союз в конце 1964 года.

Почему возник кризис?

Принято считать почти аксиомой, что единственной причиной возникновения в октябре 1962 года карибского кризиса было размещение на Кубе советских ракет средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и поражать территорию Соединенных Штатов. Но самоочевидность на первый взгляд этой причины является только кажущейся. В действительности же была и вторая, причем со всех точек зрения не менее, а пожалуй, даже более важная причина кризиса – то, что размещение советских ракет на Кубе было сочтено президентом Кеннеди и его командой неприемлемым для Соединенных Штатов. Ведь проглоти Вашингтон эту горькую пилюлю, как ранее проглотила не одну такую пилюлю Москва, никакого кризиса бы не случилось.

И это вовсе не схоластика. Правомерность такой постановки вопроса признают сейчас и серьезные американские ученые. Так, в упомянутой книге Дж. Блайта и Д. Уэлча мы читаем: «Решение Хрущева разместить ракеты на Кубе было лишь **половиной**

причины случившегося в октябре 1962 года кризиса. Второй ее **половиной** было нежелание администрации Кеннеди смириться с ними».

Соответственно, наряду с вопросом о том, какими мотивами руководствовались в Москве при принятии решения о размещении ракет на Кубе (об этом подробно дальше), возникает и вопрос, а почему, собственно, в Вашингтоне было сочтено их размещение там неприемлемым, хотя аналогичные по дальности американские ракеты находились к тому времени в Турции, Италии и Англии?

Ведь с международно-правовой точки зрения ничто не препятствовало Советскому Союзу и Кубе осуществить этот шаг по взаимной договоренности. Понимание этого присутствовало в рассуждениях Кеннеди и его соратников с самого начала, что нашло отражение, в частности, в протоколе первого заседания Исполкома СНБ 16 октября 1961 года. Показательно в этом смысле и то, что еще раньше Кеннеди забраковал первоначальный проект его заявления от 4 сентября, поскольку в нем в качестве правового обоснования для возражений против наращивания советских поставок оружия на Кубу упоминалась «доктрина Монро». «Какого черта про это?» – бросил он. И действительно, во-первых, эта доктрина как односторонняя декларация не имела международно-правовой силы. Во-вторых, изначальный смысл доктрины, выдвинутой президентом Монро в 1823 году, состоял в провозглашении принципа взаимного невмешательства стран Нового и Старого Света **в дела друг друга**. Поскольку, однако, сами США давно отступили от этого принципа в своих отношениях со Старым Светом, они тем более не могли рассчитывать на уважение «доктрины Монро» со стороны других государств.

Итак, юридических оснований возражать против размещения советских ракет на Кубе у США не было. Ближайший помощник президента Тед Соренсен позже прямо говорил: в Белом доме осознавали, что «юридически Советы имели полное право сделать то, что они делали, при наличии согласия кубинского правительства».

Не было у США и морально-политических оснований возражать против самого факта размещения Советским Союзом своих ракет вблизи их территории, учитывая предшествовавшие аналогичные действия самих США. Это тоже хорошо осознавал Кеннеди. По словам того же Соренсена, президент был серьезно озабочен тем, что в мире скажут: «А какая разница между советскими ракетами на расстоянии 90 миль от Флориды и американскими ракетами в Турции, прямо у порога Советского

Союза?»

Далее, при наличии существенно отличающихся мнений среди лиц, входивших в состав Исполкома СНБ, относительно военной значимости появления советских ракет на Кубе большинство, включая президента и министра обороны, как видно из документов, не усматривали в этом чисто военной опасности. При имевшихся в то время у США 5 тысячах единиц ядерного оружия, обеспеченных средствами доставки, против 300 единиц у СССР добавление к советскому ядерному арсеналу 40 ракет на Кубе не могло всерьез рассматриваться как сколько-нибудь существенное изменение соотношения сил. К тому же никто из входивших в состав Исполкома СНБ, даже те, кто склонен был переоценивать военное значение этого факта, ни в какой момент не считали – и это тоже видно из документов и устных свидетельств, – что СССР замышлял нанесение первого удара по США после размещения ракет на Кубе. И «голуби», и «ястребы» исключали такую возможность даже со скидкой на непредсказуемость Хрущева. «Никто из нас, – говорил Соренсен, – никогда не предполагал первого ядерного удара со стороны Советского Союза, как и мы не собирались наносить его».

И при этом, как явствует из преданных гласности документов и устных свидетельств американских участников кризиса, и для «голубей», и для «ястребов» было немыслимо смириться с тем, чтобы советские ракеты оставались на Кубе. Такой вариант фактически даже не обсуждался. Для всех них это было нечто само собой разумеющееся – вроде аксиомы, не нуждающейся в обосновании.

Судя по всему, решающее значение здесь имел психологический фактор. Если для Советского Союза враждебное окружение, а после Второй мировой войны и наличие ядерного оружия у его порога стали хотя и малоприятным, но уже привычным состоянием, то Соединенные Штаты – и правительство, и народ – впервые в своей истории оказались в положении, когда у них под боком находилось бы оружие, способное поразить территорию их страны; к тому же речь шла о ракетах с ядерными боеголовками.

Воздействие этого психологического фактора на Кеннеди и его команду, безусловно, было значительно усилено тем, что размещение Советским Союзом ракет на Кубе осуществлялось не в открытую, как это делали в аналогичных случаях США, а тайно. Более того, не просто без огласки, но с принятием мер дезинформационного характера, вплоть до прямого обмана, что не могло, когда обман раскрылся, не восприниматься как свидетельство наличия в этих действиях какого-то

злонамеренного умысла. Для президента эта ситуация оказалась тем более невыносимой потому, что он сам и его ближайшие помощники, будучи введены в заблуждение советской стороной, до последней минуты невольно обманывали американский народ, отрицая наличие советских ракет на Кубе, как это сделал, например, в своем выступлении по телевидению М. Банди 14 октября – в тот самый день, когда в результате полета У-2 над Кубой были зафиксированы бесспорные свидетельства строительства там ракетных баз, но данные аэрофотосъемки не были еще доставлены в Вашингтон и обработаны.

В свете всего этого мне лично не кажется непонятной та реакция, которая последовала со стороны Кеннеди после обнаружения ракет. В то же время мне представляется правдоподобным и важным для понимания генезиса карибского кризиса высказанное Соренсеном следующее мнение: Кеннеди, заявивший в сентябре 1962 года о неприемлемости для США поставки на Кубу наступательных видов оружия, включая ракеты, исходил именно из того, что СССР в действительности не собирался делать этого, о чем заявляли его руководители. «Я полагаю, – сказал Соренсен, – президент провел линию точно в той точке, за которую, как он думал, Советский Союз не зашел и не зайдет; то есть если бы мы знали, что СССР размещает на Кубе сорок ракет, мы, исходя их этой гипотезы, провели бы линию на ста ракетах и с большими фанфарами заявили бы, что абсолютно не потерпим присутствия на Кубе больше ста ракет. Я говорю так, будучи глубоко убежден в том, что это было бы актом благоразумия, а не слабости».

Не все коллеги Соренсена согласны с подобным его предположением, но я думаю, что он, пользовавшийся репутацией alter ego (второе я) президента Кеннеди, близок к истине. Косвенное подтверждение его правоты я, например, усматриваю в том, что незадолго до кризиса, 13 сентября, Кеннеди, отвечая на один из вопросов на пресс-конференции, заявил, что если Куба когда-либо «станет для Советского Союза военной базой со **значительным** (выделено мною. – *Г. К.*) наступательным потенциалом, то наша страна сделает все, что потребуется, чтобы обеспечить свою собственную безопасность и безопасность своих союзников». Стало быть, в принципе президент считал допустимым появление на Кубе какого-то количества оружия, относимого им к категории наступательного. Отзвуки этой мысли улавливались и в выступлении Кеннеди 22 октября, когда он, объявив об обнаружении советских ракет на Кубе, сделал особый упор на теме обмана со стороны советского руководства, клятвенно заверявшего в отсутствии у него намерения да и

необходимости размещать свои ракеты где-либо вне пределов СССР, в частности конкретно на Кубе.

Таким образом, неизбежность той реакции со стороны Кеннеди, с которой столкнулся Хрущев, когда на Кубе были обнаружены тайно доставлявшиеся туда советские ракеты средней дальности, на мой взгляд, обусловливалась главным образом тем, что Хрущев совершенно не принял во внимание психологический фактор, сыгравший определяющую роль в такой реакции.

В свою очередь, это упущение объясняется тем, что Хрущеву вообще было свойственно, особенно в последние годы его пребывания у власти, пренебрежительное отношение к экспертным знаниям и к мнениям людей, которые располагали такими знаниями и имели свое мнение. Сейчас известно, что он проигнорировал и имевшиеся у А. И. Микояна сомнения насчет разумности размещения ракет на Кубе, и высказанную А. А. Громыко уверенность в том, что такой шаг вызовет «политический взрыв» в Вашингтоне. Известно и то, что Хрущев не прислушался к мнению кубинских руководителей, которые, лучше него понимая психологию американцев, предлагали не делать тайны из намерений разместить ракеты на Кубе. Я уж не говорю о том, что никто не удосужился поинтересоваться мнением советского посла в США (или хотя бы заранее поставить его в известность). Будь это сделано, смею думать, что посольство довольно точно предсказало бы реакцию Вашингтона на планировавшееся размещение ракет и особенно на то, каким обманным образом это предполагалось делать.

Чем же руководствовался Хрущев?

Относительно мотивов, которыми руководствовался Хрущев, решая разместить на Кубе советские ракеты средней дальности, и по сей день нет единого мнения среди как участников карибского кризиса, так и его исследователей. Т. Соренсен, например, откровенно сказал: «Вот единственный честный ответ, который я могу дать: «Я не знаю этого сейчас и не знал тогда». Никто из нас не знал. Мы могли только гадать о том, к чему стремится Хрущев». То, что Кеннеди и его команда действительно не могли найти рационального объяснения того, зачем и почему Хрущев пошел на такой шаг, хорошо видно и из опубликованных документов Белого дома, относящихся к дням карибского кризиса.

Тем, что действия Москвы в данном случае не поддавались

рациональному объяснению, оправдывали впоследствии свои просчеты и руководители американских разведывательных служб. Все они считали невероятным размещение советских ядерных ракет на Кубе, поскольку это противоречило советской политике неразмещения ядерного оружия вне пределов СССР и поскольку Москва, как они полагали, не могла не осознавать риска ответных действий со стороны США в условиях существовавшего в ту пору многократного превосходства США над Россией в ядерных вооружениях, достигающих территории друг друга. В очередной раз подобное заключение было представлено президенту Кеннеди Советом США по разведке 19 сентября 1962 года, то есть спустя четыре дня после тайной поставки на Кубу первых ракет СС-4.

После того как размещение советских ракет на Кубе стало свершившимся фактом, американские политики и ученые утверждали, что главным, если не единственным, мотивом Хрущева было стремление несколько подправить таким образом в пользу СССР стратегический баланс. Заявление Хрущева, что ракеты были доставлены на Кубу только для того, чтобы удержать США от нового вторжения на остров, практически все в США считали «смехотворным», тем более что США, дескать, и не собирались вторгаться на Кубу.

Однако с течением времени, особенно когда у американских участников кризиса и ученых появились контакты с советскими и кубинскими представителями, стала наблюдаться определенная эволюция в их оценках мотивов советского лидера. Правда, общение американских ученых, скажем, с Ф. Бурлацким, не располагавшим фактическими знаниями по данному вопросу, но любившим пофантазировать, вряд ли помогало им в поисках истины. Так, высказывая мнение, что при принятии решения о размещении ракет на Кубе главным был не кубинский, а стратегический мотив, Бурлацкий в подтверждение этого поведал, будто идея такого размещения была подброшена Хрущеву министром обороны Малиновским во время их прогулки по берегу Черного моря то ли в Крыму, то ли в Болгарии.

Между тем, по-моему, нет никаких оснований подозревать Хрущева в присвоении чужой идеи, когда он говорит в своих воспоминаниях, что мысль о размещении ракет на Кубе зародилась в его собственной голове. Это подтверждает в своих воспоминаниях О. А. Трояновский, бывший в то время помощником Хрущева по внешнеполитическим вопросам. Малиновский же лишь поддержал инициативу Хрущева, причем, насколько мне известно, не без колебаний, в отличие от Бирюзова, тогдашнего главнокомандующего Ракетными силами стратегического назначения, который подхватил ее с

энтузиазмом.

Соответствует действительности, на мой взгляд, и то, как Хрущев объясняет, почему у него появилась мысль разместить ракеты на Кубе, – чтобы предотвратить вторжение туда США, «не потерять» Кубу, вставшую на путь социализма, что в его представлении было бы к тому же огромным ударом по престижу Советского Союза. В воспоминаниях Хрущева – и в кубинском, и в других разделах – есть много неточностей фактологического порядка (он и сам предупреждал, что у него могут быть неточности и что его мемуары, которые он диктовал по памяти, подлежат сопоставлению с архивными документами). Но там, где Хрущев воспроизводит свои собственные мысли и переживания, связанные с тем или иным событием в прошлом (в данном случае с Кубой), он, по-моему, делает это довольно точно. Такое свойство человеческой памяти – лучше сохранять пережитое самим, чем фактические детали, – известно психологам.

И к чести американских ученых, занимающихся карибским кризисом, многие из них на основе объективного анализа ранее секретных материалов, касающихся планов и действий различных правительственных органов США в период между провалившемся вторжением на Кубу в апреле 1961 года и октябрьским кризисом 1962 года, пришли к выводу, что описываемые Хрущевым переживания по поводу судьбы Кубы вполне объяснимы. Этот вывод разделяет сейчас и ряд участников кризиса с американской стороны.

И действительно, в январе 1962 года США добились принятия Организацией американских государств (ОАГ) решения о признании существовавшего на Кубе режима несовместимым с межамериканской системой и об изгнании ее **правительства** из ОАГ. Я выделил слово «правительство» потому, что обычно говорят и пишут об исключении из ОАГ в 1962 году Кубы. Но это не так. По настоянию Мексики и некоторых других латиноамериканских стран упомянутое решение было сформулировано так, что Куба как государство юридически не была исключена из ОАГ – было лишено права участвовать в работе ОАГ только тогдашнее ее правительство.

Я был свидетелем любопытной сцены в штаб-квартире ОАГ, когда Совет ОАГ собрался на свое очередное заседание. Получилось так, что представитель Мексики в совете вошел в зал последним, когда представители других стран уже сидели за столом. Обнаружив, что у стола есть лишь одно свободное кресло с табличкой «Мексика», он во всеуслышание заявил, что не примет участия в заседании, если в зал не будет возвращено кресло с табличкой «Куба». В ответ на попытки представителя

США урезонить его мексиканец предложил ему внимательно прочесть принятое ими решение и настоял на своем. Кресло, закрепленное за Кубой, было внесено в зал, и всем сидевшим за столом пришлось сдвинуть свои кресла, чтобы освободить для него место.

Вскоре в Пентагоне был разработан и 20 февраля 1962 года утвержден «кубинский проект», в котором октябрь 1962 года определялся в качестве срока свержения Кастро и предусматривалась возможность использования для этой цели американских вооруженных сил. Рассекречен этот документ был лишь в конце 80-х годов, но это не значит, что он не стал известен советской или кубинской разведке еще тогда, в 62-м. Через конгресс США была проведена резолюция, предоставившая президенту право предпринимать военные действия против Кубы, если это потребуется «для защиты американских интересов». На осень 1962 года были назначены учения по высадке американской морской пехоты на один из островов в Карибском море с целью «освобождения» его от мифического диктатора по имени Ортсак, а поскольку это неудобоваримое имя при чтении его с конца превращается в хорошо известное имя – Кастро, намек был более чем прозрачен.

Бывшие члены администрации Кеннеди и сейчас утверждают, что все это еще не означало, что администрацией было принято политическое решение осуществить упомянутые и другие планы, которые, дескать, разрабатывались «на всякий случай». Вместе с тем тогдашний министр обороны США Роберт Макнамара честно заявил на московской встрече: «Если бы я был кубинцем и читал эти свидетельства тайных американских действий против своего правительства, я был бы вполне готов поверить в то, что США намеревались предпринять вторжение».

Описываемые Хрущевым его переживания по поводу судьбы Кубы, натолкнувшие на мысль о размещении советских ракет для ее защиты, мне лично представляются вполне правдоподобными, особенно в свете следующего воспоминания. Работая в 1958–1959 годах в Отделе информации ЦК КПСС, который занимался анализом и обобщением внешнеполитической информации, поступавшей по линии всех ведомств, я знал, что, когда 1 января 1959 года на Кубе была провозглашена новая власть, на вопрос Хрущева о политическом лице пришедших к власти деятелей никто не мог дать вразумительного ответа. Через некоторое время из одной латиноамериканской страны пришла информация, что если не сам Фидель Кастро, то некоторые его сподвижники якобы исповедуют марксизм. Когда Хрущеву доложили об этом, его очень заинтересовала такая информация, и

он с воодушевлением стал говорить, насколько это важно, если в Западном полушарии действительно появится форпост социализма. Поэтому мне казалась вполне понятной его озабоченность возникшей затем опасностью уничтожения этого форпоста.

Тот факт, что стремление не допустить такого оборота дел было для Хрущева главным мотивом при принятии решения о размещении на Кубе советских ракет, не означает, конечно, что при этом у него, а тем более у поддержавших его военных не присутствовал и расчет хоть немного подправить тем самым существовавший тогда огромный дисбаланс в пользу США по ядерным средствам, достигающим территории другой стороны. Хрущев и сам не отрицал этого, упомянув вскользь в своих воспоминаниях, что «в дополнение к защите Кубы наши ракеты подравнивали бы то, что Запад любит называть «балансом сил». Однако это соображение, судя по всему, было именно дополнительным, неглавным. Тем более не обнаружилось ничего подтверждающего имевшую хождение на Западе версию, будто Хрущев замышлял вслед за размещением ракет на Кубе, то есть приставив ядерный пистолет к виску Вашингтона, выдвинуть затем новый ультиматум по Западному Берлину. Скорее его расчет в части «подравнивания баланса сил» носил более общий характер – сделать так, чтобы Советский Союз чувствовал себя несколько более уверенно во взаимоотношениях с Соединенными Штатами.

Думается, у Хрущева было и еще одно, третье по счету соображение – психологического порядка: заставить Вашингтон «влезть в шкуру» Советского Союза, окруженного американскими базами, в том числе ракетными. Но и это соображение тем более было дополнительным к главному – озабоченности судьбой Кубы.

Суммируя свои многолетние исследования мотивов, которыми руководствовался советский лидер при размещении ракет на Кубе, американские авторы Б. Аллин, Дж. Блайт и Д. Уэлч определили их, по-моему, в целом правильно, когда написали: «Советское решение разместить на Кубе баллистические ракеты средней и промежуточной дальности, похоже, явилось ответом на три главные озабоченности: 1) ощущавшуюся необходимость удержать США от вторжения на Кубу и предотвратить уничтожение кубинской революции; 2) ощущавшуюся необходимость подправить существовавший в пользу США огромный дисбаланс по числу обеспеченных средствами доставки ядерных вооружений; 3) желание, порожденное соображениями национальной гордости и престижа, осуществить в противовес развертыванию Соединенным Штатами

ядерного оружия по периметру Советского Союза «равное право» Советского Союза развернуть свои собственные ракеты на территории, примыкающей к Соединенным Штатам».

Остается открытым вопрос, каков, по мнению авторов вышеприведенной формулы, удельный вес каждого из названных трех факторов: политико-идеологического, геополитического и психологического. Но сам порядок, в котором они перечисляются, дает по крайней мере частичный ответ на этот вопрос.

Если, однако, в этой формуле содержится довольно полный, на мой взгляд, ответ на вопрос о мотивах, которыми руководствовался Хрущев, размещая ракеты на Кубе, то остается еще один вопрос: почему он решился на этот в любом случае рискованный, а как вскоре подтвердилось, и весьма опасный шаг, почему он думал, что Кеннеди проглотит такую горькую пилюлю?

Не все, но большинство американских участников кризиса и многие ученые сходятся на том, что Хрущев решился на это потому, что считал Кеннеди «слабаком», не способным на решительные контрдействия. Такое представление о Кеннеди сформировалось, мол, у Хрущева в результате того, что Кеннеди не решился довести до успешного завершения вторжение на Кубу в 1961 году, не дал должного отпора Хрущеву при встрече в Вене и затем «проглотил» берлинскую стену.

Подобной версии придерживается в своей книге «Разрыв с Москвой» и бывший советский дипломат, он же агент американской разведки А. Шевченко. Однако каких-либо убедительных свидетельств правильности этой версии ни Шевченко, ни другие ее сторонники привести не могут. Попутно замечу, что в книге Шевченко вообще мало что соответствует действительности. В ней все подчинено, во-первых, созданию гипертрофированного представления о значимости его персоны и его сверхосведомленности, а во-вторых, стремлению убедить читателя в том, будто его предательство было мотивировано идейными соображениями, хотя на деле все обстояло гораздо более прозаично. (В связи с предательством Шевченко имел место, помимо всего прочего, один неприятный для меня лично казус. Газета «Нью-Йорк таймс» допустила непростительный для такой солидной газеты «ляп»: сенсационное сообщение о работе Шевченко на американскую разведку сопроводила фотографией, на которой была изображена не его, а… моя физиономия. Кое-кто советовал мне тогда предъявить газете иск за нанесение морального ущерба, но я не стал этого делать, а, видимо, зря – по американским канонам вполне можно было заставить «Нью-Йорк таймс» раскошелиться на кругленькую сумму, которая никак не помешала бы мне в последующем, когда наступили черные дни.)

Версия же о Кеннеди как о «слабаке» никак не соответствует моему представлению о том, как на самом деле Хрущев оценивал американского президента.

В своих мемуарах Хрущев говорит о Кеннеди как о, «несмотря на молодость, настоящем государственном деятеле», и сколько бы раз ни упоминал о нем, в каждом случае употребляет такие прилагательные, как «умный», «гибкий», «мыслящий по-государственному», «трезвомыслящий», «остромыслящий»; мнение же о Кеннеди как слабом президенте в мемуарах Хрущева начисто отсутствует.

Да и откуда ему было взяться? Для того чтобы в апреле 1961 года при проведении спланированной еще предыдущей администрацией операции вторжения на Кубу вовремя остановиться, не втянуться в более широкие военные действия против Кубы, а при встрече с Хрущевым в Вене откровенно признать апрельскую авантюру ошибкой, Кеннеди надо было обладать немалым политическим мужеством, и это не могло не быть должным образом оценено советским лидером. А что касается берлинской стены, то, как об этом подробно говорилось в предыдущей главе, возведение ее в августе 1961 года на деле было вынужденным отступлением самого Хрущева от того, чем он грозил Кеннеди в Вене, когда убедился в решимости последнего отстоять права западных держав на свободный доступ и присутствие в Западном Берлине. Так в чем же здесь мог Хрущев усмотреть «слабость» президента?

О том, что Кеннеди произвел на Хрущева в Вене довольно сильное впечатление, я мог судить, в частности, и по такому факту. Во время пребывания Хрущева осенью 1960 года в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН мне однажды пришлось зайти к нему по какому-то делу вместе с послом Меньшиковым. Возник разговор и о бывшей тогда в разгаре предвыборной борьбе между Ричардом Никсоном, которого Хрущев уже знал по встрече в Москве в предыдущем году, и Джоном Кеннеди, о котором он тогда практически не имел представления. Хрущев поинтересовался нашим мнением о вероятном исходе выборов и особенно о Кеннеди как возможном будущем президенте США. Смысл сказанного в ответ Меньшиковым сводился к тому, что Кеннеди по сравнению с Никсоном малоопытный «выскочка» и, если он и победит на выборах, хорошего президента из него не получится. Я же, в отличие от посла, охарактеризовал Кеннеди как по-настоящему умного, неординарного политика, способного на большие дела, хотя, заметил я, пока еще, конечно, трудно сказать, получится ли из него новый Рузвельт. Затем, летом 1961 года, вскоре после

венской встречи, будучи в Москве в отпуске, я случайно встретил Хрущева в здании ЦК КПСС. Он куда-то торопился, но, узнав меня, бросил на ходу одну фразу: «Ты был прав в отношении Кеннеди, а Меньшиков – дурак». Кстати, об этом эпизоде я в начале 1962 года, то есть до карибского кризиса, рассказывал помощнику президента А. Шлесинджеру, о чем упоминается в его книге «Тысяча дней: Джон Ф. Кеннеди в Белом доме».

Суммируя все свои представления о советском и американском лидерах и обстоятельствах того времени, я лично склонен полагать, что Хрущев, решаясь разместить 40 ракет на Кубе, под боком у США, интуитивно надеялся не на слабые, а – как это ни странно – на сильные волевые и интеллектуальные качества молодого президента, то есть именно на то, о чем говорил потом Соренсен, допуская, что Кеннеди мог бы, проявляя благоразумие, а вовсе не слабость, смириться с размещением на Кубе и ста советских ракет при условии, если бы это делалось открыто, по-честному. Но поскольку вторая часть этого «допущения Соренсена» соблюдена советской стороной не была, то не могла сработать и первая. Иными словами, в данном случае еще раз подтвердилась истина, что в дипломатии, как и вообще в политике, важно не только то, **что** делаешь, но нередко еще важнее то, **как** делаешь. А здесь интуиции мало, здесь нужен интеллект, а при недостатке собственного, по крайней мере, умение и желание пользоваться интеллектом, знаниями и опытом других.

Семь дней и ночей кризиса

По американской историографии карибский, или кубинский, как он там называется, кризис продолжался 13 дней – с 16 октября, когда президенту было доложено об обнаружении ракет на Кубе, по 28 октября, когда было достигнуто принципиальное компромиссное решение о его урегулировании. Но для всего мира, в том числе для нас, работников посольства СССР в Вашингтоне, кризис продолжался семь дней и ночей – с того момента, когда вечером 22 октября президент Кеннеди поведал миру о своей «находке» на Кубе, и по 28 октября.

Как уже упоминалось, Москва держала руководство посольства СССР в Вашингтоне в полном неведении относительно размещения ракет на Кубе. Более того, через него, как и по другим каналам, шла целенаправленная дезинформация насчет характера советских военных поставок на Кубу.

Поэтому для посольства факт обнаружения там советских

ракет средней дальности, о чем заявил Кеннеди в выступлении по радио и телевидению 22 октября (посол Добрынин был поставлен в известность об этом госсекретарем Раском за один час до выступления президента), оказался таким же громом с ясного неба, как и для всего мира.

В течение нескольких дней и после этого Москва продолжала держать посольство в темноте. Не поступило, в частности, никакой реакции на телеграмму Добрынина о беседе с Робертом Кеннеди, который пришел в посольство поздно вечером 23 октября «поговорить по душам». Разговор получился долгим и тяжелым. Со стороны Р. Кеннеди главной была тема обмана президента советским руководством, а посол, не будучи по-прежнему ориентирован Москвой, даже не имел права признать наличие советских ракет на Кубе, что делало разговор еще более **крутым**, если употребить модное ныне слово.

Как потом рассказывал В. В. Кузнецов, прибывший в Нью-Йорк 28 октября, отсутствие в первые дни кризиса после 22 октября каких-либо указаний или хотя бы ориентировок из Москвы объяснялось царившей там растерянностью, которая лишь прикрывалась бравыми публичными заявлениями Хрущева и составленными в таком же тоне первыми двумя его письмами Кеннеди (от 23 и 24 октября). На деле же с самого начала кризиса у советского руководства возник и с каждым часом нарастал страх перед возможным дальнейшим развитием событий.

Своей кульминации этот страх достиг, похоже, в конце дня 25 октября и в первой половине 26 октября, после чего и появилось «примирительное» письмо Хрущева Кеннеди, в котором впервые хотя в несколько витиеватой, но все же достаточно ясной форме выражалась готовность советской стороны уничтожить или удалить ракеты с Кубы, если американская сторона даст заверения о ненападении на Кубу.

В письме прямо говорилось: «Если бы были даны заверения президента и правительства Соединенных Штатов, что США не будут сами участвовать в нападении на Кубу и будут удерживать от подобных действий других, если Вы отзовете свой флот, – это сразу все изменит… Тогда будет стоять иначе и вопрос об уничтожении не только оружия, которое Вы называете наступательным, но и всякого другого оружия». И далее: «Давайте же проявим государственную мудрость. Я предлагаю: мы, со своей стороны, заявим, что наши корабли, идущие на Кубу, не везут никакого оружия. Вы же заявите о том, что Соединенные Штаты не вторгнутся своими войсками на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намеревались бы совершить вторжение на Кубу. Тогда и отпадает необходимость в

пребывании на Кубе наших военных специалистов».

Поскольку было ясно, что советские ядерные ракеты не могли бы оставаться на Кубе без советских военных специалистов, то в своей совокупности обе приведенные выше формулировки, естественно, вызвали в Белом доме вздох облегчения. Они вполне резонно были истолкованы так, что у Хрущева нервы не выдержали и он пошел на попятную.

Тот факт, что в Белом доме правильно поняли рациональную суть письма Хрущева от 26 октября (при всей эмоциональности и сумбурности этого письма), подтверждается высказыванием Банди на московской конференции о том, что именно это письмо Хрущева было воспринято в Вашингтоне как «впервые излагающее идею размена: вывод ракет с Кубы и предотвращение вторжения на Кубу».

С моей точки зрения, Рубикон (в данном случае – убирать ли ракеты с Кубы) был перейден в Москве 26 октября, когда около пяти часов пополудни А. А. Громыко препроводил американскому послу в Москве Ф. Колеру указанное письмо Хрущева. Впереди оставался только торг о конкретных условиях вывода ракет (а затем и бомбардировщиков).

Однако в Вашингтоне кульминационным оказался следующий день, 27 октября, утром которого из Москвы поступило (а еще до этого было передано по Московскому радио) новое письмо Хрущева, в котором, с одной стороны, более четко говорилось о согласии СССР «вывести те средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными средствами», но с другой – дополнительно к обязательству США о невторжении на Кубу, о чем говорилось в предыдущем письме, выдвигалось требование «вывести свои аналогичные средства из Турции».

Загадка двух писем Хрущева явилась основным предметом обсуждения на Исполкоме СНБ в течение 27 октября, как это видно из магнитофонной записи этого заседания, которая стала достоянием гласности в 1987 году. Многое здесь остается неясным и по сей день, поскольку, с одной стороны, за эти годы появился ряд новых устных свидетельств на этот счет и американского, и советского происхождения, а с другой – эти свидетельства не во всем совпадают и порождают новые вопросы.

Прежде чем поведать реконструированную мною картину происходившего в Москве 25 – 28 октября, в том числе мою версию появления указанных двух писем, надо коротко рассказать – на основе опубликованной записи заседания Исполкома СНБ 27 октября, – в чем, собственно, усматривалась загадочность второго письма Хрущева и почему оно вызвало накал страстей в Вашингтоне именно в этот день. Когда читаешь упомянутую

запись, выявляется ряд весьма интересных моментов.

Во-первых, из документа явствует, что письмо Хрущева от 26 октября явилось для членов Исполкома СНБ приятной неожиданностью – похоже, никому из них и в голову не приходило, что в качестве условия вывода ракет СССР выдвинет единственное требование о невторжении США на Кубу.

Во-вторых, из него видно, что члены Исполкома СНБ в предшествовавшие две недели сами не раз обсуждали вариант «обмена» советских ракет на Кубе на американские ракеты в Турции. И многие из них, включая, прежде всего, президента, склонялись к такому варианту, причем считали, что СССР вряд ли удовлетворится подобным разменом и как минимум увяжет вывод ракет с Кубы с принятием его требований по Западному Берлину. Так, например, вице-президент Джонсон в ходе заседания 27 октября напомнил его участникам: «Чего мы боялись, так это того, что он [Хрущев] никогда не предложит этого [Куба – Турция], а что он захочет сделать, так это поторговаться по Берлину». А заместитель госсекретаря Дж. Болл добавил: «Мы думали, что если бы нам удалось выторговать это (вывод ракет с Кубы. – *Г. К.*) в обмен на Турцию, такой торг был бы нетрудной и очень выгодной сделкой». Это не помешало, однако, тому, что, когда Советский Союз сам публично выдвинул подобное предложение, большинство соратников президента сочли его неприемлемым.

В-третьих, примечательно, как ясно просматривается в записи заседания 27 октября, что президент Кеннеди, на котором лежало тяжелое бремя принятия решения, в отличие от практически всех своих советников, и в течение этого дня не исключал возможности публичной сделки по выводу советских ракет с Кубы и американских из Турции. Он считал, что мировая общественность не поймет, если США откажутся от этого предложения, а в результате дело дойдет до войны.

В-четвертых, из документа отчетливо видно, какое большое значение Кеннеди, в отличие от советского руководителя, придавал экспертным знаниям специалистов по Советскому Союзу – в данном случае прежде всего Томпсона, мнением которого по всем аспектам карибского кризиса он постоянно интересовался. Многие из членов Исполкома СНБ считают Томпсона «невоспетым героем» карибской эпопеи – именно от него исходила, как видно из документов, идея (которую потом присвоил себе Роберт Кеннеди) направить Хрущеву официальный положительный ответ на его письмо от 26 октября, обойдя в нем молчанием его письмо от 27 октября.

В-пятых, примечательно не только то, что есть в записи

заседания 27 октября, но и то, что в ней отсутствует, а именно то, что президент не стал делать предметом общего обсуждения и о чем даже многие члены Исполкома СНБ узнали лишь годы спустя. Речь идет о принятии президентом Кеннеди в конце того дня, 27 октября, двух важных решений, о которых тогда был осведомлен очень ограниченный круг лиц, практически только те, кому предстояло быть непосредственными исполнителями этих решений. Первое (реализованное Робертом Кеннеди в тот же вечер в беседе с Добрыниным) предусматривало, что параллельно с направлением официального ответа на письмо Хрущева от 26 октября, в котором обходился вопрос вывода ракет из Турции, будет достигнута **конфиденциальная** договоренность (arrangement) об этом. А второе – поручение Раску предпринять подготовительный шаг к варианту открытой договоренности по Турции с помощью и. о. генерального секретаря ООН У. Тана на случай, если Москва не удовлетворится вариантом конфиденциальной договоренности.

Теперь о реконструированной мною картине того, как развертывались события в Москве 25–28 октября.

Направив Кеннеди поздно вечером 24 октября пространное письмо, написанное в прежнем задиристом тоне, и получив уже утром 25 октября лаконичный и твердый ответ, Хрущев понял из него, что президент не отступит от выраженного в его письме требования «восстановить существовавшее ранее положение», то есть удалить с Кубы ракеты. Хрущев поручил подготовить новое письмо, в котором допускалась бы возможность вывода ракет с Кубы или их уничтожение там при двух условиях: обязательства США о ненападении на Кубу и удаления американских ракет из Турции и Италии. Проект такого письма был подготовлен и представлен Хрущеву.

Но к концу дня 25 октября в Москву стали поступать сообщения по линии спецслужб, в том числе из Вашингтона, нагнавшие на Хрущева и других советских руководителей еще больше страха. В одном сообщении из Вашингтона, например, говорилось, что в ночь на 25 октября нашему разведчику, находившемуся в Национальном пресс-клубе, знакомый бармен[2] русского происхождения рассказал о якобы невольно подслушанном им разговоре двух известных американских журналистов. Из него будто бы явствовало, что Белым домом уже принято решение о вторжении на Кубу «сегодня (т. е. 25 октября) или завтра ночью». Для большей убедительности упоминалось, что одному из этих журналистов, Роджерсу, аккредитованному при Пентагоне, предстояло уже через несколько часов отправиться во Флориду для следования затем с войсками

вторжения. Более того, в сообщении говорилось, что нашему разведчику удалось переговорить накоротке и с самим Роджерсом, догнав его на выходе из пресс-клуба, и тот, дескать, в общей форме подтвердил такую версию.

Как говорил затем в своих воспоминаниях Хрущев, он понимал, что такого рода информация вполне могла доводиться до сведения наших людей с целью нажима на Москву. Тем не менее в тот момент игнорировать ее было рискованно, тем более что практически одновременно в Москву поступили другие **подлинные** сообщения – о приведении вооруженных сил США в полную готовность. Эти сообщения основывались, насколько я знаю, на перехвате переданного 24 октября открытом текстом приказа о переводе Стратегического воздушного командования США (в него же входили и ракетные силы) из состояния Defcon-3, в которое оно, как и все другие командования вооруженных сил США, было приведено 22 октября из обычного для мирного времени состояния Defcon-5, в состояние Defcon-2 (впервые за послевоенную историю), что означало полную боевую готовность, включая готовность к ядерной войне.

Получив столь тревожные сообщения, Хрущев, как выразился рассказывавший мне об этом В. В. Кузнецов, «наклал в штаны» и в первой половине дня 26 октября сам продиктовал новое письмо, опустив в нем вопрос о выводе американских ракет из Турции и Италии. При этом им было сказано, что «главное в данный момент – предотвратить вторжение на Кубу, а к Турции можно будет вернуться потом». Так, по моим данным, родилось «примирительное» письмо от 26 октября. Текст его был передан посольству США в Москве, как уже упоминалось, около пяти часов дня, то есть когда в Вашингтоне было еще утро. Но ввиду того, что письмо было довольно длинным и местами сумбурным, на его перевод в американском посольстве ушло немало времени, а затем имела место некоторая задержка (по не до конца выясненным причинам) с передачей посольской шифровки с его текстом в Вашингтон московским телеграфом. В итоге в госдепартамент США оно поступало частями между 18 и 21 часом по вашингтонскому времени, а президенту и другим членам Исполкома СНБ его полный текст был доложен примерно в 22 часа, когда в Москве уже наступило утро 27 октября.

Тем временем происходило следующее. Узнав утром 25 октября об отправке в Москву тревожной телеграммы, основанной на ночной беседе в пресс-клубе нашего разведчика, который был известен своей эмоциональностью, о намеченном якобы на «сегодня-завтра» вторжении на Кубу, я, хорошо знавший упомянутого в ней журналиста Роджерса, решил в порядке

перепроверки встретиться с ним для беседы, которая и состоялась за ланчем, то есть в середине дня 25 октября. Уже из самого этого факта явствовало, что Роджерс продолжал пребывать в Вашингтоне, а не отправился во Флориду, как об этом говорилось в телеграмме. Последовавший разговор с ним по своему содержанию тоже заметно отличался от того, о чем шла речь в сверхтревожной телеграмме нашего разведчика.

Смысл сказанного моим собеседником сводился к следующему. По его данным, Белым домом действительно было принято решение «покончить с Кастро», не останавливаясь и перед прямым вторжением. Необходимые планы разработаны и могут быть задействованы в любой момент. Вместе с тем Роджерс подчеркнул, что президент Кеннеди придает очень важное значение тому, чтобы такая акция США, **если** она состоится, выглядела в глазах всего мира абсолютно оправданной, а поэтому быть или не быть вторжению и если быть, то когда, должно определяться наличием или отсутствием «оправдывающих» обстоятельств, что оставляло возможность оттянуть или вообще не допустить вторжение.

Таким образом, сказанное мне Роджерсом не давало оснований считать решение начать вторжение «сегодня-завтра» уже практически принятым. Информация об этой моей беседе, естественно, была тут же направлена послом в Москву. В Вашингтоне это была вторая половина дня 25 октября, а в Москве уже перевалило за полночь. Поскольку счет тогда шел на часы и даже на минуты, следует иметь в виду, что в те времена телеграммы и в посольстве, и в Москве зашифровывались и расшифровывались вручную, затем доставлялись на местный телеграф для передачи по трансатлантическому кабелю, который имел ограниченную емкость, а бывало, и выходил из строя. В результате от написания даже самой строчной и короткой телеграммы в одном пункте и до прочтения ее в другом проходило нередко часов 8-10, а то и больше.

В данном случае телеграмма посла о моей беседе, корректирующей более раннее сообщение о вторжении «сегодня-завтра», легла на стол руководства МИД в середине дня 26 октября, незадолго до передачи американскому посольству «примирительного» письма Хрущева. Хотя вновь поступившая информация, по словам Кузнецова, была воспринята в МИДе с некоторым облегчением, задерживать передачу письма Хрущева американцам и передокладывать ему не стали, тем более что оставалась в силе и сохраняла свое зловещее значение информация о приведении вооруженных сил США в состояние полной боевой готовности.

Однако, когда с этой телеграммой был ознакомлен Хрущев, которым она тоже была воспринята наряду с другой поступившей к тому времени новой информацией как несколько снижающая остроту момента, возникла идея доработать ранее подготовленный проект письма, в котором речь шла и о Турции, и направить его вдогонку предыдущему письму. Решение же огласить это второе письмо по радио одновременно с передачей его 27 октября американскому посольству в Москве объяснялось, как я понимаю, желанием, чтобы новое письмо стало известно в Вашингтоне как можно быстрее, до того, как там будет подготовлен ответ на предыдущее.

Так оно и получилось. Но, судя по всему, именно факт немедленного предания гласности (в отличие от предыдущей практики) данного письма, в котором наращивались советские требования, вкупе со сбитым в тот же день над Кубой американским самолетом У-2 (что могло быть сделано только находившимися в советских руках ракетами «земля – воздух») вызвали ту напряженность в Вашингтоне 27 октября, из-за которой этот день там окрестили «черной субботой». Будь это письмо Хрущева с упоминанием Турции, как и предыдущее, закрытым, оно было бы, думается, воспринято в Белом доме гораздо спокойнее, тем более что, как теперь известно, там такой вариант уже обсуждался.

Но и в создавшейся драматической ситуации президентом Кеннеди и его ближайшими сподвижниками был найден разумный выход, который оказался приемлемым для обеих сторон (о нем уже говорилось выше): официальная договоренность о выводе с Кубы советских ракет и о невторжении США на Кубу, дополненная конфиденциальной договоренностью о выводе американских ракет из Турции. С американской стороны об этой конфиденциальной части договоренности знали кроме президента всего пять или шесть человек. Для остальных осуществленный в начале 1963 года вывод из Турции американских ракет должен был восприниматься как не связанный с урегулированием карибского кризиса.

В опубликованных в 1968 году воспоминаниях Роберта Кеннеди вопреки фактам говорилось, что при встрече с Добрыниным вечером 27 октября он сказал ему: какой-либо договоренности по Турции быть не может, но одновременно – лишь, дескать, в порядке информации – сообщил, будто президент давно хотел отделаться от ракет в Турции и Италии и уже некоторое время назад дал указание об их выводе оттуда, что и произойдет через некоторое время после завершения кризиса. Однако в 1989 году Тед Соренсен, который редактировал

воспоминания Р. Кеннеди, изданные после его смерти, признал, что в дневнике Р. Кеннеди в действительности говорилось о «прямой сделке» по ракетам в Турции и что это он, Соренсен, при публикации воспоминаний «счел нужным подправить эту запись с учетом того факта, что в то время указанная сделка была все еще секретом, известным только шестерым членам Исполкома СНБ».

С учетом полученных вечером 27 октября в Вашингтоне, а по московскому времени уже утром 28 октября одновременно двух американских ответов – одного (официального) на письмо Хрущева от 26 октября и другого (конфиденциального, устного) на письмо от 27 октября – в тот же день, 28 октября, в 17.00 по московскому времени был передан по радио и вслед за этим вручен американскому посольству в Москве положительный ответ Хрущева на письмо Кеннеди от 27 октября. Тем самым была зафиксирована принципиальная договоренность о выводе советских ракет с Кубы в обмен на заверения США о невторжении на Кубу, данные ими и от имени других стран Западного полушария. Параллельно в Вашингтоне в закрытом порядке, через Роберта Кеннеди, было подчеркнуто, что в переданном по радио нашем ответе учитывается конфиденциальная договоренность по Турции. Кстати, то, что американская сторона предложила сделать эту договоренность конфиденциальной, вполне устроило Хрущева, принимая во внимание резко отрицательную реакцию Фиделя Кастро на идею «размена» советских ракет на Кубе и американских ракет в Турции, когда он узнал о ней из опубликованного письма Хрущева Кеннеди от 27 октября.

Для не знавших о конфиденциальной договоренности письмо Хрущева от 28 октября с положительным ответом на письмо Кеннеди от 27 октября, в котором ничего не говорилось о Турции, выглядело как отступление советского лидера от своего требования о выводе американских ракет из Турции. В этой связи строились и до сих пор строятся всякие догадки относительно причин такого отступления. Чаще всего это приписывалось ультимативному характеру беседы Роберта Кеннеди с Добрыниным вечером 27 октября.

В действительности, однако, Роберт Кеннеди никаких ультиматумов не выдвигал. Да, сообщив в конфиденциальном порядке о согласии президента вывести американские ракеты из Турции, он в состоявшейся далее беседе, как и раньше, говорил, что США не могут примириться с нахождением советских ракет на Кубе и не остановятся перед бомбардировкой мест их расположения, если они не будут удалены. Говорил он и о том, что в окружении президента есть «горячие головы», которые

подталкивают его к быстрейшему нанесению такого удара. В этой связи Роберт Кеннеди выразил пожелание, чтобы ответ на письмо президента от 27 октября был дан по возможности уже на следующий день, но при этом подчеркнул, что это – просьба, а не ультиматум.

Тем не менее, как свидетельствует в своих воспоминаниях Трояновский, телеграмма Добрынина о беседе с Робертом Кеннеди и поступившая примерно в то же время телеграмма советского посла в Гаване Алексеева о беседе с Фиделем Кастро, сказавшим о наличии у него информации относительно намерения США нанести удар по Кубе в ближайшие 24–72 часа, подталкивали Хрущева и его коллег к тому, чтобы не затягивать дальше с завершением кризиса на предложенной президентом Кеннеди основе, состоящей из двух частей – официальной и конфиденциальной.

К быстрейшему завершению конфликта Москву подталкивали и случившиеся в течение 27 октября два инцидента с американскими самолетами У-2 (один сбит над Кубой, а другой вторгся в воздушное пространство СССР в районе Чукотки), высветившие опасность дальнейшего затягивания кризиса. По свидетельству того же Трояновского, ускорению составления и передачи по радио ответного письма Хрущева 28 октября содействовало и оказавшееся потом ошибочным сообщение об ожидавшемся якобы в тот день новом важном выступлении президента Кеннеди.

Все упомянутые моменты были дополнительными стимулами к скорейшей реализации договоренности. Главным же, что сделало возможным завершение 28 октября острой стадии кризиса, были, несомненно, положительные ответы, данные президентом Кеннеди 27 октября одновременно – хотя и в разной форме – на оба письма Хрущева и на оба поставленных в них вопроса: о невторжении на Кубу и о выводе ракет из Турции. Весьма точно отразил этот факт М. Банди, когда на московской встрече в январе 1989 года сказал, что Кеннеди «фактически согласился с существом обеих писем Хрущева – и от 26 октября, и от 27 октября – при единственном условии, что мы сами позаботимся об удалении ракет из Турции, и не в качестве публичной сделки, а просто потому, что это было бы слишком плохо истолковано нашими друзьями».

После этого Хрущеву, конечно же, не было никакого резона тянуть со своим ответом 28 октября даже без тех дополнительных моментов, о которых говорилось выше. Окончательное урегулирование карибского кризиса заняло еще 3–4 недели, и процесс этот был нелегким. Но острая, самая опасная фаза

кризиса завершилась в воскресенье 28 октября 1962 года. Вечером в этот день в Вашингтоне выступал Ленинградский симфонический оркестр под управлением Мравинского, и мы с послом Добрыниным, как и кое-кто из наших американских коллег – членов «пожарной команды по тушению кризиса», смогли уже позволить себе удовольствие присутствовать на этом концерте.

Правда, для меня лично этот вечер ознаменовался печальным событием. Во время концерта у жены впервые случился сердечный приступ – сказалась, очевидно, нервотрепка предшествовавшей недели, когда я дневал и ночевал в посольстве, а она переживала происходившее одна с двумя детьми, младшему из которых не было и года. С этого началась ее серьезная болезнь, которая в конечном итоге свела ее в могилу.

Мифическая часть кризиса

Прежде чем говорить об уроках, вытекающих из карибского кризиса, коротко коснусь некоторых связанных с ним мифов.

Миф первый. В Вашингтоне в ресторане «Оксидентал» около одного из столов весит табличка с таким текстом: «В напряженный период карибского кризиса в октябре 1962 года за этим столом состоялась беседа таинственного русского «мистера Х» с корреспондентом телевизионной компании Эй-Би-Си Джоном Скали. На основе этой встречи угроза ядерной войны была предотвращена».

Речь здесь идет о том, что в указанном ресторане 26 октября состоялась встреча Джона Скали с резидентом КГБ в Вашингтоне А. С. Фоминым (подлинная фамилия Феклисов). В ходе их беседы якобы и родилась та компромиссная формула (вывод советских ракет с Кубы в обмен на обязательство США о невторжении на Кубу), которая легла в основу урегулирования кризиса. На деле же, кроме самого факта встречи Фомина и Скали в указанном месте и в указанный день, все остальное, что было потом наговорено и написано на эту тему, относится к области мифов.

Достаточно сопоставить такие достоверные факты: с учетом разницы во времени между Москвой и Вашингтоном встреча Фомина и Скали, начавшаяся в 13.00, происходила спустя уже более трех часов после того, как посольству США в Москве было вручено «примирительное» письмо Хрущева Кеннеди от 26 октября, в котором и содержалась компромиссная формула урегулирования кризиса. К тому же, как признает в своих воспоминаниях Фомин, телеграмма о его разговорах со Скали

была отправлена им в Москву лишь после его повторной встречи с ним в тот же день, встречи, которая потребовалась для уточнения ряда вопросов, возникших у посла и у меня, когда Фомин ознакомил нас с информацией о своей первой беседе. В частности, нами был поставлен такой вопрос: если США намерены настаивать на контроле за выводом ракет с Кубы и невозвращением их в последующем, то согласятся ли они с контролем за соблюдением ими обязательства о невторжении на Кубу, скажем, путем размещения соответствующих контрольных постов на побережье США?

Согласно документальным данным, вторая встреча Фомин – Скали состоялась только в 19.35 по вашингтонскому времени, то есть уже и после поступления в Вашингтон указанного письма Хрущева. Поэтому их беседы никак не могли повлиять на содержание этого письма. Как писал Трояновский, он вообще не припоминает, чтобы информация о контактах Фомина со Скали попадала в поле зрения Хрущева и тем более чтобы она оказала какое-либо влияние на решения, принимавшиеся в Москве в ходе кризиса.

Мог ли не запомнить помощник Хрущева такую, казалось бы, важную информации? Думается, не мог. Дело совершенно в другом. Как пишет в своих воспоминаниях Фомин, в ответ на направленную им в Москву телеграмму с информацией о своих беседах со Скали (напоминаю еще раз – это произошло уже после поступления в Вашингтон письма Хрущева от 26 октября с формулой «вывод ракет в обмен на невторжение на Кубу») он получил от своего начальства указание попросить посла Добрынина направить в Москву информацию о беседах со Скали за своей подписью. Из этого явствует, что в ожидании поступления в Москву такой телеграммы за подписью посла текст телеграммы Фомина не рассылался руководству страны. А к тому времени, когда от Фомина поступило сообщение об отказе Добрынина подписывать телеграмму о его беседах со Скали (в Москве в это время уже было 27 октября и уже прозвучало по Московскому радио новое послание Хрущева Кеннеди), докладывать наверх информацию о беседах Фомина – Скали по линии КГБ вообще стало бессмысленным. Так что нет ничего удивительного в том, что Трояновский не помнит такой телеграммы.

Что же касается многократно высказывавшегося Фоминым, в том числе и публично, недоумения относительно отказа Добрынина отправить телеграмму о его беседах со Скали за своей подписью и попыток Фомина объяснить это ведомственными соображениями, в действительности здесь тоже все довольно

ясно.

Посол не захотел делать это точно по той же причине, по которой начальство Фомина не решилось само доложить наверх его телеграмму, хотя на первый взгляд, казалось бы, КГБ было выгодно показать, что их работник прислал столь «ценную» информацию. В условиях, когда все «варилось» на кремлевской кухне, и никто – ни начальство Фомина, ни посол – не был в курсе, что именно там «варится», никому не хотелось «подставляться», получать по шеям за проведение каких-то несанкционированных переговоров с американской стороной.

Мифичность этой истории состоит и в том, что версия Фомина и версия Скали об их беседах противоречат одна другой. Если Фомин утверждал, что формула «вывод ракет в обмен на невторжение» была предложена Скали, причем со ссылкой чуть ли не на самого президента, то Скали утверждал, что она исходила от Фомина. Поскольку же, согласно американским документальным данным, именно в таком варианте Скали рассказал госсекретарю Раску о беседе с Фоминым, то неудивительно, что в Белом доме восприняли высказывания Фомина (подлинные или приписанные ему Скали) как сочетающиеся с поступившим письмом Хрущева. Все бы ничего, если бы в высказываниях Фомина, по версии Скали, не имелся отсутствовавший в письме Хрущева весьма существенный элемент, а именно мнение о том, что демонтаж советских ракет на Кубе можно было бы провести под наблюдением ООН.

Рассматривая письмо Хрущева от 26 октября и высказывания Фомина в изложении Скали, по свидетельству директора ЦРУ Хелмса, как «фактически единый пакет», американская сторона, естественно, включила положение об инспекции ООН за выводом ракет в ответ Кеннеди на письмо Хрущева от 26 октября, как если бы оно содержалось и в самом письме. А это, как известно, вызвало затем серьезные дополнительные осложнения ввиду категорического отказа Кастро допустить на территорию Кубы каких-либо инспекторов. Так что не всякие мифические казусы бывают безобидными.

Миф второй. В отличие от первого, который появился вслед за кризисом, этот родился спустя 30 лет как проявление «нового мышления».

Речь идет о полковнике Пеньковском, арестованном в октябре 1962 года в Москве и впоследствии расстрелянном за измену Родине. Так вот, согласно новорожденному мифу, переданная американской и английской разведкам Пеньковским информация о советских ракетных силах вообще и о технических характеристиках тех типов ракет, которые размещались на Кубе, в

частности, сыграла, мол, весьма положительную роль в ходе карибского кризиса. «Без такой информации, – поведал американский журналист Дж. Шектер, – президент был бы вынужден принимать поспешные и более опасные решения».

Поверив на слово своему американскому коллеге, бывшая советская журналистка Н. Геворкян вслед за ним без тени сомнения заявила, что мирному выходу из карибского кризиса «в значительной мере способствовала передававшаяся офицером советской разведки на Запад информация», и эти сведения помогли «пройти по лезвию ножа, не оступившись в ядерный беспредел». А посему, делала она вывод, «предательства, подобные тому, которое совершил Пеньковский, следует трактовать как благо».

Оставляя в стороне моральный аспект такой постановки вопроса, обратимся опять к фактам, к свидетельствам гораздо более компетентных в этом деле людей, чем упомянутые журналисты. Так, М. Банди, тогдашний помощник президента по национальной безопасности, на прямой вопрос, оказала ли какое-либо влияние на позицию американской стороны в ходе карибского кризиса переданная Пеньковским информация о ракетном потенциале СССР, столь же прямо ответил, что хотя ЦРУ очень гордилось этим своим агентом, но «к подлинным оценкам и действиям правительства США в ракетном кризисе Пеньковский не имел никакого отношения».

Этот лаконичный ответ Банди существенно дополняет рассказ Рэймонда Гартгоффа, много лет проработавшего и в ЦРУ, и в государственном департаменте США и имевшего касательство к анализу поступавшей от Пеньковского развединформации, а также к карибскому кризису. Вот его свидетельство: «На деле, хотя с апреля 1961 года по сентябрь 1962 года Пеньковский предоставил огромное количество важной военной информации, он не располагал сведениями и не мог сообщить что-либо о ракетах на Кубе». Что касается полученной от Пеньковского информации о советских ракетах, в том числе тех типов, которые затем начали размещаться на Кубе, она, по словам Гартгоффа, лишь несколько дополняла сведения, получение которых обеспечивалось американскими национальными техническими средствами, и поэтому к карибскому кризису имела «второстепенное отношение и ничего большего».

В то же время Гартгофф поведал о Пеньковском такое, от чего волосы встают дыбом и о чем следует знать тем, кто готов превратить этого предателя чуть ли не в спасителя человечества. А произошло следующее. Связь с представителями американской и английской разведок в Москве Пеньковский поддерживал через

тайники. Но на случай чрезвычайных обстоятельств были обговорены условные неречевые сигналы, которые он должен был передать своим хозяевам по телефону. В числе таких сигналов, наряду с сигналом «меня пришли арестовывать», был и сигнал «грядет война», который должен был означать, что СССР изготовился к нанесению первого удара. Так вот, когда в ночь на 23 октября 1962 года (то есть в самом начале карибского кризиса) пришли его арестовывать, Пеньковский успел передать телефонные сигналы, но не только тот, который был предусмотрен на этот случай, но и сигнал «грядет война».

К великому счастью, сотрудники американской разведки, к которым поступил этот сигнал, заподозрив неладное и понимая тяжесть ответственности, которую бы они взяли на себя, доведя такой сигнал до сведения высшего руководства, доложили лишь об аресте Пеньковского. А поступили они так, по словам Гартгоффа, потому, что знали своего агента как человека с необычайно высоким мнением о своей персоне, который к тому же уже «пытался подстрекать западные державы на более агрессивные действия против Советского Союза во время берлинского кризиса в 1961 году». «Поэтому, – заключил Гартгофф, – когда ему пришел конец, он, очевидно, решил сыграть роль Самсона, обрушив храм, под развалинами которого погибли бы и все остальные».

И действительно, нетрудно представить себе, каковы могли бы быть последствия, если бы и в без того накаленную атмосферу Белого дома ворвался такой сигнал, особенно если иметь в виду, что военная доктрина США в отличие от советской предусматривала возможность нанесения в подобных обстоятельствах упреждающего удара, то есть до того, как другая сторона успеет запустить свои ракеты. И уж точно, как полагает Гартгофф, в этом случае вооруженные силы США были бы приведены не в состояние Defcon-3, как это было сделано в момент выступления президента Кеннеди 22 октября, и не в состояние Defcon-2, как это было сделано 24 октября, а сразу в состояние Defcon-1 – наивысшую степень готовности к началу военных действий, включая применение ядерного оружия. Это, в свою очередь, могло бы быть воспринято в Москве как признак намерения Вашингтона вот-вот нанести первый удар. А что могло бы последовать дальше?

Так что благодарить за то, что США и СССР «не оступились в ядерный беспредел», надо вовсе не Пеньковского, как предлагала Геворкян, а скорее тех безымянных американских разведчиков, которые взяли на себя смелость не доложить своему руководству о переданном им ложном сигнале.

Миф третий. Суть его состоит в том, будто в ходе карибского кризиса Ф. Кастро предлагал Хрущеву нанести упреждающий ядерный удар по Соединенным Штатам. Всплыл и получил хождение этот миф тоже спустя почти 30 лет, хотя порожден он был еще в заключительные дни кризиса неправильным истолкованием Хрущевым одного из посланий Кастро. В своих мемуарах (в той их части, которая была опубликована только в 1990 году) Хрущев утверждает: «Кастро предложил, чтобы для предотвращения уничтожения наших ядерных ракет мы предприняли упреждающий ядерный удар по Соединенным Штатам. Он сделал вывод, что нападение (на Кубу. – *Г. К.*) было неизбежно и это нападение надо упредить. Другими словами, нам надо было немедленно нанести ядерно-ракетный удар по Соединенным Штатам».

Чтобы стала понятной ошибочность и вместе с тем причина появления такого сенсационного утверждения Хрущева, придется привести довольно пространные выдержки из переписки между ним и Кастро в те дни.

«Анализируя создавшуюся обстановку и имеющуюся в нашем распоряжении информацию, – писал Кастро Хрущеву 27 октября, – считаю, что почти неминуема агрессия в ближайшие 24–72 часа… Возможны два варианта агрессии:

Наиболее вероятным является атака с воздуха по определенным объектам с целью только их разрушения.

Менее вероятным, хотя и возможным, является прямое вторжение в страну. Думаю, что осуществление этого варианта потребует большого количества сил, и это может сдержать агрессора, и, кроме того, такая агрессия была бы встречена мировым общественным мнением с негодованием…

Если произойдет агрессия по второму варианту и империалисты нападут на Кубу с целью ее оккупации, то опасность, таящаяся в такой агрессивной политике, будет настолько велика для всего человечества, что Советский Союз после этого ни при каких обстоятельствах не должен допустить создания условий, чтобы империалисты первыми нанесли по СССР атомный удар…

Я говорю это, так как думаю, что агрессивность империалистов приобретает крайнюю опасность. Если они осуществят нападение на Кубу – этот варварский незаконный и аморальный акт, то в этих условиях момент был бы подходящим, чтобы, используя законное право на самооборону, подумать о ликвидации навсегда подобной опасности. Как бы ни было тяжело и ужасно это решение, но другого выхода, по моему мнению, нет».

Как ясно видно из приведенного текста, ни о каком **упреждающем** ударе Кастро не говорил. Он вел речь о возможности нанесения Советским Союзом удара по США не в качестве упреждающего, а в качестве ответного на вторжение США на Кубу, при котором неизбежно подверглись бы ударам и находившиеся там советские войска, что по нормам международного права означало бы агрессивные действия США не только против Кубы, но и против СССР. Тот факт, что Кастро не предлагал в своем письме наносить упреждающий удар, виден и из поступившей вслед за письмом телеграммы советского посла в Гаване, в которой говорилось, что на его прямой вопрос: «Имеете ли Вы в виду, что мы должны первыми нанести ядерный удар по врагу?» – последовал четкий ответ Кастро: «Нет».

И когда Хрущев в своем письме Кастро от 30 октября тем не менее упрекнул его за то, что в «телеграмме от 27 октября Вы предложили нам первыми нанести удар ядерным оружием по территории противника», Кастро тут же в своем ответе 31 октября отверг такое толкование: «Я не побуждал Вас, товарищ Хрущев, чтобы СССР стал агрессором, так как это было бы больше чем неправильно, было бы аморально и недостойно с моей стороны; я говорил о том, чтобы в момент, когда империализм напал бы на Кубу и на расположенные на Кубе вооруженные силы СССР, предназначенные оказать помощь нашей обороне, и тем самым империалисты превратились бы в агрессоров против Кубы и СССР, им был дан ответный уничтожающий удар». И далее: «Я не побуждал Вас, товарищ Хрущев, к тому, чтобы в обстановке кризиса Советский Союз совершил бы нападение, как это, кажется, вытекает из того, что Вы мне говорите в своем письме, но чтобы после империалистической атаки СССР действовал без колебаний и не совершил никоим образом ошибки, допустив такое положение, при котором враги обрушили бы на него первый ядерный удар».

Из приведенных выдержек и в целом из писем Кастро явствует, что он высказывался за то, чтобы в ответ на агрессивные действия США против Кубы и находившихся там советских войск, не дожидаясь вероятного с его точки зрения нанесения Соединенными Штатами вслед за этим ядерного удара непосредственно по Советскому Союзу, последний сам первым пошел бы на применение ядерного оружия в ответном ударе по США. Но если учесть, что официальная военная доктрина самих США всегда предусматривала (и по сей день предусматривает) возможность применения ими ядерного оружия первыми в аналогичных обстоятельствах – в случае чьего-то нападения на США или их союзников с использованием только обычных

вооружений, то вряд ли были основания упрекать Кастро за то, что он допускал возможность такого же образа действий и со стороны СССР в ответ опять-таки на агрессивные действия США против него и его союзника в лице Кубы. Во всяком случае, ясно, что в письме Кастро от 27 октября речь не шла о том немедленном упреждающем ударе, о котором говорится в мемуарах Хрущева.

Почему же у Хрущева возникло и перекочевало потом в его мемуары искаженное истолкование того, о чем Кастро вел речь в действительности? Объяснение этому, думается, можно найти в воспоминаниях Трояновского, который рассказал, что телеграмма с текстом указанного письма Кастро была получена в Москве глубокой ночью, и ночью же или следующим утром он, Трояновский, зачитал эту телеграмму Хрущеву по телефону. Наверное, Хрущев не уловил на слух всех тонкостей довольно сложных формулировок Кастро, а однажды возникшее у него неправильное их восприятие так и застряло в памяти.

В любом случае и то, о чем действительно говорил о своем письме Кастро, и тем более то, как истолковал его слова Хрущев (при всей неправильности такого толкования), лишний раз свидетельствовало о том накале, которого достигла напряженность в карибском кризисе на заключительной стадии, и о том, сколь опасным было его дальнейшее затягивание.

Уроки кризиса

И среди участников карибского кризиса, и среди его исследователей есть разные мнения насчет того, насколько опасным он был в действительности.

Я согласен с теми из них – а таковых, пожалуй, большинство, – кто придерживается мнения, что карибский кризис 1962 года был самым опасным из тех, которыми изобиловали годы «холодной войны». Опасным в самом страшном смысле: реально существовала не только возможность, но и вероятность его перерастания в большую войну вплоть до ядерной. Не потому, что кто-то в Москве или Вашингтоне хладнокровно принял бы решение пойти по этому пути; такой опасности практически не было. А потому, что к данному случаю, как к никакому другому, особенно применим «закон Макнамары», который он сформулировал следующим образом: «Невозможно предугадать со сколько-нибудь высокой степенью уверенности, каков будет эффект применения военной силы из-за риска случайностей, просчетов, недоразумений и оплошностей».

В дополнение к исходному в данном случае непониманию или искаженному пониманию сторонами намерений друг друга, о чем говорилось ранее, достаточно привести далеко не полный перечень имевших место в дни карибского кризиса всякого рода совпадений, случайностей, недоразумений и т. п., которые могли быть неправильно истолкованы той или другой стороной и дать толчок необратимому ходу роковых событий.

1. Выше уже рассказывалось об истории с Пеньковским, который был арестован в Москве как раз в ночь на 23 октября, примерно в то время, когда в Вашингтоне, где еще было 22 октября, президент Кеннеди возвестил миру о начале карибского кризиса. В силу этого совпадения переданный Пеньковским непосредственно перед арестом ложный сигнал, будто СССР изготовился к нанесению ядерного удара по США, именно в такой момент был во много крат более чреват роковыми последствиями, чем в другое время.

2. В тот же день, 22 октября, имело место еще одно совпадение: в этот день американские ракеты средней дальности в Турции официально приобрели статус действующих и были переданы в руки турецкой армии (хотя и с сохранением американского контроля над ядерными зарядами к ним). Это было сделано по давно утвержденному графику, и о таком совпадении в Вашингтоне узнали какое-то время спустя. А как могла истолковать этот акт советская сторона, если бы он сразу же стал ей известен?

3. Тот факт, что генерал Пауэр, возглавлявший Стратегическое воздушное командование США, вопреки установленному порядку самочинно (министр обороны Макнамара узнал об этом только спустя многие годы) передал приказ о приведении подчиненных этому командованию частей, включая межконтинентальные ракеты наземного базирования, в состояние полной боевой готовности (Defcon-2) **открытым текстом**, похоже, был одним из факторов, подтолкнувших Хрущева к поиску выхода из кризиса. Но такой акт в тот напряженный момент мог вызвать и другую реакцию.

4. Вторжение американского разведывательного самолета У-2 в воздушное пространство в районе Чукотки 27 октября, как оказалось, было непреднамеренным – это знали в Вашингтоне, но не могли знать в Москве и вполне могли бы расценить как признак враждебных намерений. По словам одного очевидца, узнав об этом инциденте, Макнамара «побледнел как полотно и истерично вскрикнул: «Это означает войну с Советским Союзом!». Президент Кеннеди, правда, отнесся к этому инциденту более хладнокровно, сказав по адресу виновника инцидента со смехом:

«Всегда найдется какой-нибудь сукин сын, до которого не дошло нужное слово».

5. Когда в тот же день, 27 октября, над Кубой был сбит другой американский самолет У-2, в Вашингтоне ошибочно предположили, что это было сделано по приказу из Москвы, и не только военные, но и некоторые гражданские советники президента настоятельно рекомендовали воспользоваться этим случаем для нанесения бомбового удара, по крайней мере, по позициям ПВО на Кубе, где пострадали бы и советские военнослужащие. А что последовало бы за этим? Скорее всего, как об этом говорит и Хрущев в своих воспоминаниях, советская сторона приняла бы ответные меры в Европе. И у какой черты тогда остановились бы обе стороны, если бы вообще остановились?

6. Хотя и ранее было известно, что кроме ракет средней дальности, размещавшихся на Кубе, в распоряжении советского командования там имелось четыре тактические ракеты типа «Луна», в Вашингтоне не знали, что на Кубу были доставлены не только обычные заряды к этим ракетам, но и ядерные. Тем более никто не подозревал, что, в отличие от ракет средней дальности, которые после ввода их в строй не могли бы ни при каких обстоятельствах быть запущены без прямого указания из Москвы, решение о применении тактических ракет с ядерными боезарядами в случае вторжения американских войск на Кубу, согласно первоначально подготовленному Генштабом приказу, имел бы право принять командующий советскими войсками на месте без согласования с Москвой. С чисто формальной точки зрения в этом была своя логика – ведь в случае вторжения времени для согласования с Москвой просто бы не было. Надо ли обладать особой фантазией, чтобы представить себе дальнейший разворот событий, если бы этот приказ не был отменен, а вторжение состоялось?

По свидетельству Теда Соренсена, по окончании карибского кризиса Кеннеди говорил, что шанс его перерастания в большую войну был очень велик: 50 на 50. Не все американские участники кризиса согласны с этим. Я лично тоже не думаю, что шанс большой войны был столь велик. Но учитывая, что большая война на этот раз скорее всего была бы ядерной, то и 1 из 100 – слишком много.

Поэтому **первый и главный урок**, вытекавший из карибского кризиса, с чем согласно и большинство американских его участников и исследователей, – не допускать возникновения подобных кризисов, чреватых пусть даже небольшой вероятностью перерастания в большую войну, не полагаться на

то, что всякий раз удастся остановиться у опасной черты. Самый радикальный способ исключить возможность возникновения таких кризисов – изменение состояния международных отношений до такой степени, чтобы для кризисов не было причин. Но хотя за последующие годы ситуация в мире во многом изменилась, она весьма далека от того, чтобы международные кризисы стали просто невозможными. Скорее наоборот. Достаточно указать на события в Персидском заливе и на Балканах.

В любом случае – таков **второй урок** карибского кризиса – критически важны всесторонняя и высокопрофессиональная проработка принимаемых внешнеполитических решений, учет при этом всех объективных и субъективных факторов, «влезание в шкуру» другой стороны, интересы которой могут быть затронуты при реализации готовящегося решения.

Третий урок. С одной стороны, при возникновении кризиса нельзя действовать сгоряча, излишне форсировать события, необходимо взвесить разные варианты своих действий, чтобы выбрать самый оптимальный из них. Большинство американских участников карибского кризиса согласны, например, в том, что если бы президент Кеннеди принимал решение об образе действий США сразу, 16 октября, когда ему стало известно о размещении советских ракет на Кубе, а не пять дней спустя, то наверняка был бы избран более опрометчивый вариант с гораздо большим риском опасных последствий.

С другой стороны, как показывает опыт карибского кризиса, неразумно и излишне затягивать время принятия решений ввиду опасности накопления всякого рода непредсказуемых элементов в развитии кризиса, что может привести к его расширению вопреки желанию сторон. Отсюда же – важность поддержания непрерывных, в том числе негласных, контактов между сторонами, чтобы постоянно «чувствовать пульс» друг друга.

Четвертый урок – пытаясь найти наиболее приемлемый для себя выход из кризиса, что вполне естественно, важно вместе с тем не загонять противную сторону в безвыходное положение, оставлять открытой возможность для поиска взаимоприемлемых компромиссных решений без или с минимальной потерей лица для обеих сторон.

Пятый урок. Огромное значение для мирного разрешения карибского кризиса имели личные качества американского и советского лидеров: при всей их непохожести оба они в итоге оказались способными, руководствуясь здравым смыслом и проявив политическую волю, выйти на такие решения, которые отвечали как главным целям каждой из сторон (для СССР –

ограждение Кубы от угрозы вторжения, а для США – устранение ракет с Кубы), так и общей для всего мира цели – не допустить перерастания кризиса в большую войну. Такой исход кризиса нельзя считать гарантированным во всех случаях. Многие из имевших касательство к карибскому кризису, а также его исследователей вполне резонно, по-моему, с ужасом задавались вопросом, какой оборот принял бы этот кризис и во что бы он вылился, будь на месте Кеннеди, например, такой деятель, как Рейган, а на месте Макнамары – Уайнбергер.

Глава 6. НА ПОДСТУПАХ К РАЗРЯДКЕ

Воздействие карибского кризиса на дальнейшие отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами было неоднозначным. В известной мере кризис подстегнул гонку вооружений между ними. Что касается Советского Союза, кризис укрепил его руководство в стремлении достичь ракетно-ядерного паритета с США путем форсированного наращивания стратегических вооружений. Ибо было ясно, что при почти двадцатикратном преимуществе, которое имели США в области стратегических вооружений на момент карибского кризиса, они были хозяевами положения. И если не в этом, так в каком-то другом случае при каком-то другом президенте подобное соотношение сил могло бы иметь более тяжелые последствия для Советского Союза, чем в случае с Кубой. Поэтому, хотя и раньше у советского руководства были планы наращивания стратегического арсенала, карибский кризис, безусловно, подстегнул этот процесс.

Вместе с тем и в данном случае подтвердилась русская пословица «Нет худа без добра», как и ее американский эквивалент «Each cloud has a silver lining» (что можно перевести примерно как «через всякую тучу пробивается луч надежды»). Взглянув в лицо ядерной опасности, не только осознав ее разумом, но и эмоционально пережив страх перед ней, лидеры обеих стран прониклись пониманием необходимости предпринять шаги, направленные на уменьшение опасности возникновения ядерной войны. Уже в дни кризиса Кеннеди сказал своему другу, английскому послу в Вашингтоне Ормсби-Гору: «Мир, напичканный ядерным оружием, не поддается управлению. Если мы пройдем через этот кризис, мы должны действительно встать на путь разоружения». Хорошо знавший умонастроение Кеннеди его помощник Шлесинджер писал впоследствии: «Что касается Кеннеди, то его взгляды претерпели после Кубы качественное изменение: мир, в котором страны угрожают друг другу ядерным оружием теперь казался ему не просто иррациональным, но невыносимым и невозможным миром. Куба, таким образом, сделала ясной ту истину, что у всего человечества есть общий интерес – предотвратить ядерную войну, интерес, намного превышающий те национальные и идеологические интересы, которые когда-то казались самыми главными».

По свидетельству Трояновского, после карибского кризиса

взгляд Хрущева на мир, на отношения с западными странами тоже заметно изменился. Как и Кеннеди, он в результате кризиса, пожалуй, впервые почувствовал не в теории и в не пропагандистской полемике, а на практике, что угроза ядерной войны и ядерного уничтожения – это реальная вещь, и, следовательно, надо всерьез, а не на словах искать пути к мирному сосуществованию.

Подобные изменения в умонастроениях американского и советского лидеров обещали возможные положительные изменения и в сфере их практической политики. К сожалению, Кеннеди оставалось жить немногим более года, да и у Хрущева было в запасе всего два года до ухода с политической арены.

Что удалось сделать при Кеннеди

Уже 30 октября, то есть сразу после достижения принципиальной договоренности по урегулированию карибского кризиса, Хрущев в своем письме Кеннеди обозначил широкий круг вопросов, по которым советская сторона была готова возобновить обмен мнениями. И первым в предложенном Хрущевым списке был вопрос о прекращении испытаний ядерного оружия. Хотя в тот момент Кеннеди не пожелал втягиваться в обсуждение перечисленных в письме Хрущева вопросов, предпочитая завершить прежде всего урегулирование карибского кризиса, что потребовало еще какого-то времени, уже в декабре 1962 года стороны договорились о возобновлении трехсторонних (СССР, США, Англия) переговоров о прекращении ядерных испытаний. Не без трудностей в августе 1963 года эти переговоры завершились подписанием договора о полном прекращении испытаний ядерного оружия в трех средах – в атмосфере, космосе и под водой, оставив пока в стороне вопрос о ядерных испытаниях под землей.

Успешному завершению переговоров по ядерным испытаниям и в целом созданию более благоприятных перспектив дальнейшего развития советско-американских отношений во многом способствовала речь Кеннеди в Американском университете в Вашингтоне 10 июня 1963 года. Это была не просто очередная речь президента. Будучи целиком посвященной вопросам войны и мира и в этом контексте отношениям между США и СССР, она по своему содержанию и тональности, как выразился один из американских знатоков кеннедиевского периода, отстояла на расстоянии световых лет от сетований Кеннеди по поводу «ракетного отставания» США от СССР во время

предвыборной кампании 1960 года и от «игры мускулами» в его речи при вступлении на должность президента в январе 1961 года.

Лейтмотивом речи Кеннеди в Американском университете была мысль о том, что в ядерный век единственно рациональной целью разумных людей должен быть мир. При этом мир не на какое-то время, а на все времена. Мир не в виде Pax Americana, навязанного силой американского оружия. Мир, который не требует, чтобы соседи любили друг друга, а требует только, чтобы они жили вместе, проявляя взаимную терпимость. Мир, основанный на признании того, что «никакое правительство, никакая социальная система не являются столь порочными, чтобы считать их народы лишенными достоинств». Иными словами, в речи Кеннеди содержалась четкая установка на мирное сосуществование США и СССР, хотя сами эти слова в ней и не фигурировали.

Отмечая, что для прочного мира требуется и «более просвещенное» отношение советского руководства к международным делам, Кеннеди вместе с тем всячески подчеркивал, что не менее важно, чтобы сами американцы – и каждый в отдельности, и вся нация – пересмотрели свое собственное отношение к Советскому Союзу и к «холодной войне».

Кеннеди отверг бытовавший в то время тезис, будто длительный мир невозможен до тех пор, пока советские руководители не пересмотрят свое мировоззрение; он квалифицировал этот тезис как опасный и пораженческий. «Наши проблемы созданы человеком, – заявил он, – стало быть, они могут быть решены человеком». И далее: «Если мы не можем покончить сейчас со всеми нашими разногласиями, то, по крайней мере, мы можем помочь сделать мир безопасным для разнообразия. Ибо в конечном счете самым основным связующим звеном для нас является то, что все мы живем на этой маленькой планете. Мы все дышим одним воздухом. Всех нас заботит будущее наших детей. И все мы смертны». Главное, что требовалось для обеспечения мира, по убеждению Кеннеди, – это прекращение гонки вооружений и продвижение к разоружению, вплоть до всеобщего и полного.

Как говорили мне Шлесинджер и другие хорошо знавшие Кеннеди люди, основополагающая в этой речи мысль о возможности для Соединенных Штатов жить в мире с Советским Союзом была присуща президенту и ранее, что проявилось еще в «философской» части венских бесед Кеннеди и Хрущева в 1961 году. Но потребовалось время и два кризиса – берлинский и

карибский, чтобы Кеннеди еще больше укрепился в этой мысли и, главное, чтобы большинство американцев созрело для правильного восприятия его открытого выступления в пользу мирных отношений с Советским Союзом без риска прослыть «слабаком».

Вскоре после речи Кеннеди в Американском университете была достигнута договоренность о создании так называемой «горячей линии» между Кремлем и Белым домом – закрытой телеграфно-телетайпной линии (а вовсе не телефонной, как почему-то многие считают), предназначенной для использования в чрезвычайных ситуациях. Установление прямой связи между Кремлем и Белым домом было не просто техническим усовершенствованием каналов связи между двумя столицами, но и признаком стремления обеих сторон к большему взаимопониманию и доверию.

В июле, когда уже определился благоприятный исход переговоров о прекращении испытаний ядерного оружия в трех средах, Хрущев публично высказался за то, чтобы вслед за этим, не теряя темпа, стороны договорились о замораживании, а еще лучше – о сокращении военных бюджетов, о мерах по предотвращению внезапного нападения, о сокращении иностранных войск в обоих германских государствах, о заключении пакта о ненападении между ОВД и НАТО.

Обсуждение этих проблем между сторонами состоялось во время приезда Раска в Москву в начале августа для подписания Договора о прекращении испытаний ядерного оружия в трех средах, а затем было продолжено в ходе визита Громыко в Вашингтон в октябре 1963 года. В беседе Громыко с президентом Кеннеди 10 октября было достигнуто понимание, что в следующем, 1964, году США и СССР без какого-либо формального соглашения на этот счет, а в порядке взаимного примера заморозят свои военные расходы. В таком же порядке стороны запланировали несколько сократить свои войска в Европе. Наряду с договором о прекращении испытаний ядерного оружия в трех средах это были первые осязаемые результаты в деле притормаживания гонки вооружений и в деле разоружения.

В тот же день за обедом в советском посольстве между Громыко и Раском состоялся разговор, который можно считать началом обмена мнениями между СССР и США по стратегическим вооружениям. Раск предложил рассмотреть вопрос об уничтожении всех американских бомбардировщиков типа Б-47 и соответствующих советских бомбардировщиков, Громыко, со своей стороны, предложил обсудить и вопрос о ракетах. Раск подтвердил готовность США обсуждать «весь комплекс средств

доставки ядерного оружия», но начинать предлагалось с бомбардировщиков. Стороны условились продолжить обмен мнениями по этому кругу вопросов. Разговор происходил, повторяю, 10 октября 1963 года – Кеннеди оставалось жить всего шесть недель.

Известие об убийстве Кеннеди в Далласе 22 ноября я услышал в автомашине по дороге в посольство после обеденного перерыва. Сообщение по радио о только что совершенном покушении на президента я вначале принял за какую-то инсценировку типа «вестерна», но вскоре понял, что речь шла о реальном событии. А приехав в посольство и включив телевизор, еще раз воочию убедился в реальности происходившего – к этому моменту из Далласа уже поступили сообщения о том, что президент скончался.

К простому человеческому сожалению о гибели Джона Кеннеди у меня, как и у других работников посольства, добавлялось беспокойство по поводу возможных последствий этого трагического события для советско-американских отношений. Это беспокойство еще больше усилилось, когда через пару часов появились сообщения о причастности к убийству президента некоего Ли Освальда – американца, который какое-то время жил в Советском Союзе и жена которого была русской. В этой связи тут же стали возникать домыслы о возможной причастности СССР к убийству Кеннеди. При всей беспочвенности и дикости этих домыслов они серьезно омрачали и без того тревожную обстановку.

Относительно Освальда, мне сразу вспомнилось, что я имел некоторое касательство к его судьбе, когда он прибыл в Москву осенью 1959 года в качестве туриста и заявил о своем желании остаться в Советском Союзе на постоянное жительство. Представители КГБ после бесед с ним пришли к выводу, что он психически неуравновешен и лучше бы не разрешать ему оставаться в СССР. Свой отказ в таком разрешении они согласовали и с Отделом стран Америки МИД, заместителем заведующего которого я работал в то время. Поэтому, когда Освальд попытался покончить с собой после полученного отказа и об этом было доложено в ЦК КПСС, Е. А. Фурцева – в то время одна из секретарей ЦК – учинила разнос всем, кто проявил невнимательность к стремлению Освальда «приобщиться к строительству социализма». В их числе досталось и мне. Освальд оказался действительно неуравновешенным человеком и через некоторое время, успев жениться на русской девушке, пожелал уехать с ней в США, что они и сделали в 1961 году. И вот теперь он был так или иначе впутан в историю с убийством

американского президента. Я лично не верил тогда и не верю сейчас, что Освальд был при этом главным действующим лицом, убийцей-одиночкой; его явно использовал кто-то в качестве удобной подставной фигуры.

Советское руководство представлял на похоронах Кеннеди А. И. Микоян. На следующий день после похорон Микоян имел беседу с новым президентом США Линдоном Джонсоном. В ходе этой беседы Джонсон заявил о своем намерении придерживаться всех договоренностей, которые были достигнуты между США и СССР при Кеннеди, включая договоренность 1962 года по Кубе. Это было воспринято Микояном с большим удовлетворением, поскольку в Москве опасались, что новый президент мог уклониться от такого подтверждения.

Беседа Микояна с Джонсоном памятна мне и следующим казусом в моей дипломатической практике. Вернувшись в посольство из Белого дома, Микоян должен был тут же уезжать опять вместе с послом Добрыниным на встречу с императором Эфиопии Хайле Силассие, а мне поручил подготовить тем временем телеграмму в Москву с изложением его беседы с Джонсоном. На мой недоуменный вопрос: «Как я могу написать о беседе, на которой не присутствовал?» – Микоян вполне серьезно ответил встречным вопросом: «А ты разве не знаешь, что я ему мог говорить или что он мне мог говорить? Какой же ты дипломат?» Когда после встречи с эфиопским императором он прочел подготовленную мною довольно обстоятельную телеграмму о его беседе с американским президентом, то столь же серьезно сказал: «Ты, похоже, сидел под столом в Белом доме – так подробно и все правильно воспроизвел», – и подписал телеграмму без всяких исправлений. Секрет состоял в том, что Добрынин на ходу успел сообщить мне в двух словах об общей тональности беседы и, главное, назвать вопросы, которые были в ней затронуты; остальное домыслить больших трудностей не составило.

День похорон Кеннеди запомнился мне на всю жизнь, кроме прочего, трогательной сценой, фотографии которой обошли все американские издания: его маленький сынишка Джон отдает честь гробу с телом покойного президента. Запомнилась и такая деталь. При прощании с мужем, перед закрытием крышки гроба Жаклин сняла с пальца обручальное кольцо и опустила в гроб – жест, означавший обещание не выходить больше замуж. Сделала она это не демонстративно, но телеоператоры уловили этот момент. Через какое-то время стало известно, что Роберт Кеннеди до погребения тела брата извлек из гроба кольцо и потом вернул Жаклин, освободив ее тем самым от данного ею обещания.

Впоследствии, как известно, она вышла замуж за греческого миллионера Онассиса, но счастья в новом браке не обрела. Наряду с фотографией маленького Джона, отдающего честь, сохранилась у меня и фотокопия рукописного письма Жаклин Кеннеди, которое она передала через посольство Хрущеву. Ниже воспроизводится русский перевод его текста:

«Белый дом, 1 декабря 1963 года

Уважаемый г-н Председатель-Президент

Мне хотелось бы поблагодарить Вас за то, что Вы прислали г-на Микояна в качестве вашего представителя на похороны моего мужа. Он выглядел таким расстроенным, когда подошел ко мне на прощальном приеме, и я была очень тронута. Я попыталась в тот день передать через него устное послание для Вас, но это был такой ужасный день для меня, что я не знаю, нашла ли я подходящие слова, которые имела в виду.

Поэтому сейчас в одну из последних ночей моего пребывания в Белом доме, в одном из последних писем, которые я пишу на бланках Белого дома, я хотела бы изложить в письменном виде свое послание Вам. Я направляю его только потому, что знаю, сколь сильно мой муж заботился о мире и сколь важное место в этой его заботе, в его мыслях занимали отношения между Вами и ним.

Он не раз цитировал в своих выступлениях Ваши слова: «В следующей войне оставшиеся в живых будут завидовать мертвым». Вы и он были противниками, но вы были едины в решимости не допустить, чтобы мир был взорван. Вы уважали друг друга и могли вести дела друг с другом. Я знаю, что президент Джонсон приложит все усилия к установлению таких же отношений с Вами.

Опасность, которая тревожила моего мужа, заключается в том, что войну могут начать не столько большие люди, сколько маленькие. В то время как большие люди понимают необходимость самоконтроля и сдержанности, маленькие люди иногда руководствуются страхом и гордыней. Если бы только в будущем большие люди смогли и дальше заставлять маленьких сесть за стол переговоров, прежде чем они начнут воевать. Я знаю, что президент Джонсон будет продолжать политику контроля и сдержанности и он будет нуждаться в Вашей помощи.

Я посылаю это письмо потому, что хорошо сознаю важность отношений, которые существовали между Вами и моим мужем, а также ввиду доброты, проявленной Вами и г-жой Хрущевой в Вене. Я читала, что у нее были слезы на глазах, когда она вышла из американского посольства в Москве после росписи в книге

соболезнований. Поблагодарите, пожалуйста, ее за это.

Искренне,

Жаклин Кеннеди».

По правде говоря, прочтя это письмо, в котором ясно просматривается мысль о Джонсоне как продолжателе политики Кеннеди, вначале я подумал, что это было подсказано супруге покойного президента Макджорджем Банди или еще кем-то из помощников, перешедших к Джонсону по наследству от Кеннеди. Но знакомые Жаклин, которым у меня не было оснований не верить, сказали мне, что нет, письмо было написано ею без чьей-либо подсказки.

На этом, можно сказать, закончилась кеннедиевская глава в советско-американских отношениях – не очень продолжительная, но важная и яркая, богатая событиями и впечатлениями.

Что последовало дальше

Как уже упоминалось, Джонсон в беседе с Микояном заверил советское руководство в своей приверженности начатому при Кеннеди в сфере американо-советских отношений. И поначалу они действительно характеризовались дальнейшим прогрессом в ряде вопросов. В частности, в начале 1964 года между СССР и США была достигнута договоренность о сокращении на основе взаимного примера производства расщепляющихся материалов в военных целях. Осталась в силе и достигнутая при Кеннеди договоренность о замораживании в 1964 году военных бюджетов двух стран.

Но вскоре на советско-американские отношения стала бросать все более густую тень расширявшаяся интервенция США во Вьетнаме. Американская вовлеченность, в том числе военная, в гражданскую войну во Вьетнаме существенно расширилась еще при Кеннеди: если к моменту его прихода в Белый дом во Вьетнаме было около 800 американских военнослужащих, то к ноябрю 1963 года их число возросло до 16 тысяч. Были, однако, признаки того, что у Кеннеди появились сомнения в правильности американской линии во вьетнамских делах. Во всяком случае, позже стало известно, что за несколько дней до поездки в Техас президент поручил аппарату Совета национальной безопасности проработать все возможные варианты дальнейших действий США во Вьетнаме, «включая тот, как выбраться оттуда». Совещание для обсуждения этой проблемы было назначено им на 24 ноября, сразу после планировавшегося

возвращения из Техаса. А в разговорах в те дни с близкими ему лицами Кеннеди прямо говорил о своих планах вывода американских войск из Вьетнама после переизбрания его президентом в 1964 году.

Что произошло бы во Вьетнаме на самом деле, останься Кеннеди жив, теперь никто не скажет. Но с приходом в Белый дом Джонсона всякие разговоры о пересмотре американской линии в отношении Вьетнама прекратились. В глазах нового президента Вьетнам был тестом «американской способности справиться с провозглашенными Хрущевым национально-освободительными войнами». Достаточно ясное представление о его взглядах на этот счет дает меморандум, который Джонсон, тогда еще вице-президент, представил Кеннеди в мае 1961 года после своей поездки по странам Юго-Восточной Азии. В нем Джонсон пространно доказывал, что США должны взять на себя основное бремя борьбы против коммунизма в этом регионе, не останавливаясь перед применением силы, «иначе США неизбежно должны будут потерять Тихий океан и занять оборону на своих собственных берегах», а Тихий океан в этом случае превратится в «красное море».

И теперь, начиная с 1964 года, Джонсон на практике осуществлял то, что рекомендовал Кеннеди в 1961 году, – масштабы американской военной вовлеченности во Вьетнаме быстро нарастали, особенно после инспирированного самими США (это впоследствии было доказано в результате расследования, проведенного конгрессом США) инцидента в Тонкинском заливе в начале августа 1964 года, когда северовьетнамские торпедные катера будто бы атаковали американские военные корабли.

Расширение американской агрессии во Вьетнаме не только оказало пагубное влияние на дальнейшее развитие отношений между США и СССР, но и перечеркнуло некоторые из ранее достигнутых договоренностей, прежде всего о замораживании военных бюджетов. В значительной мере из-за Вьетнама (помимо особой деликатности предмета) не получил достаточно быстрого и энергичного развития начатый в октябре предыдущего года диалог по вопросам, касающимся стратегических вооружений. Но полностью он не прервался. С большими паузами время от времени эти вопросы затрагивались в контактах между Москвой и Вашингтоном на протяжении 1964–1966 годов.

Так, например, в августе 1964 года с американской стороны было выдвинуто предложение заморозить количества и характеристики имевшихся у сторон стратегических наступательных и оборонительных систем доставки ядерного

оружия, а также запретить разработку новых таких систем. Но Москву это предложение не могло заинтересовать, так как простое замораживание статус-кво в области стратегических вооружений было бы определенно более выгодным для США – к тому времени они все еще сохраняли серьезные преимущества перед СССР в этой области, хотя постепенно и утрачивали свое былое стратегическое превосходство. Кроме того, неприемлемым для Москвы было и то, что американское предложение предусматривало широкий контроль, включая инспекции на местах, за реализацией договоренности в случае ее достижения. Как позже признали американские представители, «идея взаимного инвентарного контроля путем инспекций в действительности была не более приемлемой для американцев, чем для русских».

Выдвижение подобных предложений свидетельствовало скорее о желании поддерживать диалог по стратегическим вооружениям, но еще не о готовности к по-настоящему серьезным переговорам с целью нахождения взаимоприемлемых решений. И действительно, как видно из рассекреченных впоследствии документов, только к концу 1966 года руководство США окончательно пришло к выводу, что наступило время для серьезных переговоров с Москвой по ограничению стратегических вооружений. В декабре 1966 года президент Джонсон согласился с предложением своего министра обороны Макнамары запросить у конгресса ассигнования на создание системы ПРО, но не расходовать их до тех пор, пока не будет «прозондирована идея проведения переговоров с Москвой об ограничении стратегических вооружений, особенно противоракетных». Провести такой зондаж поручалось Томпсону, который был вторично назначен послом США в СССР.

В январе 1967 года перед отъездом в Москву Томпсон в беседе с советским послом в Вашингтоне Добрыниным сказал, что везет с собой письмо от президента советскому премьеру А. Н. Косыгину с предложением провести конфиденциальные переговоры по ограничению стратегических вооружений, в первую очередь по вопросу о системах противоракетной обороны. Когда же Добрынин указал на необходимость одновременного обсуждения и вопроса о наступательных вооружениях, Томпсон уклонился от ясного ответа. В письме Джонсона от 27 января 1967 года, которое Томпсон привез в Москву, действительно содержалось предложение начать переговоры с обсуждения проблемы ПРО.

Далее события развивались следующим образом. В начале февраля, еще до того, как в советском руководстве состоялся

обмен мнениями по поводу предложения Джонсона, Косыгин отправился с официальным визитом в Англию. В связи с тем, что в американской прессе было разглашено содержание адресованного ему письма Джонсона, на пресс-конференции 9 февраля журналисты стали одолевать Косыгина вопросами, готов ли СССР отказаться от создания ПРО вообще или ввести какие-то ограничения на ее развертывание. Поскольку же он уехал из Москвы до обсуждения этих вопросов, Косыгин уклонился от прямых ответов на вопросы журналистов, выразив вместе с тем в общей форме мнение, что главную опасность представляет наступательное, а не оборонительное оружие. Это было истолковано на Западе как его отрицательное отношение к предложению Джонсона.

Тем временем в Москве в ходе выработки нашей позиции в связи с письмом Джонсона вырисовывалась более сбалансированная формула ответа на его предложение начать переговоры с вопроса о ПРО. Имелось в виду выдвинуть контрпредложение: обсуждать одновременно ограничения и на наступательные, и на оборонительные системы стратегического оружия. Поэтому, чтобы скорректировать превратное истолкование ответов Косыгина на пресс-конференции в Лондоне, в газете «Правда» 14 февраля был опубликован официозный материал, в котором говорилось о готовности Советского правительства обсуждать проблему предотвращения новой гонки вооружений – и наступательных, и оборонительных. В Вашингтоне был правильно понят наш сигнал, и уже 18 февраля Томпсон информировал Косыгина о готовности США обсуждать ограничения не только на оборонительные, но и на наступательные стратегические вооружения. Соответственно, в направленном в конце февраля ответе Косыгина на письмо Джонсона от 27 января говорилось о согласии Советского правительства начать доверительные переговоры с США по ограничению наступательных и оборонительных ядерных ракет.

Общей предпосылкой для вступления СССР и США в серьезные переговоры по проблеме ограничения стратегических вооружений было осознание обеими сторонами опасности бесконтрольной гонки таких вооружений и ее обременительности. Вместе с тем у каждой стороны был и свой особый побудительный мотив к таким переговорам. У США – желание предотвратить ситуацию, когда Советский Союз, напрягая все свои возможности, стал бы в чем-то поджимать США, вынуждая их корректировать свои программы сверх того, что они сами планировали. У СССР – опасения, как бы еще больше не отстать в гонке вооружений от США ввиду их более широких

материальных и технологических возможностей. Во всяком случае, мне помнится, что, когда готовился наш ответ на предложение Джонсона начать переговоры по стратегическим вооружениям, в пользу принятия этого предложения среди других высказался и министр обороны Малиновский. При этом одним из основных его аргументов был тот, что в случае ничем не ограниченного соревнования в этой области СССР может оказаться в таком положении, что при нанесении Соединенными Штатами первого ядерного удара наша способность для ответного удара будет весьма незначительной.

Тем не менее и после указанного обмена письмами между Джонсоном и Косыгиным скорого начала переговоров не последовало. В том, что касается советской стороны, в известной мере сказалась смена весной 1967 года министров обороны – вместо умершего Малиновского министром был назначен А. А. Гречко. Ему и объективно требовалось время, чтобы войти в курс дел, да и субъективно он оказался менее благосклонно, чем Малиновский, настроен вести переговоры с США по стратегическим вооружениям, особенно оборонительным.

Однако главной причиной затяжки с началом переговоров по стратегическим вооружениям была общая не благоприятствовавшая этому обстановка, связанная с продолжавшейся агрессией США во Вьетнаме, к чему в июне 1967 года добавилась фактически поддержанная Соединенными Штатами агрессия Израиля против Египта, Сирии и Иордании (об этом подробнее отдельно).

Так или иначе, когда Косыгин прибыл в конце июня в Нью-Йорк на созванную в связи с израильской агрессией сессию Генеральной Ассамблеи ООН и имел встречу с Джонсоном в Глассборо (городок между Нью-Йорком и Вашингтоном), серьезного разговора по стратегическим вооружениям у них на получилось, тем более что Джонсон и присутствовавший на беседе Макнамара снова сделали основной упор на ПРО. Правда, утверждение Киссинджера (не присутствовавшего на встрече), будто Косыгин назвал предложение об отказе от оборонительного оружия «самым абсурдным предложением, которое он когда-либо слышал», является вымыслом. Ничего подобного советский премьер не говорил да и не мог говорить, поскольку в его февральском письме Джонсону уже было дано согласие на обсуждение ограничений и оборонительных видов стратегического оружия. Не желая в тот момент и в той обстановке втягиваться в предметный разговор на тему о ПРО, Косыгин ограничился вначале буквально одной фразой: «Что касается неразвертывания систем ПРО, то могу лишь сказать, что

причина непрекращающейся гонки вооружений кроется не в оборонительном, а в наступательном оружии». А затем во второй беседе добавил к этому: «Видимо, сначала нужно, чтобы мы с вами поставили конкретную задачу по сокращению всех вооружений, включая как оборонительные, так и наступательные». В таком же ключе, но более развернуто Косыгин высказался и публично на пресс-конференции. После неполучившегося в Глассборо разговора по стратегическим вооружениям снова наступила довольно длительная пауза – до весны 1968 года.

Тем временем продолжалось советско-американское взаимодействие в выработке многостороннего договора о нераспространении ядерного оружия, который и был подписан в июле 1968 года. Такое взаимодействие в рамках многосторонних усилий было менее подвержено негативному влиянию вьетнамского и иных подобных факторов, чем двусторонние советско-американские контакты.

Первый сигнал Вашингтону о желании советской стороны возобновить диалог по проблеме стратегических вооружений был дан в выступлении Кузнецова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 мая 1968 года. А 28 июня в докладе Громыко на сессии Верховного Совета СССР было прямо сказано о готовности Советского правительства обсудить возможные ограничения и последующие сокращения стратегических средств доставки ядерного оружия – как наступательного, так и оборонительного, включая противоракеты. Вслед за этим 1 июля американской стороне была передана официальная памятная записка по этому вопросу. В тот же день президент Джонсон подтвердил готовность США вступить в такие переговоры.

В ходе последовавших за этим дипломатических контактов выяснилось, что Джонсон хотел бы сам посетить Советский Союз, чтобы на высшем уровне положить начало переговорам по стратегическим вооружениям. В этой связи снова возникли определенные сложности, поскольку в советском руководстве не было единства по поводу того, чтобы в условиях агрессии США во Вьетнаме принимать американского президента с официальным визитом в Москве. В итоге был найден компромисс: провести рабочую встречу Джонсона и Косыгина 30 сентября в Ленинграде (как бы эквивалент Глассборо). 19 августа Добрынин обговорил с государственным департаментом формат и сроки встречи; был также согласован текст совместного сообщения на этот счет, подлежавший опубликованию 21 августа. А 20 августа, как известно, советские войска вошли в Чехословакию, в связи с чем в ночь на 21 августа Раск позвонил Добрынину и сообщил об отказе

американской стороны публиковать сообщение о поездке президента Джонсона в Ленинград.

Однако негласный обмен мнениями по поводу подготовки к возможным переговорам по стратегическим вооружениям вскоре был возобновлен. В ходе этого обмена в октябре – ноябре между Вашингтоном и Москвой были согласованы два основополагающих принципа для будущих переговоров:

ограничения и сокращения стратегических вооружений должны осуществляться в комплексе, включая как наступательные, так и оборонительные системы оружия;

ограничения и сокращения стратегических вооружений должны быть сбалансированы так, чтобы ни одна сторона не могла получить какое-либо военное преимущество и чтобы безопасность обеих сторон была обеспечена в равной мере.

Более того, когда на президентских выборах в ноябре 1968 года победу одержал кандидат республиканской партии Ричард Никсон, Джонсон, которому оставалось быть президентом всего два с половиной месяца, попытался было возродить идею своей поездки в СССР для того, чтобы дать старт переговорам по стратегическим вооружениям. Однако этому замыслу решительно воспротивился Никсон, давший ясно понять и Джонсону, и советскому руководству, что он не будет считать себя связанным какими-либо договоренностями, которые могли бы быть достигнуты уходящим президентом. Это делало, конечно, бессмысленной поездку Джонсона, и она не состоялась. Начало переговоров по стратегическим вооружениям вновь отодвинулось.

Ближневосточная война 1967 года

После суэцкого кризиса 1956 года и до лета 1967 года ситуация на Ближнем Востоке при всей ее сложности не вызывала особых коллизий в советско-американских отношениях. Но 5 июня 1967 года заработала «горячая линия» между Кремлем и Белым домом – впервые с момента ее создания в 1963 году после карибского кризиса. Заработала она в связи с нападением Израиля на Египет, а затем и на Сирию. Советское руководство обратилось к американскому с настоятельным призывом принять меры к прекращению израильской агрессии, поскольку было ясно, что Израиль не мог бы решиться на нее по крайней мере без молчаливого согласия Вашингтона. Попытки Вашингтона изобразить удивление и убедить Москву в том, что действия

Израиля явились для него столь же неожиданными, как и для нее, отнюдь не развеяли уверенности советского руководства в обратном. И весьма ошибался тогдашний государственный секретарь США Раск, когда написал в своих мемуарах: «К счастью, они [русские] поверили нам и не считали нас ответственными за возникновение шестидневной войны». Это было не так. Если советское руководство на какой-то момент и сделало вид, будто поверило заверениям американского руководства, то по чисто тактическим соображениям, ибо в противном случае СССР, со своей стороны, должен был бы оказать гораздо более решительную и широкую помощь жертвам израильской агрессии, чем он мог это сделать. Да Раск, как видно, и сам не был уверен в правильности своего утверждения (содержащегося в тех же мемуарах) насчет того, что «Израиль не получал от США тайного поощрения начать войну», поскольку он сопроводил это утверждение многозначительной оговоркой: «Насколько я знаю». Ставшие известными впоследствии подлинные факты не оставили сомнений в том, что на самом деле Тель-Авив получил в неофициальном порядке благословение на свою агрессию от президента Джонсона, о чем, кстати, Раск мог не знать, так как у Джонсона были свои доверительные каналы связи с израильским руководством, в частности через члена Верховного суда США А. Фортаса.

Между тем при всей ее беспочвенности на Западе до сих пор муссируется версия, будто ближневосточная война 1967 года спровоцирована была чуть ли не Советским Союзом, который хотел, дескать, таким образом вовлечь США в арабо-израильский конфликт, устроить им на Ближнем Востоке «второй Вьетнам». О том, что послужило поводом для такой версии, и о том, как обстояло дело в действительности, и хотелось бы коротко рассказать, поскольку, будучи в то время заведующим Отделом США, я был активно вовлечен в происходившее в Москве вокруг событий на Ближнем Востоке.

Нагнетание обстановки началось с того, что в начале мая 1967 года израильские официальные лица стали публично угрожать Сирии военными репрессалиями, если с сирийской территории не прекратится проникновение палестинских террористов и диверсантов в Израиль. 8 мая сирийцы информировали египетское руководство о том, что они располагают сведениями о концентрации израильских войск на границе с Сирией для нанесения удара по ее территории. 12 мая американским агентством Юнайтед Пресс было распространено сообщение о сделанном высокопоставленным израильским деятелем (по разным данным, это был либо начальник

Генерального штаба Рабин, либо начальник военной разведки Ярив) заявлении, что Израиль осуществит военную операцию «с целью свержения военного режима в Дамаске, если сирийские террористы будут продолжать диверсионные рейды в Израиль». Как объяснял потом президент Египта Гамаль Абдель Насер, именно эта израильская угроза сыграла решающую роль в принятии египетским руководством решения перебросить войска на Синайский полуостров, чтобы в случае нападения Израиля на Сирию прийти ей на помощь в соответствии с египетско-сирийским договором о взаимной помощи от 6 ноября 1966 года. В качестве дополнительного аргумента в обоснование своего решения о переброске войск Насер ссылался впоследствии и на то, что сведения о концентрации израильских войск на сирийской границе были получены египтянами не только от сирийской, но и от советской стороны.

Действительно, как потом выяснилось, 13 мая представитель КГБ в Каире в соответствии с существовавшей практикой обмена информацией между советской и египетской разведками передал египтянам полученное им из Москвы сообщение о наличии сведений относительно концентрации израильских войск (10–12 бригад) на сирийской границе. Эти сведения, поступившие в Москву то ли из той же Сирии, то ли из Ливана, были переданы египетской разведке, повторяю, в рабочем порядке по усмотрению руководства советской разведки, без специальной на то санкции политического руководства страны. Как объяснял позже тогдашний начальник Первого главного управления КГБ Сахаровский, уверенности в достоверности переданной египтянам информации у советских разведчиков не было (не исключено, что она могла быть подброшена самими израильтянами для запугивания Сирии), но они все же сочли необходимым поделиться ею со своими коллегами-египтянами. В глазах же египетского руководства переданная по линии разведки информация могла приобрести дополнительный вес в связи с тем, что, по египетской версии, эта информация в тот же день была доведена советским послом в Каире Пожидаевым и до сведения руководства МИД Египта. Более того, в тот же день, 13 мая, нечто подобное было сказано и заместителем министра иностранных дел СССР Семеновым членам египетской парламентской делегации во главе с Садатом, которая находилась в Москве проездом на обратном пути из Северной Кореи. Именно эта трехкратная передача египтянам не совсем точной, как затем оказалось, информации о концентрации израильских войск вблизи Сирии преподносилась на Западе как свидетельство того, что Москва сознательно подталкивала Каир к конфронтации с

Израилем.

Между тем мне достоверно известно, что никаких указаний послу Пожидаеву из Москвы на этот счет не давалось, и если он продублировал египетскому МИДу ту информацию, которую представитель КГБ передал по своей линии, о чем мог рассказать послу, то это было сделано по собственной инициативе Пожидаева. То же самое, думаю, случилось и с Семеновым, который имел обыкновение перед встречами с иностранными представителями интересоваться у «ближних соседей»[3], как на мидовском жаргоне называлась разведслужба КГБ, нет ли у них чего-либо, что бы он мог использовать в своих беседах.

Когда 16 мая, уже после того как египетские войска начали перебрасываться на Синай, министр иностранных дел Египта Риад и военный министр Бадран обратились через советского посла с пожеланием получить из Москвы оценку положения дел на сирийской границе с Израилем, в данном им 20 мая ответе тоже упоминалось о наличии разведывательных данных о концентрации израильских войск на границе и Сирией, но подчеркивалось, что эти данные нуждаются в проверке.

Во всяком случае, нет ни фактических, ни логических оснований говорить, что Советский Союз был заинтересован в подталкивании Египта к столкновению с Израилем и более широком вовлечении США в ближневосточные дела. СССР, наоборот, всегда боялся этого. И то, что вслед за начавшейся 15 мая переброской египетских войск на Синай египетское правительство потребовало частичного отвода находившихся на египетско-израильской границе войск ООН якобы, как полагали на Западе, с ведома, а то и по наущению СССР, тоже не соответствовало действительности. Я помню, с какой озабоченностью было воспринято известие об этой акции Египта советским руководством. А если советский представитель в ООН поддержал требование Египта, то это было сделано только исходя из соображений солидарности с Египтом в более широком плане, а не в плане одобрения данного конкретного шага.

С еще большей тревогой в Москве было воспринято объявленное Насером 22 мая решение (принятое опять-таки без консультации с нами) о закрытии Тиранского пролива для прохода израильских судов, так как было ясно, что это серьезно осложнит и без того непростую ситуацию. Кстати, Насер позже говорил, что он не собирался закрывать Тиранский пролив, как и не требовал первоначально отвода войск ООН из района Шарм эль-Шейха на берегу пролива; но когда генеральный секретарь ООН У Тан в ответ на требование Египта о частичном отводе войск ООН с египетско-израильской границы принял решение об

их полном выводе с Синая, включая Шарм эль-Шейх, и туда вошли египетские войска, то возникла психологически невыносимая для Каира ситуация, когда израильские суда проходили бы буквально на глазах у египетских войск.

Во время пребывания в Москве 25–28 мая военного министра Египта Бадрана, по его собственному признанию, Косыгин и другие советские официальные лица всячески предостерегали египтян от шагов, способных привести к дальнейшему осложнению ситуации. Правда, эти настойчивые предостережения советского руководства, по свидетельству сопровождавших Бадрана представителей египетского МИДа, были в известной мере ослаблены следующим казусом. Провожавший Бадрана на аэродроме министр обороны СССР Гречко в тосте «на посошок» храбро заявил, что если Израиль нападет на Египет и США вступят в войну на его стороне, то «мы вступим в нее на вашей стороне». Учитывая, что Гречко стал министром обороны всего за пару месяцев до этого и не был силен в вопросах большой политики, его браваду на аэродроме, как Гречко сам сказал позже египетскому послу в Москве Галебу, не следовало, конечно, принимать всерьез. Тем более что не только Косыгин в беседах с Бадраном, но и другие советские руководители в ряде посланий Насеру (20 и 26 мая, 1 июня) предостерегали его от опрометчивых шагов, чтобы не давать поводов Израилю для развязывания вооруженного конфликта. С такими же предостережениями обращались советские руководители в те дни и к правительствам Израиля и США. Раск в своих мемуарах в этой связи пишет: «Поскольку Советы подначивали арабов, то мы были несколько удивлены, когда в конце мая Советы стали проявлять большую озабоченность по поводу возможности возникновения войны». Но удивляться этой озабоченности можно было, лишь думая, что СССР «подначивал» арабов к войне, а это, повторяю, совершенно не соответствовало действительности. Да, как видно на примере с Гречко, советскими представителями допускались «ляпы», которые при желании можно было толковать превратно, но они не могут служить доказательством того, чего не было на самом деле, – СССР ни в 1967 году, ни в какой-либо другой момент не благословлял арабов на войну с Израилем.

Между тем настроения в Вашингтоне к концу мая 1967 года претерпели существенную трансформацию. До закрытия Египтом Тиранского пролива для израильских судов в Вашингтоне преобладала точка зрения Раска, разделявшаяся и президентом Джонсоном, что в случае развязывания войны Израилем США окажутся в весьма затруднительном положении. Сделать то, на что в 1956 году решились Эйзенхауэр и Даллес, – открыто

выступить против израильской агрессии Джонсон наверняка не сможет, так как неизбежная в этом случае утрата им поддержки еврейской общины США лишила бы его всяческих шансов на переизбрание в 1968 году, и без того серьезно подорванных войной во Вьетнаме. Поддержка же Израиля, если он первым нападет на арабов, причем без явного повода к этому с их стороны, тоже грозила бы серьезными внутриполитическими осложнениями в условиях, когда американское общество было расколото вьетнамской войной, не говоря уже о подрыве позиций США в арабском мире. Поэтому до закрытия Тиранского пролива на политическом светофоре Белого дома израильтянам виделся красный свет.

Но вот Тиранский пролив закрыт. Как и опасались в Москве, это подтолкнуло Джонсона к пересмотру своей позиции. Во-первых, потому, что еще в 1957 году, когда после суэцкого кризиса США побуждали Израиль вывести свои войска с египетского Синая, они заверили израильское правительство в признании ими права Израиля прибегнуть к силе в случае закрытия Египтом Тиранского пролива для израильских судов. Во-вторых, пересмотру Джонсоном своей позиции под влиянием произраильского лобби в его окружении во многом способствовало то, что, согласно заключению Пентагона и ЦРУ, Израиль был способен самостоятельно, без прямой поддержки извне, нанести поражение Египту и Сирии в течение 7-10 дней.

В результате во время беседы с министром иностранных дел Израиля Эбаном 26 мая Джонсон, продолжая говорить о предпочтительности мирного урегулирования конфликта из-за Тиранского пролива, вместе с тем употребил для передачи израильскому руководству в качестве ключевой следующую формулу: «Израиль не останется в одиночестве, если он не решит действовать в одиночку». Эта формула, подсказанная Раском, который надеялся, что она должна оказать сдерживающее влияние на Тель-Авив, прозвучала в устах Джонсона достаточно двусмысленно – во всяком случае, в Тель-Авиве ее расшифровали таким образом, что у США больше нет категорических возражений против принятия Израилем самостоятельного решения о начале войны. Поскольку, однако, среди израильских руководителей возникли разные толкования формулы Джонсона, то для уточнения, означает ли она смену красного цвета если не на зеленый, то на желтый, позволяющий Израилю самому принять решение, в Вашингтон 30 мая вылетел руководитель израильской разведки Моссад генерал Эмет. Там он имел беседы с директором ЦРУ Хелмсом и министром обороны Макнамарой, а по некоторым данным – и с президентом Джонсоном. Во всяком

случае, в письме Джонсона израильскому премьеру Эшколу от 3 июня содержалась следующая фраза, вписанная, как видно из сохранившегося в архиве черновика, собственноручно президентом: «Мы провели завершающий и полный обмен мнениями с генералом Эметом». Смысл же этой фразы раскрыл сам Эмет, который по возвращении в тот же день, 3 июня, в Тель-Авив в своем докладе кабинету следующим образом суммировал суть бесед в Вашингтоне: «Мне было дано понять, что американцы благословят нас, если мы сумеем разнести Насера вдребезги».

Из опубликованных впоследствии материалов понятно, что окончательное решение о начале войны израильский кабинет принял 4 июня, и утром 5 июня Израиль нанес сокрушительный удар по Египту. Было заведомой ложью, когда Эшкол в тот день в своем послании Косыгину утверждал, будто Израиль подвергся нападению со стороны Египта. Сверхлицемерием было то, что аналогичное сообщение израильтяне передали и американскому правительству (явно чтобы создать алиби Вашингтону). Лживым, как очень скоро убедился весь мир, было и сделанное в первый день войны заявление израильского премьера об отсутствии у Израиля территориальных притязаний. Захватив в течение шестидневной войны египетский Синай, сирийские Голанские высоты, населенный палестинцами Западный берег реки Иордан и район Газы, Израиль в течение долгого времени продолжает удерживать эти территории, кроме Синая, который он вернул Египту только в 1979 году по кэмп-дэвидскому договору.

В результате начиная с 1967 года Ближний Восток остается одной из самых «горячих точек» нашей планеты, периодически вызывая осложнения в советско-американских, а затем в российско-американских отношениях.

Глава 7. РАЗРЯДКА И ЕЕ УГАСАНИЕ

Избрание в ноябре 1968 года президентом США Ричарда Никсона не вызвало в Москве радости, поскольку он был хорошо известен по своей прежней политической карьере не просто как консервативный деятель, а как воинствующий антикоммунист. Но, придерживаясь принципа иметь дела с тем президентом США, который волею судьбы оказывается в Белом доме, советское руководство еще до вступления Никсона в должность неофициально дало ему знать (через Генри Киссинджера, его будущего помощника по вопросам национальной безопасности), что Москву не очень заботит его прошлый послужной список, ее больше интересует, готов ли он продемонстрировать реальный подход к международным делам. При этом было подчеркнуто особое значение, придаваемое советским руководством проблемам разоружения. А в день вступления Никсона в должность, 20 января 1969 года, в Москве публично заявили о готовности советской стороны сесть за стол переговоров по вопросам «взаимных ограничений и последующих сокращений стратегических средств доставки ядерного оружия, включая оборонительные системы», как только к этому будет готова новая американская администрация.

Однако американская сторона явно не торопилась вступать в переговоры с Советским Союзом. 27 января Никсон заявил, что он за переговоры по стратегическим вооружениям, но при условии, что они будут проходить «в соответствующем контексте». Такую же уклончивую позицию он занял и в состоявшейся 17 февраля беседе с советским послом Добрыниным, дав ясно понять, что начало переговоров по стратегическим вооружениям американская сторона увязывает прежде всего со свертыванием советской военной помощи Северному Вьетнаму. Один из первых исследователей истории переговоров по ограничению стратегических вооружений (ОСВ) Джон Ньюхауз писал по этому поводу: «Из двух президентов Линдон Джонсон был большим сторонником переговоров по ОСВ, подчас проявляя даже излишнее рвение. Ричард Никсон вначале проявлял подозрительность в отношении переговоров по ОСВ и был склонен рассматривать их как нечто стоящее только в том случае, если русские окажутся полезными в других вопросах, таких как Вьетнам или Ближний Восток». Подобной линии администрация Никсона придерживалась в течение нескольких месяцев, одновременно продвигая через конгресс решение о начале работ по созданию в США системы противоракетной обороны

«Сейфгард» в расчете на то, что это явится сильным козырем на переговорах в СССР, когда они все же начнутся.

Между тем в США росли настроения в пользу скорейшего начала переговоров по ОСВ и против строительства системы ПРО. Создавалась ситуация, когда решение по программе «Сейфгард», причем в урезанном виде, удалось провести через сенат США лишь одним голосом председательствовавшего в нем вице-президента (что в практике случается чрезвычайно редко, в тех случаях, когда голоса сенаторов разделяются поровну). К скорейшему началу переговоров с СССР по стратегическим вооружениям подталкивали Вашингтон и союзники США. Под воздействием этих факторов Никсон и Киссинджер решили скорректировать позицию: не тянуть дальше с самим началом переговоров, а вместо этого «дозировать» продвижение на переговорах в зависимости не только от нахождения взаимоприемлемых решений по существу обсуждаемых вопросов, но и от «поведения» СССР в других вопросах, прежде всего опять-таки во вьетнамском.

ОСВ-1, начальный этап

Первый раунд советско-американских переговоров по ограничению стратегических вооружений начался в Хельсинки 17 ноября 1969 года. Перед отъездом на переговоры советскую делегацию, которую возглавлял заместитель министра иностранных дел В. С. Семенов, для напутственной беседы принял Л. И. Брежнев. Особых указаний по существу проблемы в дополнение к утвержденным директивам мы от него не услышали, но всем нам крепко запомнился его наказ «не забывать про Лубянку», то есть не выдать в ходе переговоров невзначай каких-то наших военных секретов. Это оказало сковывающий эффект, особенно на членов и сотрудников советской делегации от Министерства обороны СССР, которые и без того чувствовали себя на переговорах поначалу не очень уютно. За одним-двумя исключениями им впервые пришлось участвовать в переговорах с американскими представителями, к тому же по столь деликатным вопросам.

В этой связи вспоминается такой забавный эпизод. В первый день переговоров, перед началом официального заседания, в ходе знакомства членов двух делегаций друг с другом кто-то из американцев предложил в память об этой знаменательной дате поставить свои автографы на долларовых купюрах и чтобы каждый сохранил их в качестве сувенира. У меня эта сувенирная

купюра сохранилась по сей день – на ней есть росписи всех членов американской делегации (Смита, Томпсона, Брауна, Нитце, Аллисона) и четырех гражданских членов советской делегации (Семенова, Плешакова, Щукина, Корниенко), но нет росписей двух военных членов делегации – Огаркова и Алексеева. Они уклонились.

Благодаря предостережению Брежнева насчет Лубянки в выигрыше оказались историки – будущие исследователи процесса переговоров по стратегическим вооружениям. Буквально каждое слово на этих переговорах (во всяком случае, до второй половины 80-х годов) стенографически фиксировалось, и все это сохранилось в архивах.

Что касается существа дела, то обе делегации прибыли на первый раунд переговоров без каких-то конкретных предложений по ограничению и сокращению стратегических вооружений. Это было впереди. Первый же раунд носил скорее «пристрелочный», исследовательский характер: обе стороны прощупывали готовность друг друга воспринять принцип паритета, другими словами – готовность каждой из сторон признать наличие у другой стороны способности нанести ей уничтожающий удар в ответ на ядерное нападение.

И уже на этом этапе, когда еще не фигурировали какие-либо цифровые показатели, выявилось весьма существенное расхождение в подходе сторон к определению баланса стратегических сил, которое в течение длительного времени оставалось серьезным осложняющим моментом в поиске взаимоприемлемых конкретных решений по ограничению и сокращению стратегических вооружений. Расхождение это касалось самого определения: какое ядерное оружие считать стратегическим? Советская сторона настаивала на том, что под это определение должно попадать всякое ядерное оружие, способное достичь территории другой стороны, то есть и так называемые ядерные средства передового базирования (ЯСПБ), которые приобретают такую способность в силу их географического размещения. Американская же сторона категорически возражала против этого, поскольку советские ядерные средства аналогичной дальности не подпадали бы под определение стратегических, как не достигающие территории США, и тем самым не подлежали бы регулированию, а это затрагивало бы безопасность европейских союзников США по НАТО. При этом американцы делали вид, будто советская постановка вопроса настолько безосновательна, что явилась для них полной неожиданностью. «В Вашингтоне, – писал Ньюхауз, – никому и в голову не приходило ни в какой момент – ни теперь,

ни в дни Джонсона, – что эти виды оружия [ЯСПБ], которые США считают тактическими, а не стратегическими, будут фигурировать на переговорах по ОСВ». В действительности же это не так. Как явствует из рассекреченных в 1990 году документов 1968 года, связанных с подготовкой администрации Джонсона к началу переговоров с СССР по ОСВ, американская сторона еще тогда предвидела возможность постановки Советским Союзом вопроса об американских ядерных средствах передового базирования в Европе как подпадающих под определение стратегического оружия ввиду того, что они достигали советской территории.

Трудности, возникшие с самого начала при определении общей исходной точки, необходимой для нахождения возможных взаимоприемлемых решений по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), привели к тому, что более предметным и более обещающим становился обмен мнениями по вопросам, касавшимся ограничения систем противоракетной обороны (ПРО). Уже на втором раунде переговоров в начале 1970 года советская сторона предложила приступить к конкретному обсуждению возможных вариантов решения вопроса о системах ПРО: 1) развертывание широких систем ПРО; 2) развертывание ограниченных систем ПРО или 3) полный отказ от развертывания систем ПРО. Сама советская сторона считала предпочтительным нечто среднее между вторым и третьим вариантом. При этом мы выразили готовность заключить отдельное соглашение по ПРО, не дожидаясь, пока удастся найти общий язык по стратегическим наступательным вооружениям.

Но и обсуждение вопросов, касающихся ПРО, не получало быстрого развития. Во-первых, ввиду того, что Вашингтон продолжал вообще «притормаживать» на этих переговорах, по-прежнему пытаясь увязывать их с вьетнамской проблемой. Во-вторых, в отличие от администрации Джонсона, которая делала главный упор именно на ограничении систем ПРО, а не наступательных стратегических вооружений, администрация Никсона обусловливала начало предметной работы над договором по ограничению систем ПРО одновременным согласованием ограничений на наступательные вооружения, категорически отказываясь вместе с тем обсуждать ядерные средства передового базирования. В результате переговоры пробуксовывали в течение всего 1970 года. Просвет появился лишь в начале 1971 года, после того как США согласились с тем, что в порядке компенсации за наличие у них ядерных средств передового базирования СССР вправе иметь большее, чем у США, количество межконтинентальных ракет.

Соответственно, 20 мая 1971 года было опубликовано совместное советско-американское сообщение о том, что правительства СССР и США согласились сконцентрироваться в текущем году на выработке соглашения об ограничении развертывания противоракетных систем и что при заключении соглашения по ПРО они договорятся о некоторых мерах в отношении ограничения стратегических наступательных вооружений. В тот же день состоялся обмен идентичными письмами между советским премьером Косыгиным и президентом Никсоном, в которых в более развернутом виде были зафиксированы три принципиальных положения: 1) ограничения на системы ПРО должны быть одинаковыми для обеих сторон; 2) Договор по ПРО и временное соглашение по СНВ должны быть подписаны одновременно; 3) в основу соглашения по СНВ должен быть положен принцип замораживания этих видов вооружений на существовавшем у каждой стороны уровне.

Поскольку же у Советского Союза к тому времени количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая незавершенное строительство пусковых установок для них, было бльшим, чем у США, тем самым обеспечивалась в несколько закамуфлированном виде положенная ему компенсация.

Только после этого на переговорах началась практическая работа над текстами соответствующих документов. И при всей важности согласованных принципиальных положений наполнение их конкретным содержанием было не менее трудным и требующим немалого времени процессом.

К тому же на позиции советской стороны постепенно стал отрицательно сказываться один чисто личностный момент. Если до каких-то пор Брежнев сам предпочитал, чтобы переписка с американскими президентами велась от имени советского премьера, то теперь он начал ревниво относиться к тому, что Никсон присылал письма Косыгину и, соответственно, ответные письма ему тоже направлялись от имени Косыгина. Из-за этого подчас случалось так, что только по этой причине, а не по деловым соображениям рассмотрение вопросов, тормозивших продвижение вперед на переговорах и становившихся предметом переписки между столицами, без нужды задерживалось.

Поэтому в интересах дела пришлось дать понять американцам в неофициальном порядке, «кто есть кто» в Москве. И вот 5 августа 1971 года Никсон впервые направил письмо на имя Брежнева как «Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза» (именно так американцы упорно именовали его и впредь, пропуская слова «Центрального

комитета»). В этом письме Никсон изложил свой общий подход к отношениям с Советским Союзом и коснулся ряда конкретных проблем, включая проблему ограничения стратегических вооружений. После этого продвижение на переговорах по ОСВ ускорилось, особенно вслед за тем, как 12 октября было объявлено о намеченном на май 1972 года визите президента Никсона в СССР.

Тем не менее к началу 1972 года ряд важных вопросов, касавшихся Договора по ПРО и Временного соглашения по СНВ, оставался все еще несогласованным. Кроме того, к визиту Никсона в Москву стороны условились подготовить для подписания целую серию других соглашений, в том числе такой документ принципиального значения, как «Основы взаимоотношений между СССР и США». В работу над этим документом с американской стороны был вовлечен очень ограниченный круг лиц из аппарата Белого дома во главе с Киссинджером. Для окончательного согласования этого документа и остававшихся несогласованными вопросов по ОСВ был организован закрытый визит Киссинджера в Москву во второй половине апреля.

«В ядерный век мы обречены на сосуществование»

Если для советской стороны главным было согласование с Киссинджером оставшихся вопросов по ограничению стратегических вооружений и проекта документа «Основы взаимоотношений между СССР и США», то сам он, как выяснилось, прибыл в Москву с твердым наказом Никсона практически не обсуждать никаких других вопросов до тех пор, пока ему не удастся добиться от советского руководства согласия оказать давление на Ханой для прекращения войны во Вьетнаме на приемлемых для США условиях. Это создавало тупиковую ситуацию, так как Советский Союз, сам желая быстрейшего окончания войны во Вьетнаме, вместе с тем не был готов да и не мог навязывать вьетнамскому руководству американские условия ее завершения.

Тем не менее во время пребывания Киссинджера в Москве все же удалось существенно продвинуться вперед по интересующим нас вопросам. Прежде всего, было окончательно определено, что, согласно Договору по ПРО, каждой из сторон будет разрешено развернуть противоракетную оборону лишь двух ограниченных районов: по одному вокруг столиц и по одному району размещения МБР. Остался не до конца согласованным только

вопрос о допустимом расстоянии между двумя разрешенными районами ПРО – это имело определенное значение с точки зрения того, чтобы эти два района не стали «ядром» для развертывания в последующем более широкой системы ПРО. Были согласованы также продолжительность Временного соглашения по ограничению СНВ-5 лет и допустимое количество баллистических ракет на подводных лодках – не более 950 единиц у каждой стороны.

Вполне успешно завершилась работа над текстом «Основ взаимоотношений между СССР и США». В этом документе впервые была зафиксирована общая убежденность СССР и США в том, что в ядерный век не существует иной основы для поддержания отношений между ними, кроме мирного сосуществования. В нем провозглашалась также их решимость сделать все возможное для недопущения военных конфликтов между ними и для предотвращения возникновения ядерной войны.

Признание Соединенными Штатами принципа мирного сосуществования в качестве единственно возможной основы для взаимоотношений с Советским Союзом – вопреки тому, что еще незадолго до этого Никсон напрочь отвергал такую идею, – явилось результатом осознания им самим и Киссинджером того фундаментального факта, что в условиях, когда СССР превратился в сверхдержаву, сопоставимую по своей мощи с США, последние, как выразился Киссинджер, «обречены на сосуществование» с ним. Опасаясь того, что в правительстве США найдутся те, кто воспротивится подобным «революционным» изменениям в позиции США, Киссинджер держал работу над этим документом в строгом секрете, в том числе от государственного департамента (и просил об этом нас). Было условлено изобразить дело таким образом, будто этот документ появился уже в ходе визита Никсона в СССР. Правда, как я узнал потом, госсекретаря Роджерса Никсон ознакомил с уже согласованным с советской стороной текстом документа в самолете по пути в Москву в мае 1972 года. Но другие работники госдепартамента, включая заместителя Роджерса, в ведение которого входил СССР, Хилленбрандта, оставались в неведении до последнего момента. Хилленбрандт увидел документ буквально за полчаса до его подписания. Это происходило у меня на глазах. Он пытался что-то говорить Роджерсу, будучи явно не согласен с чем-то, но тот только развел руками – такова, мол, воля президента.

Сравнительно быстрой доработке текста «Основ взаимоотношений» во время пребывания Киссинджера в Москве в апреле отчасти помогло одно забавное обстоятельство. С

американской стороны работать над этим текстом он поручил своей правой руке по советским делам Хельмуту Сонненфельду, а с советской стороны это было поручено мне. При этом Киссинджер попросил меня организовать работу таким образом, чтобы Сонненфельд был занят этим делом именно в то время, когда он, Киссинджер, будет обсуждать с Громыко ближневосточные дела. Как я понял, Киссинджер не хотел, чтобы Сонненфельд присутствовал на этом обсуждении ввиду его явно сионистского настроя.

И вот, когда мы с Сонненфельдом сели работать над текстом «Основ взаимоотношений», я, памятуя о просьбе Киссинджера, старался не очень форсировать этот процесс, но Сонненфельд, словно чувствуя какой-то подвох, всячески стремился ускорить нашу работу, чтобы побыстрее перебазироваться туда, где проходила беседа Громыко с Киссинджером. Ради этого он в ряде случаев с большей готовностью соглашался с моими предложениями по тексту обсуждаемого документа, чем это было бы, я думаю, при других обстоятельствах. Получилось так, что мы управились с порученным нам делом часа за полтора-два, намного раньше, чем наши шефы закончили обсуждение ближневосточной проблемы. И такие казусы случаются в дипломатической практике.

Едва ли не самым трудным оказалось согласовать совместное советско-американское сообщение о пребывании Киссинджера в Москве, которое решено было опубликовать, несмотря на первоначально закрытый характер его визита. Киссинджер, не добившись многого по Вьетнаму, настаивал на том, чтобы из сообщения было по крайней мере видно, что вьетнамская проблема занимала существенное место в его переговорах в Москве. Это, однако, вызывало возражения со стороны некоторых членов советского руководства. После длительных препирательств между Громыко и Киссинджером был согласован следующий мало о чем говорящий текст: «С 20 по 24 апреля в Москве находился д-р Генри А. Киссинджер, помощник президента США по делам национальной безопасности, для бесед с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и министром иностранных дел А. А. Громыко. Обсуждения касались важных международных проблем (намек на Вьетнам. – *Г. К.*), а также двусторонних дел в порядке подготовки к переговорам между президентом Никсоном и советскими руководителями в мае с. г. Обсуждения были откровенными и полезными».

Однако, когда этот текст был представлен на утверждение Политбюро ЦК КПСС (в те времена утверждению Политбюро подлежали даже менее значительные документы, например,

поздравительная телеграмма по случаю дня рождения какого-нибудь короля), он снова вызвал возражения, прежде всего со стороны Н. В. Подгорного, бывшего тогда Председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть номинальным главой государства. Текст, в частности его последняя фраза, показался Подгорному звучащим слишком позитивно. Дело дошло до того, что он начертал на представленном тексте свое прямое «против». Это был из ряда вон выходящий случай – обычно возникавшие разногласия среди членов Политбюро старались устранить без того, чтобы их следы оставались на бумаге. И хотя остальные члены Политбюро проголосовали «за», Брежнев все же поручил Громыко еще раз «пройтись» по нему с Киссинджером, чтобы по возможности учесть возражения Подгорного.

В конечном счете Киссинджер согласился опустить фразу насчет «откровенности и полезности» состоявшихся обсуждений, но категорически воспротивился другим предложенным нами изменениям, особенно перестановке на второе место упоминания международных проблем. Завершилась тяжба нашим согласием на то, чтобы английский текст сообщения остался практически без изменений (за исключением последней фразы). Русский же текст был несколько подкорректирован, как бы за счет перевода, чтобы потрафить Подгорному. А чтобы избежать упреков по этому поводу со стороны Киссинджера, на зарубежную аудиторию по каналам ТАСС был передан согласованный с ним английский текст, а не точный перевод с подправленного русского.

Занимаясь этой «внутридипломатической» операцией, необходимость в которой возникла из-за позиции Подгорного, я вспомнил другой связанный с ним же эпизод. В 1960 году он, тогда в качестве первого секретаря ЦК КП Украины, вместе с Хрущевым и своим белорусским коллегой Мазуровым приезжал в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН[4]. В один из дней они вдвоем с Мазуровым побывали в Вашингтоне – просто посмотреть город. Во время обеда в своем кругу в посольстве Подгорный сказал: «Трудная у вас, дипломатов, работа, я бы сроду не мог стать дипломатом». На это Мазуров заметил: «Смог бы, если бы партия приказала». Но Подгорный стоял на своем: «Нет, не смог бы, у меня нет данных для такой работы». Мазуров продолжал: «А вот Епишев был у тебя секретарем обкома, теперь же посол в Югославии». И тут последовало прозвучавшее очень искренне восклицание Подгорного: «Э, сказал, Епишев – так то ж культурный человек».

И вот теперь Подгорный, который ранее вполне самокритично оценивал отсутствие у него необходимых данных

для дипломатической работы, счел возможным безапелляционно судить о вопросах, разобраться в которых ему было явно не под силу.

В связи с тайным поначалу визитом Киссинджера в Москву вспоминается еще один любопытный эпизод. Визит этот был тайным не только для внешнего мира, но и для посла США в СССР Дж. Бима. Контакт с Вашингтоном Киссинджер поддерживал не через посольство, а с помощью радиостанции на борту американского самолета, на котором он прибыл в Москву. Но часа за два до отлета из Москвы Киссинджер попросил меня привезти Бима к нему в особняк на Ленинских горах. Позвонив Биму, я попросил его незамедлительно прибыть в МИД «по весьма срочному делу», а встретив его у здания МИДа, предложил проследовать на Ленинские горы, сказав, что там его желает видеть «высокопоставленное американское лицо». Как мне показалось, его это не очень удивило, и он спокойно, без каких-либо вопросов, отправился вместе со мной. А уже после беседы с Киссинджером Бим признался мне, что, хотя ему не было известно, что в Москве находится именно Киссинджер, от американских разведчиков, работавших под крышей посольства, он знал, что они засекли функционировавшую в Москве, в районе Внукова, американскую радиостанцию, осуществлявшую связь с Вашингтоном. Поэтому он догадывался, что здесь находится какой-то тайный визитер.

В ходе апрельского посещения Киссинджером Москвы подготовка документов к намеченному на конец мая визиту в СССР президента Никсона была в основном завершена, но сам этот визит чуть было не сорвался из-за вьетнамских дел. Вскоре после отъезда Киссинджера из Москвы США активизировали военные действия в Южном Вьетнаме и возобновили нанесение бомбовых ударов по Северному Вьетнаму, в том числе по портам, в результате чего пострадали и находившиеся там советские торговые суда. Подгорный и некоторые другие члены советского руководства считали неприемлемым осуществление визита Никсона в СССР в подобных условиях. Но верх одержала точка зрения тех, кто не считал разумным из-за этого отказываться от открывавшейся возможности добиться перемен к лучшему в советско-американских отношениях – и в концептуальном плане, имея в виду готовность Никсона принять принцип мирного сосуществования, и в практическом плане, прежде всего в деле сдерживания гонки вооружений.

И действительно, подписанные в ходе визита Никсона в СССР в 1972 году документы во многом разрядили международную обстановку и положили начало нелегкому пути к окончанию

«холодной войны». Между прочим, первым в те дни было подписано с советской стороны Подгорным, а с американской Никсоном Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды – так что внимание к вопросам экологии стало проявляться не сегодня и не вчера. Тогда же Косыгин и Никсон подписали Соглашение о сотрудничестве между СССР и США в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, в соответствии с которым в 1975 году была осуществлена стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлона» с взаимным переходом членов экипажей. В связи с подготовкой и осуществлением этого совместного проекта мне посчастливилось познакомиться практически со всеми советскими космонавтами и со многими американскими астронавтами, что нашло отражение и в помещенных в этой книге фотоиллюстрациях.

Совершенно особое место среди подписанных в мае 1972 года документов, наряду с «Основами взаимоотношений между СССР и США», занял Договор об ограничении систем противоракетной обороны – о нем особый разговор.

Договор по ПРО: «Что в нем такого грандиозного?»

Этот вопрос часто задавал впоследствии президент Рейган, когда задумал пустить Договор по ПРО под откос ради осуществления своей программы «звездных воин».

К тому времени, когда был заключен Договор по ПРО, уже действовали подписанные в течение предшествовавшего десятилетия четыре многосторонних соглашения, касающихся ядерного оружия: о запрещении ядерных взрывов в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963 г.), о запрещении размещать ядерное и другое оружие массового уничтожения в космосе (1967 г.), о нераспространении ядерного оружия (1968 г.) и о запрещении размещать ядерное и другое оружие массового уничтожения на дне морей и океанов (1971 г.).

Выработанные по инициативе и благодаря настойчивым усилиям Советского Союза, все эти соглашения – каждое в отдельности, а тем более вместе взятые – имели очень важное значение. Они были первыми свидетельствами осознания человечеством необходимости остановить расползание ядерной чумы по земному шару и предотвратить ее проникновение в космос.

Однако при всей их важности ни одно из этих четырех

соглашений не препятствовало количественному наращиванию ядерного оружия теми пятью государствами, которые уже успели обзавестись им.

И вот в 1972 году две наиболее мощные державы договорились поставить определенные пределы количественному наращиванию своих стратегических наступательных ракетно-ядерных вооружений и – что особенно важно – свести к минимуму свои стратегические оборонительные системы.

Договориться обо всем этом было ох как непросто и нелегко. Сказывались в первую очередь чисто объективные трудности, связанные, в частности, с необходимостью найти общие знаменатели при всех различиях в структурах стратегических вооружений сторон, объясняемых историческими, географическими, технологическими и иными причинами. Не меньшими, а то и большими, были трудности субъективного, в том числе психологического, характера. Ведь руководителям и представителям двух держав пришлось впервые обсуждать и решать такие вопросы, касающиеся систем оружия, сведения по которым до этого оберегались каждой стороной пуще зеницы ока.

Особенно сложным было преодоление психологического барьера именно в части, касающейся выработки Договора по ПРО. Это и понятно: ведь оборона страны испокон веков считается святым делом, как же можно отказаться от своего права на защиту?

Грандиозность Договора по ПРО в том-то и состоит, что в нем нашли воплощение государственная мудрость и политическое мужество тех, кто сумел понять и открыто, перед своими народами и перед всем миром, признать, что в ракетно-ядерный век единственно разумным и наилучшим из возможных – впредь до ликвидации ядерного оружия как такового – способов защититься от этого оружия является взаимный отказ от защиты, то есть от создания территориальных систем противоракетной обороны страны.

При кажущейся парадоксальности такого вывода он вполне доступен пониманию каждого, кто искренне желает разобраться в существе вопроса. А существо это заключается в том, что при отсутствии территориальных противоракетных систем каждая сторона отдает себе ясный отчет в следующем: если бы она нанесла ядерный удар по другой, то даже ослабленный ответный удар принесет ей неприемлемый ущерб – победителя в войне не будет. Создание же одной стороной широкомасштабной системы ПРО неизбежно порождало бы у другой опасение, что противник рассчитывает в случае нанесения им внезапного первого ядерного удара ослабить затем с помощью имеющейся у него широкой

системы ПРО ответный удар до «приемлемого» уровня.

Это, в свою очередь, заставило бы другую сторону либо создавать свою широкую систему ПРО, либо существенно наращивать и совершенствовать свои наступательные стратегические вооружения, а скорее всего делать в каком-то сочетании и то и другое или, может быть, еще что-то третье. Результат был бы один – бесконечная спираль гонки вооружений, каждый виток которой в геометрической прогрессии увеличивает угрозу ядерной катастрофы. Единственную надежду разорвать этот порочный круг давало заключение Договора по ПРО, резко ограничивающего системы ПРО.

Таковы законы логики, породившие в 1972 году советско-американский договор, согласно которому каждая сторона отказалась от создания противоракетной обороны своей территории. Законы логики имеют постоянный характер, они неизменны. Потому-то указанный договор и был заключен как бессрочный.

Это, естественно, дополнительно усложняло его выработку – надо было найти такие решения и выразить их в таких формулировках, которые не утрачивали бы свой смысл с течением времени. И они не без труда, но были найдены – никаких неясностей в Договоре по ПРО нет. Появление же впоследствии в Вашингтоне разного рода «толкователей» этого договора объяснялось вовсе не наличием в нем каких-то двусмысленностей, а стремлением вообще обессмыслить его, если не открыто разорвать.

Кульминационной точки активизация противников Договора по ПРО достигла с приходом к власти в США администрации Рейгана, официально провозгласившей силовой курс внешней политики и предавшей анафеме принцип равенства и одинаковой безопасности в отношениях с Советским Союзом.

В качестве главного практического средства достижения военного превосходства США над СССР администрация Рейгана решила, уповая на американские технологические преимущества, вырваться с оружием в космос. «Если нам удастся создать систему, которая сделает советские вооружения неэффективными, мы сможем вернуться к ситуации, когда США были единственной страной, обладающей ядерным оружием» – так с присущей ему прямолинейностью, без всяких околичностей определил министр обороны США Уайнбергер цель американской космической программы, названной для камуфляжа «Стратегической оборонной инициативой» (СОИ).

Вот здесь-то на пути замыслов Рейгана – Уайнбергера и встал Договор по ПРО, как кость поперек горла. Поначалу в Вашингтоне

попробовали просто проигнорировать этот договор, изображая дело таким образом, будто СОИ – всего лишь безобидная исследовательская программа, никак не затрагивающая Договор по ПРО. Когда же такой фокус, рассчитанный на простаков, не прошел, а у авторов СОИ тем временем стали все больше чесаться руки побыстрее приступить к ее практическому осуществлению, было решено предпринять новый маневр – сварганить «расширительное толкование» Договора по ПРО.

Суть этого толкования сводилась к утверждению, будто предусмотренный статьей V договора запрет на создание (разработку), испытания и развертывание систем и компонентов ПРО космического и других видов мобильного базирования распространяется только на те компоненты ПРО, которые существовали на момент заключения договора и перечислены в его статье II (противоракеты, пусковые установки для них и радиолокационные станции определенного типа). Системы же и компоненты ПРО, создаваемые по программе СОИ, будучи основаны на иных физических принципах, могут, дескать, разрабатываться и испытываться без всяких ограничений, в том числе в космосе, и лишь вопрос о пределах их развертывания подлежал бы согласованию между сторонами. При этом делались ссылки на одно из приложений к Договору, где упоминаются средства ПРО такого нового типа (Заявление «Д»).

Юридическая несостоятельность и, более того, логическая абсурдность подобного толкования станут ясными любому грамотному человеку, который потрудится прочитать текст Договора по ПРО. В его статье II содержится четкое определение: «Для целей настоящего Договора системой ПРО является система для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами или их элементами на траекториях полета». Таким образом, определение это носит функциональный характер – речь идет о любой системе, способной поражать ракеты (это, кстати, подтверждается и наличием в английском тексте неопределенного артикля «а» перед словом «system»). Тот же факт, что указанное функциональное определение понятия «система ПРО» дополнено перечнем компонентов, из которых такая система «состоит в настоящее время» (т. е. на момент подписания договора), лишний раз подчеркивает, что приведенный в статье перечень компонентов (противоракеты, их пусковые установки и РЛС) никак не может считаться исчерпывающим на вечные времена. Ведь смысл включения слов «в настоящее время» состоял именно в том, чтобы избежать подобного неправильного толкования статьи II – это подтверждают и американские участники выработки договора.

Полная беспочвенность ссылок на одно из приложений к договору – Заявление «Д» тоже видна из самого его текста – оно допускает разработку и испытания только наземных стационарных средств ПРО новых типов на замену существующих в разрешенных договором ограниченных районах. К статье V, запрещающей создание космических и других мобильных систем ПРО, Заявление «Д» вообще не имеет никакого отношения.

Такое единственно правильное понимание этого вопроса излагалось всеми американскими администрациями, включая рейгановскую, в ежегодных докладах конгрессу США вплоть до 1985 года – до тех пор, пока в темных закоулках Пентагона не было изобретено упомянутое «расширительное толкование». Хотя принято считать, что автором этого толкования является юридический советник государственного департамента США А. Софайер, на самом деле он был привлечен к его оформлению позже – видимо, для большей солидности. В действительности же толкование было состряпано именно в Пентагоне, в аппарате заместителя министра обороны Р. Перла, известного своей патологической ненавистью к Советскому Союзу и к любым договоренностям к ним. Это по его поручению Ф. Кунсберг – нью-йоркский юрист, занимавшийся до тех пор лишь делами, касавшимися порнографического бизнеса и мафии, – потратив менее недели на «изучение» материалов, относящихся к Договору по ПРО, сделал «открытие», которое и потребовалось его заказчику (по свидетельству газеты «Вашингтон пост», когда Кунсберг изложил Перлу результаты своих «изысканий», последний аж подпрыгнул от радости, так что «чуть не упал со стула»). Такова история незаконнорожденного «расширительного толкования» Договора по ПРО.

С фактами в руках и с убедительными аргументами против придуманного Перлом абсурдного толкования договора выступили все американские участники его выработки (за исключением Нитце, переметнувшегося вскоре на сторону противников договора), четыре предшественника Софайера на посту юридического советника госдепартамента США, шесть предшественников Уайнбергера на посту министра обороны, председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил С. Нанн. Но администрация Рейгана продолжала упорствовать в своем стремлении пустить под откос Договор по ПРО.

Она понимала, однако, невозможность – при существовавшей расстановке политических сил в США, как и в мире в целом, – пойти на прямой отказ от Договора по ПРО. Да, в самом договоре есть положение о праве каждой стороны выйти из него, уведомив другую об этом за шесть месяцев. Но это право не может быть

использовано произвольно – стороны должны были бы обосновать такое решение, представить доказательства того, что возникли исключительные обстоятельства, связанные с содержанием договора, которые поставили под угрозу высшие интересы государства.

Поскольку же никаких таких обстоятельств не было, Белый дом не мог не отдавать себе отчета в невозможности доказать обратное, в том числе конгрессу США, без согласия которого такая безумная акция не могла бы свершиться.

Поэтому наряду с продолжением попыток обессмыслить Договор по ПРО путем «расширительного толкования» американской администрации очень хотелось уговорить советскую сторону «по-хорошему» отказаться от этого договора, заменить его каким-то другим, который – ни больше ни меньше – регулировал бы порядок создания космических систем ПРО. С прямым предложением на этот счет выступил Рейган при встрече с Горбачевым в Рейкьявике в 1986 году. Слава Богу, Горбачев тогда воздержался от соблазна войти в историю в качестве могильщика Договора по ПРО, к чему, по существу, его подталкивали в Рейкьявике такие «новомышленцы», как Шеварднадзе и Черняев.

После Рейкьявика противники договора в США вновь стали наращивать усилия, направленные на его обессмысливание путем «расширительного толкования». Но сторонники сохранения договора тоже не сидели сложа руки. Во-первых, они сумели привлечь на свою сторону достаточное большинство в конгрессе США, в результате чего стало ясно, что конгресс вряд ли выделит Рейгану ассигнования на работы по программе СОИ, выходящие за рамки традиционного, то есть единственно правильного толкования договора. Во-вторых, они, наряду с использованием прежней своей аргументации, основанной на истории выработки Договора и на юридическом его анализе, привлекли авторитетных лингвистов. И те тоже помогли им. Хотя бытует мнение, будто в английском языке запятые не играют особой роли, это не так. Иногда запятая в английском языке столь же важна, как и в известном русском выражении «Казнить нельзя помиловать», где от места постановки запятой – либо после «казнить», либо после «нельзя» – зависит жизнь человека.

Для того чтобы пояснить, какую роль сыграла запятая в споре о Договоре по ПРО, приведу вначале житейский пример. Написанную по-русски фразу «У меня есть две сестры, живущие сейчас в Киеве» можно толковать двояко. Можно подумать, что у меня всего две сестры и обе они живут в Киеве, а можно подумать, что я в данном случае говорю лишь о двух сестрах,

живущих в Киеве, но это не исключает наличия у меня других сестер где-то еще. Чтобы исключить такое «расширительное толкование» о числе имеющихся у меня сестер, мне пришлось бы после слов «У меня есть две сестры» поставить вместо запятой точку с запятой и после этого написать «они сейчас живут в Киеве».

В английском же языке в аналогичном случае действует иное правило. В приведенной выше фразе наличие запятой равноценно нашей точке с запятой, и это исключает двоякое толкование – хорошо знающему английский язык не придет в голову мысль о наличии у меня других «сестер». И только если в английском тексте перед словом «живущие» не поставить запятой, – а английская грамматика в отличие от русской позволяет это, – тогда могло бы появиться двоякое толкование.

Так вот, в английском тексте Договора по ПРО, в его статье II, содержание которой излагалось выше, кроме всего прочего, и столь важная запятая стоит в нужном месте – она тоже исключает возможность двоякого толкования сформулированного в этой статье функционального определения системы ПРО как **любой** системы, способной поражать ракеты. Таким образом, в руках противников Уайнбергера и Перла оказался еще один козырь – последним грозило прослыть, помимо всего, людьми, не знающими английской грамматики.

Так или иначе, к началу 1988 года американская сторона еще при Рейгане вынуждена была спустить на тормозах свои попытки «расширительного толкования» Договора по ПРО.

К владивостокской договоренности

Принципиальной важности договоренности, достигнутые в ходе визита президента Никсона в СССР в мае 1972 года, получили свое дальнейшее развитие в результате советско-американских встреч на высшем уровне в 1973 и 1974 годах. Так, во время визита Брежнева в США в июне 1973 года помимо ряда двусторонних соглашений экономического и научно-технического характера было подписано Соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны.

Процесс выработки этого соглашения был довольно сложным. Еще в процессе подготовки визита Никсона в СССР в 1972 году и в ходе самого визита мы предлагали, чтобы СССР и США взяли юридически оформленное обязательство ни при каких обстоятельствах не применять ядерное оружие друг против друга. Однако Никсон уклонился тогда от серьезного разговора на эту

тему, предложив, чтобы обмен мнениями по этому вопросу был продолжен на уровне Громыко-Киссинджера.

Уже в июле 1972 года Киссинджеру был передан наш проект договора между СССР и США о неприменении ядерного оружия друг против друга. Такая прямолинейная постановка вопроса не встретила понимания с американской стороны. В их ответном проекте, которому они придали форму декларации, а не договора, ключевое положение было сформулировано гораздо более витиевато: «США и СССР соглашаются вести себя так, чтобы не создавать условий, при которых между ними могла бы возникнуть ядерная война».

За этим последовал длительный и нелегкий процесс нахождения взаимоприемлемой формулы – США здесь действовали явно с оглядкой на своих союзников и на Китай, не желая, чтобы у тех создавалось впечатление о советско-американском кондоминиуме.

Нисколько не возражая против того, чтобы вырабатываемый документ был нацелен на предотвращение ядерной войны вообще в мире, советская стороны вместе с тем продолжала добиваться, чтобы в нем была ясно выражена решимость СССР и США исключить возможность применения ядерного оружия друг против друга.

Согласившись в конце концов с этим, американская сторона тем не менее старалась сделать саму формулировку обязательства менее твердой и безусловной. Так, например, если мы предлагали записать, что стороны будут **делать все**, чтобы исключить возникновение ядерной войны между ними, то американцы предлагали вместо однозначного «делать все» сказать «делать все возможное» или «делать все, что в их силах», тем самым оставляя широкое поле для разных толкований в будущем.

В итоге уже незадолго до визита Брежнева в США в июне 1973 года было выработано ключевое положение Соглашения между СССР и США о предотвращении войны, которое гласило, что стороны будут **действовать так, чтобы исключить** возникновение ядерной войны между ними и между каждой из сторон и другими странами. Формула достаточно энергичная и недвусмысленная.

В ходе визита Никсона в СССР в конце июня – начале июля 1974 года тоже был подписан ряд соглашений по разным аспектам двусторонних отношений, а также два важных документа по вопросам ограничения гонки вооружений. Одним из них был Протокол к Договору по ПРО, согласно которому вместо разрешенных этим договором двух районов ПРО для каждой

стороны оставлялось по одному, что придавало Договору по ПРО еще больший смысл и вес. Вторым – Договор об ограничении мощности испытательных ядерных взрывов под землей.

Однако хотя переговоры о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений начались еще в ноябре 1972 года, нового соглашения по этим вопросам не удалось достичь к встречам в верхах ни в 1973 году, ни в 1974 году.

Главная трудность состояла в следующем. Советская сторона упорно добивалась, чтобы в новом соглашении прямо учитывались американские ядерные средства передового базирования и соответствующие ядерные средства союзников США по НАТО – Англии и Франции. Американская же сторона не только не соглашалась с этим, но и под давлением правых сил в США добивалась, чтобы в новом соглашении, в отличие от Временного соглашения 1972 года, были зафиксированы равные для обеих сторон уровни стратегических наступательных вооружений, то есть предлагалось лишить СССР той косвенной компенсации, которую он получил по Временному соглашению за неучет американских ядерных средств передового базирования и ядерных средств Англии и Франции. Сверх того, американцы всячески стремились тем или иным способом добиться включения в новое соглашение ограничений на советские тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, в частности запрета на их «мирвирование» (от английской аббревиатуры – MIRV), то есть на оснащение их разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ-ин).

Помимо действительной трудности самих обсуждавшихся вопросов, начиная с 1973 года все более отрицательное влияние на американскую позицию оказывало развитие внутриполитических событий в США, связанных с «Уотергейтом». Поначалу советское руководство не придавало особого значение шумихе вокруг «Уотергейта», но постепенно становилось все яснее, что скандал этот не только ограничивает возможности Никсона во внешнеполитической сфере, но и ставит под вопрос его судьбу как президента.

Отставка Никсона, последовавшая 9 августа 1974 года, была встречена в Москве с искренним сожалением. В письме, направленном Никсону от имени Брежнева, в частности, говорилось: «Хотел бы от себя лично и моих коллег в советском руководстве выразить Вам в эти дни добрые чувства по поводу плодотворного сотрудничества и того духа взаимопонимания, которыми были отмечены наши совместные усилия,

направленные на улучшение советско-американских отношений и оздоровление международной обстановки». Это корреспондировалось с тем, что написал Брежневу в своем прощальном письме и Никсон: «Оставляя пост президента Соединенных Штатов, я шлю Вам личный прощальный привет. Я оставляю этот пост с гордостью по поводу того, что Вы и я много сделали для преобразования отношений между нашими странами и тем самым добились огромных свершений для дела мира во всем мире».

Новый президент США Джеральд Форд в первый же день вступления в должность, 9 августа, тоже прислал Брежневу письмо, в котором отмечал, что он последовательно поддерживал внешнюю политику Никсона: «Поэтому я могу безоговорочно подтвердить, что американская внешняя политика в отношении СССР будет продолжаться без изменений в период моей администрации». В ответном письме Брежнева от 11 августа приветствовалось это заверение Форда и содержалось предложение провести их личную встречу еще до конца текущего года.

Такая встреча состоялась 23–24 ноября 1974 года в районе Владивостока. Главное место в переговорах заняли вопросы, касавшиеся выработки нового соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений, которая застопорилась по упомянутым выше причинам. Переговоры были напряженными и трудными, тем более что оба первых лица – и Форд, и Брежнев – к тому времени уже не отличались остротой ума. Когда в результате усилий двух команд во главе с Громыко и Киссинджером начали вырисовываться очертания возможного компромисса, все чуть не сорвалось из-за того, что оба лидера сперва никак не могли понять сути этого компромисса. В какой-то момент для того, чтобы каждая команда растолковала его суть своему шефу, решили сделать перерыв. Когда мы расходились, Киссинджер сказал мне с раздражением: «Похоже, оба наши босса слишком глупы, чтобы понять свои собственные выгоды».

Суть же компромисса состояла в следующем:

по новому соглашению ограничениям будут подлежать, наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и баллистическими ракетами на подводных лодках, также и тяжелые бомбардировщики;

каждая из сторон будет иметь право располагать суммарным количеством носителей стратегического оружия не более 2400 единиц, причем в случае оснащения бомбардировщика ракетами «воздух – земля» с дальностью свыше 600 км каждая такая ракета будет засчитываться как одна единица в этом суммарном

количестве носителей; в пределах 2400 единиц стороны свободны сами определять состав носителей стратегического оружия, за исключением сохранения запрета на строительство новых пусковых установок МБР наземного базирования;

каждая из сторон будет иметь не более 1320 баллистических ракет наземного и морского базирования, оснащенных РГЧ-ин; в пределах этого количества стороны будут вправе сами определять типы и количества ракет, оснащаемых РГЧ-ин.

Таким образом, по этому варианту американские ядерные средства передового базирования, как и ядерные средства Англии и Франции, снова оставлялись в стороне – это, конечно, было большой уступкой со стороны Советского Союза. В то же время США в этом случае отступались от своего требования об ограничениях на советские тяжелые МБР, в том числе на их оснащение РГЧ-ин. С учетом же возможности размещения на советских тяжелых МБР значительно большего числа РГЧ-ин, чем на существовавших типах американских МБР, это позволяло Советскому Союзу при необходимости в значительной мере компенсировать наличие у США ядерных средств передового базирования и наличие ядерного оружия у союзников США.

Рассмотрев с участием пользовавшихся его доверием экспертов предложенный компромиссный вариант, Брежнев согласился с ним. Однако, когда он сообщил о нем по телефону министру обороны Гречко в Москву (где в это время была глубокая ночь), тот категорически запротестовал против этого варианта, поскольку в нем прямо не учитывались американские ядерные средства передового базирования, достигающие территории СССР, и соответствующие виды ядерного оружия союзников США по НАТО. Через несколько минут последовал звонок из Москвы от Подгорного, который, будучи поднят «по тревоге» министром обороны, решительно поддержал возражения Гречко. После этого Брежнев сделал еще несколько звонков в Москву, в том числе Косыгину, Устинову и Андропову. Заручившись их поддержкой, он решил дать согласие на указанный вариант, проигнорировав возражения Подгорного и Гречко.

По нашим наблюдениям, Форду этот вариант дался тоже непросто. Они с Киссинджером то жарко обсуждали его на открытом воздухе в стороне от зданий, где опасались подслушивания, то несколько раз садились в защищенную американскую автомашину и вели по закрытому телефону разговоры с Вашингтоном. Кончилось тем, что Форд тоже дал согласие на выработанный компромиссный вариант.

Двухлетний тупик на переговорах по стратегическим

наступательным вооружениям был преодолен – казалось, открылся путь к быстрому завершению нового соглашения с существенно бльшими ограничениями на такие вооружения по сравнению с Временным соглашением 1972 года. Но путь этот оказался вновь довольно долгим и трудным. И опять-таки не только из-за сложности предмета переговоров, но и ввиду других обстоятельств, периодически подвергавших испытаниям процесс разрядки и до встречи во Владивостоке, и после нее.

Ближневосточная война 1973 года

Серьезным испытанием для советско-американских отношений и для разрядки в целом явилась новая арабо-израильская война, разразившаяся в октябре 1973 года.

6 октября в 14.45 московского времени (соответственно в 06.45 вашингтонского времени) в МИД СССР поступила срочная телефонограмма от нашего посла в США Добрынина, переданная по открытой связи через коммутатор Белого дома. В ней сообщалось следующее: находившийся в тот момент в Нью-Йорке госсекретарь Киссинджер позвонил послу и попросил довести до сведения Советского правительства, что, по данным израильского правительства, Сирия и Египет намерены в течение ближайших часов начать наступление против израильских войск соответственно на Голанских высотах и на Синае, оккупированных Израилем в 1967 году. Заверив от имени израильского руководства, что Израиль не начнет первым военных действий, Киссинджер подчеркнул, что, если их начнут арабы, «ответ Израиля будет очень сильным». А еще через пару часов Киссинджер сообщил Добрынину, что Египет и Сирия начали наступление по всей линии перемирия 1967 года. Примерно одновременно информация о начале военных действий поступила в Москву из Каира и Дамаска с той, однако, разницей, что в этой информации утверждалось, будто военные действия начаты Израилем.

Поэтому в советском ответе на обращение Вашингтона со ссылкой на противоречивость поступавших сведений говорилось о необходимости принятия мер к выяснению действительного положения в районе и предлагалось в скором времени снестись вновь «на предмет возможного согласования позиций» наших двух стран.

Как писал позже в своих мемуарах Киссинджер, он полагал, что, возможно, именно Советский Союз порекомендовал египтянам «устроить небольшую заваруху» для того, чтобы

подстегнуть дипломатический процесс ближневосточного урегулирования, а «эти маньяки явно переборщили». А если Советский Союз сам и не подстрекал египтян и сирийцев к началу военных действий, то, согласно Киссинджеру, он во всяком случае был осведомлен о готовившемся наступлении и не стал удерживать их от этого шага. В качестве главного доказательства правильности такого суждения Киссинджер приводит тот факт, что за день до начала военных действий Советский Союз стал эвакуировать из Египта и Сирии семьи своих работников в этих странах и тогда же египетские порты покинули находившиеся там советские военные корабли.

На деле, однако, это свидетельствует лишь о том, что к тому моменту мы действительно не исключали вероятности возникновения новой арабо-израильской войны, но и египтяне, и сирийцы изображали дело таким образом, будто они готовились к контрнаступлению в ответ на ожидавшееся ими в те дни начало военных действий со стороны Израиля. О том, что Советский Союз мог ожидать именно такого развития событий, как нельзя лучше свидетельствуют приводимые в тех же мемуарах Киссинджера сведения: в течение первых часов уже после начала военных действий не кто-нибудь, а руководители Пентагона и ЦРУ полагали, что эти действия развязаны Израилем.

О том, что Советский Союз не подстрекал Египет и Сирию к военным действиям, говорит и следующее обстоятельство: сразу же после их начала Москва в своих закрытых контактах с Каиром и Дамаском советовала согласиться на прекращение огня, как это предлагали им и США (это подтвердил в своих мемуарах Садат).

Поскольку, однако, речь шла об освобождении войсками Египта и Сирии территорий этих стран, захваченных Израилем, то оказывать открытое давление на Каир и Дамаск, требуя прекращения огня, Советский Союз, разумеется, не мог. Соответственно, и в направленных в первый день, 6 октября, указаниях советскому представителю в Совете Безопасности ООН предписывалось в случае постановки на голосование предложения о прекращении огня проголосовать против в том случае, если об этом попросят представители Египта и Сирии (а если их позиции разошлись бы, то действовать в соответствии с позицией Египта).

Но уже 10 октября – с учетом развития военных действий – советскому представителю было дано указание в случае внесения в Совете Безопасности резолюции с призывом к прекращению огня заявить о законности борьбы арабов за изгнание израильских оккупантов, но при голосовании воздержаться, а не голосовать против, то есть не блокировать принятие решения вне

зависимости от позиции Египта и Сирии. И только в случае, если бы призыв к прекращению огня сопровождался требованием об отводе арабских войск на исходные позиции, предписывалось применить вето, изложив при этом соответствующие аргументы.

В целом усилия Советского Союза в активных контактах между Москвой и Вашингтоном с использованием и обычных дипломатических каналов, и «горячей линии», а также в ООН были направлены на то, чтобы не просто добиться прекращения огня, которое опять могло быть нарушено той или другой стороной в любой момент. Чтобы этого не случилось, по нашему мнению, необходимо было сопроводить прекращение огня быстрыми шагами для достижения общего урегулирования на Ближнем Востоке на основе ранее принятых решений ООН.

Усилия же Соединенных Штатов, как это было ясно в Москве уже тогда и как подтвердилось ставшими достоянием гласности с тех пор американскими источниками, включая мемуары Киссинджера, были направлены вначале на то, чтобы не допустить военного поражения Израиля, а затем, когда ход военных действий повернулся в пользу Израиля, выступить в роли единственного «спасителя» арабов от полного разгрома, обеспечив себе решающую роль в будущем ближневосточном урегулировании, отодвинув СССР в сторону.

При столь различных в своей основе интересах СССР и США был у них в создавшейся ситуации и общий интерес: не допустить такого развития событий, когда они сами оказались бы вовлеченными в военные действия на разных сторонах, что если и не привело бы к большой войне между ними, то, во всяком случае, нанесло бы труднопоправимый ущерб их отношениям, только начавшим улучшаться, и похоронило бы международную разрядку.

Поэтому, когда к исходу двух недель военных действий такая опасность стала достаточно реальной, для совместного поиска выхода из создавшейся ситуации в Москву по приглашению советского руководства 20 октября прибыл Киссинджер. Когда он находился уже в пути, Никсон прислал Брежневу послание, в котором подчеркивалось, что «доктор Киссинджер будет говорить как мой полностью уполномоченный представитель, и обязательства, которые он может дать в ходе бесед с Вами, целиком мною поддерживаются». Как писал в мемуарах Киссинджер, он, узнав об этой формулировке в послании Никсона Брежневу, вовсе не обрадовался такому карт-бланшу, поскольку это сужало возможности его маневрирования в переговорах путем ссылок на необходимость последующего одобрения президентом тех или иных договоренностей.

Мы в Москве, естественно, уловили выгодный нам смысл содержавшейся в послании Никсона формулировки и еще до начала переговоров с Киссинджером в Вашингтон было направлено ответное послание Брежнева, в котором среди прочего говорилось: «Я именно так и понимал, что г-н Киссинджер, как Ваш ближайший помощник, пользующийся Вашим полным доверием, и на этот раз будет говорить от Вашего имени и что те обязательства, которые он может дать в ходе наших с ним переговоров, будут целиком поддержаны Вами».

Так или иначе в течение полуторадневного пребывания Киссинджера в Москве удалось выработать совместный советско-американский проект резолюции Совета Безопасности, которая и был принята Советом 22 октября под номером 338. Наряду с призывом к немедленному, не позже чем в течение 12 часов, прекращению огня и всех военных действий резолюция предусматривала, что сразу после прекращения огня заинтересованные стороны должны начать практическое выполнение резолюции Совета Безопасности 242 (ноябрь 1967 г.) во всех ее частях, другими словами – начать переговоры, направленные на установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Согласно резолюции 338, такие переговоры должны были вестись «под соответствующей эгидой».

Это последнее положение резолюции 338 впоследствии многими понималось так, что переговоры должны вестись под эгидой ООН. На самом же деле на этот счет в Москве был выработан и завизирован Киссинджером и Громыко документ, озаглавленный «Взаимопонимание» и гласивший: «Понимается, что выражение «под соответствующей эгидой» в пункте 3 резолюции Совета Безопасности означает, что переговоры между заинтересованными сторонами будут иметь место при активном участии Соединенных Штатов и Советского Союза в начале, а затем в ходе переговоров при рассмотрении ключевых вопросов урегулирования. На протяжении всего процесса переговоров Соединенные Штаты и Советский Союз будут в любом случае поддерживать теснейший контакт друг с другом и со сторонами, ведущими переговоры».

Именно основываясь на этом «Взаимопонимании», правильнее всего в контактах с американцами отстаивать наше равное с ними право играть важную роль в вопросах ближневосточного урегулирования. Тот факт, что американцы не раз отступали от достигнутой договоренности, еще не означает, что и нам надо забыть о ней.

С отъездом Киссинджера из Москвы ближневосточный кризис 1973 года еще не закончился, так как Израиль при

попустительстве США (что признает в своих мемуарах Киссинджер) не торопился выполнять резолюцию Совета Безопасности, а продолжал военные действия, стремясь завершить окружение одной из египетских армий. Ситуация достигла такого накала, что в ночь с 24 на 25 октября в Белый дом ушло послание Брежнева с предложением срочно направить в Египет советские и американские воинские контингенты для обеспечения выполнения резолюции Совета Безопасности о прекращении военных действий. В послании также говорилось, что если Никсон не сочтет возможным действовать совместно с нами в этом вопросе, то «мы были бы поставлены перед необходимостью срочно рассмотреть вопрос о принятии нами соответствующих шагов в одностороннем порядке». Такое заявление было сделано для острастки, и, хотя для придания ему большей правдоподобности некоторые советские части были приведены в боевую готовность, в действительности, насколько я знал, никакой предрешенности насчет посылки наших войск в Египет за указанной витиеватой формулировкой не скрывалось.

Не исключая того, что Москва блефует, США тем не менее, возражая и против совместной посылки советских и американских войск, и, разумеется, против посылки только советских войск, решили продемонстрировать свою решимость воспрепятствовать нашим возможным односторонним действиям, приведя свои вооруженные силы в состояние Defcon-3, высшую степень готовности для мирного времени.

Все это привело к кратковременному усилению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, но в то же время именно после этого, во-первых, США оказали необходимое воздействие на Израиль в плане прекращения военных действий и, во-вторых, было принято решение Совета Безопасности о направлении в Египет чрезвычайных сил ООН для обеспечения выполнения сторонами предписаний Совета Безопасности.

В целом можно говорить, что разрядка выдержала испытание ближневосточным кризисом 1973 года. Подтверждением тому были положительные итоги и визита Никсона летом 1974 года, и владивостокской встречи Брежнева и Форда в ноябре того же года.

Испытание разрядки Анголой

После встречи во Владивостоке поначалу активно пошла работа над подготовкой на основе достигнутой там

договоренности нового соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений. Стороны условились вести дело так, чтобы оно было готово к подписанию во время визита Брежнева в США, намечавшегося на конец 1975 года. Параллельно при активном взаимодействии СССР и США завершилась работа над Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который и был торжественно подписан главами 33 европейских государств, США и Канады 1 августа 1975 года в Хельсинки. Это событие стало, пожалуй, в тот период кульминационной точкой разрядки международной напряженности.

Вскоре, однако, над разрядкой снова стали сгущаться тучи – на этот раз холодные ветры подули, как это ни странно, из Африки. В эпицентре событий оказалась бывшая португальская колония Ангола. В ходе национально-освободительной борьбы народов этой страны там сформировались три основные политические группировки: МПЛА (лидер Нето), пользовавшаяся симпатиями и поддержкой Советского Союза и Кубы; ФНЛА (лидер Роберто), пользовавшийся поддержкой США и КНР, и УНИТА (лидер Савимби), пользовавшаяся поддержкой ЮАР. Когда Португалия была вынуждена пойти на предоставление Анголе независимости, руководители этих трех группировок на встрече в Алворе (Португалия) в январе 1975 года подписали соглашение, в соответствии с которым должно было быть создано коалиционное переходное правительство на период до проведения в стране выборов.

Советский Союз однозначно высказался в поддержку алворского соглашения и был намерен иметь дело с коалиционным ангольским правительством в составе представителей МПЛА, ФНЛА и УНИТА. Однако США, опасаясь преимущественного влияния МПЛА в этом правительстве и ее победы на последующих выборах, сразу же повели дело к срыву алворского соглашения. Как подтвердилось впоследствии в ходе расследования, проведенного конгрессом США, по предложению возглавлявшейся Киссинджером межведомственной группы по тайным операциям («Комитет 40») Совет национальной безопасности США уже через три недели после алворского соглашения принял решение оказать широкую финансовую и военную помощь ФНЛА, лидер которого Роберто давно был на содержании ЦРУ. Алворское соглашение было сорвано, и в стране началась кровавая гражданская война.

И когда в августе 1975 года в Анголу вторглись южноафриканские войска, а поддерживаемые ими формирования УНИТА начали наступление на столицу страны – Луанду, где

сконцентрировались силы МПЛА, Вашингтон хранил гробовое молчание; как позже стало известно, при южноафриканских войсках находились офицеры связи ЦРУ. Когда же через три недели на помощь силам МПЛА, осажденным в Луанде, прибыли кубинские войска и затем из Советского Союза стало поступать для них вооружение и военная техника, Вашингтон усмотрел в этом нарушение Советским Союзом «правил разрядки». В сентябре 1975 года в своем обращении к Громыко Киссинджер прямо заявил, что «если это будет продолжаться, то прогресс в разрядке может быть отброшен назад». А в начале 1976 года президент Форд заявил, что он отказывается от употребления самого слова «разрядка». С обострением советско-американских отношений в связи с Анголой застопорилось продвижение на переговорах по стратегическим вооружениям и, соответственно, был отложен, а затем и вообще не состоялся визит Брежнева в США.

В ангольском эпизоде «холодной войны» – подобно большинству ее эпизодов – «а» было сказано, как свидетельствуют приведенные выше факты, Вашингтоном, но и Москва недолго воздерживалась от того, чтобы сказать «б».

Вообще же ангольский эпизод в том, что касается Советского Союза, может служить яркой иллюстрацией, во-первых, того, к каким печальным последствиям подчас приводили наличие двух начал – государственного и идеологического – в советской внешней политике и связанная с этим ведомственная неразбериха, а во-вторых, того, насколько ошибочными бывали представления на Западе о «кознях» Москвы.

Когда в Анголе вслед за получением ею независимости стала разгораться гражданская война, спровоцированная действиями США, руководством МИДа совместно с Министерством обороны и КГБ была подготовлена и представлена в ЦК КПСС за подписями Громыко, Гречко и Андропова записка с соображениями о линии поведения СССР в создавшейся ситуации. В записке с приведением соответствующей аргументации предлагалось оказывать МПЛА всяческую политическую и определенную материальную помощь, но ни в коем случае не ввязываться в гражданскую войну в Анголе в военном плане. Политбюро целиком одобрило эти предложения.

Однако буквально несколько дней спустя Международный отдел ЦК КПСС, получив по своим каналам просьбу руководства МПЛА о поставках оружия, подготовил предложения об удовлетворении этой просьбы. Когда записка в ЦК, содержавшая эти предложения и уже подписанная не только Пономаревым, но и Гречко и Андроповым, поступила на подпись Громыко, все мои

попытки отговорить его от ее подписания, поскольку она противоречила недавно принятому решению, не увенчались успехом. Не желая конфликтовать со своими коллегами, Громыко после некоторых колебаний все же поставил свою подпись, сославшись на то, что речь шла о небольших масштабах поставок оружия. Но начало было положено. За этим по мере расширения гражданской войны последовали, конечно, новые просьбы от МПЛА и наши новые поставки. Каждый раз это мотивировалось, разумеется, нашим интернациональным долгом и доводами о том, что США тоже оказывали военную помощь противостоявшим МПЛА группировкам. Последнее было, несомненно верно, но это еще не означало, что наше собственное все большее вовлечение в гражданскую войну в Анголе – в виде поставок оружия и посылки военных специалистов – отвечало государственным интересам Советского Союза.

Резко возросшие поставки в Анголу советского оружия и военной техники после прибытия туда кубинских войск однозначно расценивались в Вашингтоне и в целом на Западе, да и многими у нас в стране, как бесспорное доказательство того, что и сами кубинские войска были направлены туда по наущению Москвы.

Между тем это было совершенно не так. Я могу говорить об этом со всей определенностью. Однажды мое внимание привлекла телеграмма советского посла в Гвинее, в которой среди прочего упоминалось, что, по словам его кубинского коллеги, там на следующий день начнут делать технические посадки самолеты с кубинскими войсками, направляющимися в Анголу. Я тут же пошел с этой телеграммой к Громыко, для которого новость тоже явилась полной неожиданностью. Он при мне позвонил Гречко и Андропову – тем ничего не было известно. Все трое сошлись во мнении, что посылка кубинских войск в Анголу будет опрометчивым шагом как с точки зрения осложнения общей международной обстановки, так и с точки зрения нового обострения ситуации вокруг Кубы, поскольку такой шаг неизбежно вызовет резко отрицательную реакцию со стороны США.

Срочно была подготовлена записка в ЦК КПСС с предложением обратиться к Фиделю Кастро с рекомендацией воздержаться от такой рискованной акции. Текст соответствующей телеграммы Кастро был одобрен Политбюро, но к тому моменту, когда она поступила в Гавану, самолеты с кубинскими войсками уже пересекали Атлантический океан.

То, что Кастро предпринял такой шаг без консультаций с советским руководством, можно было понять – он поступил так

потому, что не хотел нарваться на отрицательную реакцию Москвы (впоследствии он сам заявил об этом публично). Но совсем было непонятно, как могло случиться, что при наличии большого числа советских военных представителей и специалистов на Кубе наше Министерство обороны оказалось в неведении о готовившейся операции по переброске кубинских войск в Анголу.

Я прямо задал такой вопрос моим коллегам в Генеральном штабе. Их ответ: советским военным представителям на Кубе, как потом выяснилось, было известно о готовившейся операции, а некоторые наши специалисты даже имели техническое касательство к ней, но все они считали само собой разумеющимся, что направление кубинских войск в Анголу было согласовано между Гаваной и Москвой на политическом уровне, и поэтому не стали сообщать о происходящем по своим каналам. Между прочим, когда я однажды рассказал эту историю бывшему министру обороны США Роберту Макнамаре, он отнесся к ней с доверием, заметив со смехом, что такое вполне могло случиться и в его ведомстве.

Так или иначе советское руководство оказалось перед свершившимся фактом – кубинские войска находились в Анголе. И опять сработал рефлекс интернационального долга, тем более что этому предшествовала вооруженная интервенция в Анголу со стороны Южно-Африканской Республики, фактически поддержанная, если не организованная, Соединенными Штатами. В этих условиях Советскому Союзу уклониться от оказания военной помощи МПЛА, в том числе путем снабжения оружием кубинских войск, считалось невозможным.

Оставляя в стороне вопрос о том, по чьей вине началась гражданская война в Анголе, можно утверждать, что вовлеченность в нее США и СССР явилась одной из главных причин угасания разрядки в середине 70-х годов. В значительной мере из-за Анголы Форд заморозил переговоры с советской стороной по подготовке Договора ОСВ-2 на основе владивостокской договоренности и вообще свернул контакты с Советским Союзом. Довольно густую тень на советско-американские отношения Ангола продолжала бросать и при президенте Картере, но об этом речь пойдет в следующей главе.

Глава 8. СНОВА УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

То обстоятельство, что к концу президентства Форда советско-американские отношения оказались отброшенными назад, предопределило особый интерес советского руководства к его сопернику на президентских выборах 1976 года – кандидату демократической партии Джимми Картеру. И хотя он был совершенно неизвестной в СССР политической фигурой, а его предвыборные заявления, как в Москве хорошо осознавали, не обязательно отражали его действительные взгляды, многое в этих заявлениях импонировало настроениям советского руководства. Здесь были и критическое отношение к отказу Форда от употребления термина «разрядка», и прямая критика в его адрес за замораживание переговоров по завершению Договора ОСВ-2 на основе владивостокской договоренности 1974 года, и высказывания в пользу нераспространения ядерного оружия и полного запрещения его испытаний, а также в пользу сокращений ядерного оружия вплоть до его полной ликвидации. Положительное впечатление на советское руководство произвело то, что Картер не только публично, но и в закрытом порядке, через А. Гарримана, посетившего Москву в сентябре 1976 года, заверил, что в случае избрания его президентом он предпримет шаги для скорейшего завершения выработки и подписания Договора ОСВ-2, а затем будет готов продолжить переговоры для достижения договоренности о существенных сокращениях стратегических наступательных вооружений.

Конечно, далеко не все, что говорилось Картером в ходе избирательной кампании, нравилось Москве. В частности, то, в каком ключе и с какой настойчивостью ставилась им проблема прав человека в международном плане, прежде всего применительно к Советскому Союзу. Но его высказывания по вопросам ограничений вооружений и разоружения, повторяю, вселяли определенные надежды.

Во всяком случае в Москве не испытывали сожаления по поводу поражения Форда на выборах 2 ноября 1976 года и победы на них Картера. Поздравляя последнего с победой, Л. И. Брежнев сразу же выразил надежду на их скорую встречу. Картер не замедлил с ответом. Уже 4 ноября Гарриман передал через советского посла в Вашингтоне устное сообщение для Брежнева от Картера, в котором говорилось, что вновь избранный президент считает важным иметь личную встречу с Брежневым «в

целях сохранения и поддержания мира во всем мире», а также полагает полезным организацию в последующем таких встреч «на регулярной основе, может быть, раз в год». Правда, Картер оговорился, что у него уже есть обращения руководителей Англии, ФРГ и Франции, и выразил надежду, что в Москве будет правильно понято то, что советско-американская встреча на высшем уровне сможет иметь место после его встреч с союзниками.

Через непродолжительное время, 17 ноября, Гарриман, которого Картер уполномочил продолжать действовать в качестве неофициального канала связи между ним и Брежневым на период до своего вступления в должность, сообщил о готовности Картера к обмену мнениями уже в течение этого переходного периода по интересующим обе стороны вопросам. Вместе с тем было сказано, что вступать в их предметное обсуждение он пока не может. Во-первых, потому, что не может подменять действующего президента, а во-вторых, потому, что у него еще нет своего аппарата советников и он не считает возможным «импровизировать». Тем не менее состоявшийся до 20 января 1977 года обмен еще несколькими устными посланиями между Брежневым и Картером, казалось, обещал конструктивное развитие советско-американского диалога (во всяком случае, по вопросам ограничения стратегических вооружений) после вступления Картера в должность. Правда, нас в Москве несколько насторожила содержавшаяся в одном из посланий Картера (от 1 декабря 1976 г.) ремарка, что он «не может, разумеется, быть связанным предшествовавшими переговорами по ограничению стратегических вооружений». Это было нехорошее предзнаменование, которое вскоре, к сожалению, более чем оправдалось. Но в ту пору хотелось надеяться на лучшее.

Москва, однако, не просто надеялась на лучшее, но, со своей стороны, стремилась создать как можно более благоприятные предпосылки для успешного развития диалога с президентом Картером после его вступления в должность. Одним из важных шагов в этом плане было включение в речь, с которой Брежнев выступил 18 января 1977 года, то есть за два дня до инаугурации Картера, в Туле по случаю присвоения ей звания города-героя, ряда важных формулировок относительно советской военной политики. Их существо состояло в следующем:

– приписываемые Советскому Союзу стремления к превосходству с целью приобретения способности для нанесения первого ядерного удара не имеют под собой никаких оснований;

– целью Советского Союза является лишь создание оборонного потенциала, **достаточного** для того, чтобы удержать

любого потенциального противника от агрессии против него.

Иными словами, в этой речи Брежнева был впервые публично провозглашен принцип **оборонной достаточности**, который получит свое дальнейшее развитие в последующие годы.

Сформулированы эти положения были представителями МИДа СССР (конкретно мною и Л. И. Менделевичем) в группе, которая готовила проект речи Брежнева. Я согласовал их с тогдашним начальником Генерального штаба Вооруженных Сил. СССР В. Г. Куликовым без всяких трудностей, поскольку эти положения отражали действительное существо дел, хотя и звучали несколько непривычно. Именно по этой причине, а не из-за несогласия с ними по сути они вызывали сомнения на определенном этапе работы над проектом речи у наших партийных международников во главе с Пономаревым, но их сомнения отпали после доклада проекта Брежневу, который принял их без колебаний. Не вызвали они каких-либо возражений и со стороны других членов Политбюро, включая министра обороны Устинова, которым в соответствии с существовавшим порядком был разослан для просмотра проект речи.

Придавая большое значение тому, чтобы в Вашингтоне правильно поняли сигнал (насчет принципа оборонной достаточности), подаваемый Москвой в тульской речи Брежнева, я заранее снабдил ТАСС и АПН максимально точным переводом соответствующего раздела этой речи на английский язык. Замысел достиг своей цели – в лексиконе американских специалистов-советологов появился даже термин «тульская линия» в политике СССР.

Когда лучшее – враг хорошего

Первое после вступления в должность письмо президента Картера от 26 января 1977 года было воспринято в Москве как подтверждающее надежду на благоприятное развитие советско-американского диалога по вопросам разоружения. Картер прежде всего отметил как весьма важную речь Брежнева в Туле и особенно содержавшиеся в ней положения о том, что СССР не стремится к превосходству в вооружениях и ему нужна лишь оборона, достаточная для сдерживания любого потенциального противника. Подтвердив свои предвыборные заявления о том, что конечной целью в области разоружения должно быть уничтожение всего ядерного оружия на нашей планете, Картер в качестве «критически важного первого шага» на пути к этой цели назвал «безотлагательное достижение Договора ОСВ-2 и

договоренности о том, чтобы после этого двигаться в направлении дополнительных ограничений и сокращений стратегических вооружений». В контексте с прежними публичными и закрытыми высказываниями Картера эти формулировки были поняты в Москве как означавшие его готовность прежде всего быстро завершить подготовку и подписать Договор ОСВ-2, основанный на владивостокской договоренности 1974 года и конкретизированный в ходе последовавших переговоров еще при Форде. Такой подход вполне отвечал намерениям советского руководства, как и предложение президента прислать вскоре в Москву для осуждения связанных с этим вопросов государственного секретаря С. Вэнса. Соответственно, ответное письмо Брежнева Картеру от 4 февраля было выдержано в весьма позитивном ключе.

Но следующее письмо Картера от 14 февраля не только озадачило, но, скажу прямо, возмутило Брежнева и его коллег. В нем Картер, высказываясь по-прежнему за быстрое завершение работы над Договором ОСВ-2, вместе с тем ясно обозначил, что он имеет в виду совсем не тот договор, о рамках которого стороны условились во Владивостоке и в ходе последовавших затем переговоров. Картер предложил, во-первых, предусмотреть уже в этом, а не в следующем договоре «существенные сокращения» стратегических вооружений, а во-вторых, оставить (тоже вопреки владивостокской договоренности) за рамками Договора ОСВ-2 для последующих переговоров крылатые ракеты большой дальности, то есть, по сути дела, США хотели развязать себе руки для гонки стратегических вооружений на новом направлении, где, как и в большинстве других случаев, они были в то время впереди СССР.

В письме Картера содержались и другие вызывавшие раздражение у советских руководителей моменты, в частности его заявка на публичную постановку вопроса о правах человека в СССР. К этому добавилось и открытое письмо Картера А. Д. Сахарову. Главным разочарованием для Москвы был явный отход нового президента от владивостокской договоренности. С учетом же того, с какими внутренними коллизиями было сопряжено для Брежнева достижение договоренности с Фордом во Владивостоке, такой «вираж» Картера был воспринят им весьма болезненно не только ввиду неприемлемости новых американских предложений по их сути, но и как вызывающий акт по отношению к нему лично. Соответственно, ответное письмо Брежнева от 25 февраля носило твердый, а местами и резковатый характер.

В таких же тонах было составлено и послание Картера Брежневу от 4 марта, которое к тому же поступило в Москву не по

обычным дипломатическим каналам, а по «горячей линии» Белый дом – Кремль, предназначенной для использования в чрезвычайных ситуациях. Как пишет в своих мемуарах Бжезинский, бывший помощник президента Картера по национальной безопасности, это было сделано по его инициативе, с тем, дескать, чтобы послание президента сразу попало к Брежневу, минуя «бюрократические каналы» МИДа и других ведомств. А в результате получилось только хуже, поскольку на московском конце «горячей линии», обслуживаемой КГБ, дежурили переводчики отнюдь не высшей квалификации, к тому же совершенно незнакомые с тематикой переговоров по стратегическим вооружениям. Поэтому сделанный ими перевод послания Картера грешил многими неточностями и шероховатостями, что отнюдь не способствовало лучшему его восприятию советскими руководителями.

Ответ Брежнева от 15 марта был выдержан по форме в более спокойных тонах. Но по сути позиции сторон перед намеченным на конец марта визитом в Москву Вэнса оказались принципиально разными. Если советская сторона твердо стояла на необходимости завершения работы над Договором ОСВ-2 на основе владивостокской договоренности, то американцы пытались трансформировать владивостокскую договоренность в нечто совершенно другое, неприемлемое для советского руководства и с военно-стратегической, и с политической, и с психологической точек зрения. А по мере приближения срока визита Вэнса становилось все более ясным из публичных высказываний Картера, из целенаправленных «утечек» в американской прессе, а затем и из бесед госсекретаря с советским послом в Вашингтоне Добрыниным, что Вэнс будет излагать в Москве позиции, не имеющие вообще ничего общего с владивостокскими договоренностями, а именно – так называемые «всеобъемлющие предложения», предусматривающие «глубокие сокращения» СНВ, причем с явно более выгодным для США набором таких сокращений. Уже сам факт придания огласке основного содержания американских предложений еще до их изложения Вэнсом советскому руководству воспринимался в Москве как означавший отсутствие у Картера серьезных намерений и его стремление получить лишь пропагандистский выигрыш.

Поэтому можно было заранее предположить, что миссия Вэнса в Москву в части, касавшейся Договора ОСВ-2, обречена на неудачу. И действительно, изложенные Вэнсом новые американские предложения означали столь явный отход от всего достигнутого на переговорах по ОСВ-2 при Никсоне и Форде, что

они были сразу же отвергнуты советской стороной без их обсуждения и без выдвижения контрпредложений – просто были подтверждены наши прежние позиции, основанные на владивостокской договоренности.

Следует отметить, что, в отличие от многих других случаев, на этот раз было полное единодушие насчет новых американских предложений не только «наверху», в советском руководстве, но и среди профессионалов, занимавшихся этой проблемой. И вовсе не потому, что все мы были против существенных сокращений СНВ. Отнюдь нет. Но мы считали абсолютно нелогичным, лишенным здравого смысла отбрасывать результаты совместного пятилетнего труда, во многом уже подготовленный Договор ОСВ-2, и начинать фактически новые переговоры, требовавшие новых концептуальных решений и длительной проработки многих практических, в том числе технических, вопросов. Нелогичность подобного образа действий казалась настолько очевидной, что если бы даже выдвинутые Картером предложения о «глубоких сокращениях» были по своему содержанию более сбалансированными и в итоге более приемлемыми для СССР, то и в этом случае тогда они не встретили бы, думаю, положительной реакции. Все равно сработал бы принцип: «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Если же учесть, что новые американские предложения были слишком явно нацелены на достижение односторонних преимуществ для США, то они вообще не могли быть восприняты советским руководством в качестве серьезной инициативы, что и определило резко негативную реакцию с его стороны.

Надо сказать, что для Вэнса и сопровождавшего его директора Агентства США по контролю над вооружениями и разоружению П. Уорнке такая реакция советской стороны, похоже, не явилась неожиданной. Чувствовалось, что они и сами не были убеждены в разумности позиций, занятых американской администрацией. Это ощущение полностью подтвердилось впоследствии, когда появились мемуары Картера, Вэнса, Бжезинского и монографии американских исследователей того периода, из которых видно, что внутри администрации, в том числе между Вэнсом и Бжезинским, были заметные расхождения относительно американкой позиции по вопросам СНВ. Судя по всему, трансформация позиции Картера – от готовности завершить Договор ОСВ-2 на основе владивостокской договоренности к амбициозным «глубоким сокращениям» СНВ – объяснялась рядом разных по своему характеру факторов.

С одной стороны, сам президент искренне стремился как можно скорее перейти к радикальным сокращениям СНВ;

с другой – Пентагон, поддержанный Бжезинским, стремился воспользоваться этим романтическим порывом Картера для того, чтобы существенно подправить сделанное в области ограничения стратегических вооружений при Никсоне и Форде, причем подправить к односторонней выгоде США; с третьей – на президента оказывали воздействие сенатор Джексон и его единомышленники, обусловившие свою поддержку возможного Договора ОСВ-2 такими требованиями к его содержанию, выдвижение которых американской стороной, как они понимали, могло вообще сорвать его заключение, чего, собственно, они и желали; с четвертой – Вэнс, Уорнке и их единомышленники считали предпочтительным завершить Договор ОСВ-2 на основе владивостокской договоренности, но и они, как видно, полностью не понимали и, во всяком случае, не сумели довести до сознания Картера, каким психологическим шоком для Брежнева явится отказ президента от Владивостока.

Я в этом убедился в результате последующих неофициальных бесед с ними. В ответ на их сетования по поводу того, что визит Вэнса в Москву в марте 1977 года провалился во многом из-за того, что Брежнев и Громыко «мазнули его по лицу мокрой тряпкой» (имелся в виду их отказ даже обсуждать привезенные им предложения), я им предложил, используя их же образное выражение, представить себе, что письмо Картера от 14 февраля и позиции, с которыми приехал Вэнс, были для Брежнева и Громыко не просто «мокрой тряпкой», а «грязной, дурно пахнущей мокрой тряпкой». После такого образного сравнения они стали лучше понимать причины неудачи Вэнса.

Между тем, хорошо зная настроения советских руководителей того времени, я могу с уверенностью сказать, что если бы Картер, как он первоначально и обещал, проявил в марте 1977 года готовность завершить Договор ОСВ-2 на владивостокской основе, а его предложения насчет «глубоких сокращений» были бы изложены в виде целей для последующих переговоров, то Договор ОСВ-2 – примерно такого содержания, как подписанный в 1979 году, – вполне мог бы быть завершен еще к концу 1977-го или началу 1978 года. И не исключено, что следующий договор (ОСВ-3), который предусматривал бы существенные сокращения СНВ, был бы выработан уже к концу президентства Картера. Однако возможность для такого благоприятного развития событий была упущена и процесс подготовки Договора ОСВ-2 оказался гораздо более длительным и трудным.

Ведь мартовская инициатива Картера насчет «глубоких сокращений» означала не просто механическую потерю двух-трех

месяцев. После той рекламной шумихи, которой сопровождалась мартовская инициатива, возвращаться во «владивостокскую колею» для самого же Картера было весьма нелегким делом по соображениям престижа и политической конъюнктуры, поскольку это выглядело бы как его поражение и отступление. Этим были обусловлены многие дополнительные трудности на последующих переговорах, без чего процесс выработки Договора ОСВ-2 наверняка был бы быстрее и проще. Поэтому если даже считать, что главным побудительным мотивом при принятии Картером опрометчивого решения в марте 1977 года было его искреннее стремление к более быстрым и более радикальным шагам в области разоружения, то это один из тех случаев, к которым применима русская пословица: «Лучшее – враг хорошего». Благой порыв привел к обратному результату.

Договор ОСВ-2 и «кубинский мини-кризис»

Итак, позиции, с которых выступал Вэнс в Москве в марте 1977 года, не только не позволили продвинуться вперед в процессе выработки Договора ОСВ-2, застопорившемся при Форде в 1976 году, но и отбросили этот процесс назад. Однако излишне драматизировать ситуацию не было оснований. Во-первых, уже во время пребывания Вэнса в Москве было условлено провести вскоре, в мае, новую встречу министров в Женеве для поиска выхода из создавшейся ситуации с переговорами по ОСВ. Во-вторых, тогда же, в марте, была достигнута договоренность о создании целого ряда советско-американских рабочих групп по другим вопросам ограничения вооружений и разоружения: 1) по полному запрещению испытаний ядерного оружия; 2) по запрещению химического оружия; 3) по предварительным уведомлениям об испытательных пусках ракет; 4) по проблеме антиспутникового оружия; 5) по гражданской обороне; 6) по ограничению военной деятельности в Индийском океане; 7) по радиологическому оружию; 8) по ограничению поставок оружия странам третьего мира; 9) по укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

В результате состоявшейся в середине мая встречи Громыко и Вэнса в Женеве, которой предшествовал интенсивный обмен мнениями через советское посольство в Вашингтоне, было найдено взаимоприемлемое решение о путях выхода из тупика на основе владивостокской договоренности. Было условлено готовить три документа: а) договор сроком до конца 1985 года, в котором были бы зафиксированы предусмотренные во

Владивостоке уровни для МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков с некоторым их понижением еще до истечения срока договора; б) протокол со сроком действия 2 – 3 года, который был бы неотъемлемой частью договора и устанавливал временные ограничения на крылатые ракеты большой дальности до окончательного решения этого вопроса на дальнейших переговорах; в) документ об основных принципах переговоров о Договоре ОСВ-3, которые должны были начаться сразу после подписания Договора ОСВ-2.

Достижение взаимопонимания насчет общих рамок будущих документов при всей важности этого с точки зрения выхода из тупика еще не означало согласия по всем конкретным параметрам этих документов. В частности, американская сторона продолжала вопреки владивостокской договоренности настаивать на том, чтобы был установлен подуровень для тяжелых МБР, причем такой, который привел бы к уничтожению почти половины советских тяжелых ракет, и это с учетом других стратегических факторов было абсолютно неприемлемо для советской стороны. Но уже в сентябре 1977 года в ходе состоявшихся в США переговоров Громыко с Картером и Вэнсом было согласовано и большинство конкретных параметров будущего Договора ОСВ-2 – после того, как американская сторона прекратила настаивать на сокращении советских тяжелых МБР. Кстати, хотел бы отметить, что Картер, в отличие от своих предшественников Никсона и Форда, не говоря уже о его преемнике Рейгане, был способен сам вести предметные переговоры по весьма сложным проблемам, касавшимся стратегических вооружений.

Путь к быстрому завершению Договора ОСВ-2, казалось, был открыт. Однако понадобилось еще более полутора лет, прежде чем он был подписан. Это лишь отчасти объяснялось сложностью предмета переговоров. Главным осложняющим моментом было то, что в США, в том числе внутри администрации, сохранялось активное сопротивление достижению договоренностей с СССР по ОСВ на взаимоприемлемой основе. Конкретно это сопротивление проявлялось двояко. С одной стороны, на самих переговорах по ОСВ по настоянию Пентагона и его сторонников в окружении президента ставились все новые вопросы и выдвигались такие предложения, которые заведомо были рассчитаны на их неприемлемость для СССР и, таким образом, на затягивание, если не срыв переговоров. Приведу лишь один пример того, как это делалось.

Предлагалось, скажем, включить в договор положение, запрещающее шифрование телеметрических данных при

испытательных пусках ракет. Советская сторона, признавая правомерность этой постановки вопроса в части, касающейся телеметрических данных, которые действительно необходимы для взаимного контроля за соблюдением договора, предлагала выработать перечень таких данных, шифрование которых было бы запрещено. Но американская сторона категорически отказывалась вырабатывать подобный перечень, настаивая на полном запрещении шифрования всех телеметрических данных, то есть и тех, которые не имели никакого отношения к договору, но были необходимы для того, ради чего вообще производятся испытательные пуски ракет. Споры по этому и подобным надуманным вопросам велись не только на уровне делегаций, но и на переговорах министров, и в переписке на высшем уровне. И это длилось многие месяцы, прежде чем стороны приходили к согласию.

С другой стороны, Вашингтон периодически предпринимал попытки увязывать продвижение на переговорах по ОСВ с «поведением» Советского Союза в совершенно других областях, например с его действиями в Анголе, Эфиопии, Южном Йемене и т. д.

Результатом и в тех и в других случаях было одно и то же: замедление переговоров и паузы в них, что и требовалось таким сподвижникам Картера, как Бжезинский. В своих мемуарах Вэнс с грустью вспоминает, что некоторые политические советники президента под предлогом необходимости обезопасить его от критики справа «рекомендовали, чтобы мы сознательно тормозили переговоры и ужесточали наши позиции… Мне не было нужды опасаться за президента. Он отвергал все подобные советы. И тем не менее кое-кто из его окружения, дававший эти советы, преуспел в замедлении прогресса на переговорах, частично затрудняя внесение необходимых изменений в переговорные позиции США».

Об ожесточенности того сопротивления Договору ОСВ-2, которое приходилось преодолевать президенту Картеру, может свидетельствовать заявление, сделанное сенатором Джексоном накануне отлета президента в Вену для встречи с Брежневым и подписания Договора ОСВ-2. Он уподобил эту поездку Картера поездке Чемберлена в Мюнхен в 1938 году для встречи с Гитлером и подписания Мюнхенского соглашения. О том, насколько болезненно воспринял Картер это сравнение, говорит такая деталь. По прибытии в Вену, где в это время моросил дождь, Картер категорически запретил своему охраннику раскрыть над ним зонт, чтобы не дать повода для злословия, имея в виду обошедшую в свое время мир фотографию Чемберлена с

зонтом в Мюнхене.

Но так или иначе в июне 1979 года в Вене Договор ОСВ-2 был подписан. По тем временам это был существенный шаг в деле ограничения вооружений и разоружения. Он не только устанавливал определенные количественные ограничения на все виды стратегических наступательных вооружений, но и предусматривал некоторое их сокращение, а также ряд запретов на новые их типы и определенные пределы для модернизации прежних типов. Был намечен и путь для дальнейших, более радикальных шагов в этой области. Свои конкретные соображения на этот счет, написанные собственноручно, Картер передал Брежневу уже в Вене.

В Москве без затяжки началась разработка наших позиций для будущих переговоров, нацеленных на существенное сокращение СНВ при учете всех факторов, определяющих стратегическую ситуацию. И думается, в этом плане при Картере открывалась неплохая перспектива. В отличие от своих предшественников, Картер в контактах с нами прямо говорил о признании им того фактора, что СССР должен считаться с наличием ядерного оружия у союзников США и у Китая. Позже Картер говорил об этом и открыто: «Есть еще один дисбаланс, который не любят обсуждать американские переговорщики. Мы предпочитаем пользоваться только понятием равновесия между США и СССР. Но с точки зрения Москвы есть гораздо более внушительный набор угроз, исходящих не только от США и их союзников, Франции и Великобритании, но и от такого, похоже, непримиримого противника, как Китай».

К сожалению, после подписания Договора ОСВ-2 его противники в США не прекратили своих происков против него. Для того чтобы не допустить его ратификации, они наряду с массированной критикой его содержания, как якобы более выгодного Советскому Союзу, предприняли крупную политическую провокацию с целью бросить тень в целом на СССР. Со ссылкой на данные американских разведслужб в прессе, а затем и в конгрессе была развернута шумная антисоветская кампания по поводу «обнаружения» на Кубе советской боевой бригады, доставленной туда якобы незадолго до этого в нарушение советско-американской договоренности 1962 года. Помимо требований о выводе советской бригады с Кубы был поставлен вопрос об отказе от ратификации Договора ОСВ-2, поскольку, мол, нельзя рассчитывать на добросовестное соблюдение Москвой и этого договора.

На самом же деле советская воинская часть, вокруг которой была поднята шумиха, находилась на Кубе с 1962 года, и ее

пребывание там нисколько не противоречило договоренности 1962 года, так как эта часть не имела отношения к ракетам. По существу она была оставлена на Кубе в качестве «заложницы», демонстрируя Кастро, что мы будем вынуждены прийти ему на помощь, если США, вопреки взятому на себя обязательству о невторжении на Кубу, предпримут такое вторжение. Поскольку в этом случае советские военнослужащие тоже оказались бы объектом агрессии, у Кастро должно было быть больше уверенности в том, что СССР не останется в стороне.

И все эти годы американская разведка, несомненно, была осведомлена о нахождении советской воинской части на Кубе. Как видно из дневниковых записей президента Картера, он с самого начала понимал безосновательность каких-либо претензий к Советскому Союзу в этой связи. Так, в записи от 4 сентября о беседе на эту тему с сенатором Бэрдом он упоминает об отсутствии каких-либо оснований для требования о выводе Советским Союзом с Кубы бригады, которая находилась там «в течение последних 15–20 лет», а в записи от 5 сентября прямо говорится, что ее нахождение там «не представляет угрозы для нашей страны и не является нарушением какого-либо советского обязательства».

И тем не менее, как ни странно, в своем выступлении по телевидению через два дня, 7 сентября, президент Картер заявил нечто прямо противоположное: «Мы рассматриваем присутствие советской боевой бригады на Кубе как очень серьезное дело, и **сохранение такого статус-кво неприемлемо** (выделено мною. – *Г. К.*)». Так и осталось загадкой, чем руководствовался Картер, употребляя подобную жесткую формулировку, напоминавшую к тому же бескомпромиссную постановку вопроса президентом Кеннеди в 1962 году о «неприемлемости» оставления советских ракет на Кубе.

Через некоторое время Картер попытался спасти положение, создав высокоавторитетную комиссию, которая подтвердила, что советская бригада находилась на Кубе с 1962 года и это не противоречило договоренности 1962 года, а также что американская разведка располагала данными на этот счет ранее и бригада эта не представляет никакой угрозы для США.

Но к этому времени, **еще до ввода советских войск в Афганистан**, Договор ОСВ-2 был уже обречен. На этот счет среди прочих свидетельств есть откровенное признание такого осведомленного участника тех событий, как Бжезинский. В своих мемуарах он, отметив, что в случае с советской бригадой на Кубе администрация допустила «сверхреакцию», далее писал: «Это пустило под откос Договор ОСВ-2, импульс в пользу Договора был

утрачен, а советское вторжение в Афганистан явилось последним гвоздем в его гроб». Другими словами, по признанию Бжезинского, Договор ОСВ-2 был загнан в гроб еще до афганских событий с помощью искусственно созданного на совершенно пустом месте «кубинского мини-кризиса» (о своей активной причастности к этому Бжезинский, видимо из скромности, умолчал). Теоретически рассуждая, видимо, можно говорить лишь о том, что ввод советских войск в Афганистан исключил возможность реанимации Договора ОСВ-2, если она гипотетически существовала, а не о том, что Афганистан убил этот договор. Это ведь не одно и то же.

Показательно, что и другие советско-американские переговоры в области разоружения – о полном прекращении ядерных испытаний, об отказе от антиспутникового оружия, об ограничении военной деятельности в Индийском океане, об ограничении поставок оружия странам третьего мира – все они под разными предлогами были свернуты американской стороной тоже еще до Афганистана.

Позже в своих мемуарах Картер напишет: «Наша неудача ратифицировать Договор ОСВ-2 и обеспечить еще более далеко идущие соглашения по контролю над вооружениями явилась самым глубоким разочарованием моего президентства».

Однако неудача эта, как свидетельствуют факты, объяснялась не столько тем, что к этому не был готов Советский Союз, сколько тем, что в США, в том числе в самой администрации, отнюдь не все разделяли устремления Картера к кардинальным шагам в области разоружения. Да и он сам не отличался последовательностью в своих усилиях в этой области. Во всяком случае, открывавшиеся вроде бы с его приходом в Белый дом возможности для больших свершений в деле разоружения, а вместе с этим и для качественных изменений в американо-советских отношениях были вновь упущены, и надолго.

Ближневосточный зигзаг

В президентство Картера открывалась еще одна уникальная возможность для советско-американского сотрудничества в международных делах, но она тоже оказалась упущенной.

Речь идет о Ближнем Востоке, который на протяжении долгих лет был серьезным раздражителем в советско-американских отношениях. Тема Ближнего Востока в «холодной войне» далеко не исчерпывается рассказанными в главах 6 и 7 эпизодами, связанными с арабо-израильскими войнами 1967 и 1973 годов,

как и тем, о чем говорится ниже. Это действительно лишь эпизоды, являющиеся с моей точки зрения, наиболее важными.

В результате напряженных усилий МИД СССР и государственного департамента США в 1977 году удалось сделать то, чего не получалось добиться на протяжении предыдущего десятилетия со времени ближневосточной войны 1967 года: были выработаны и согласованы принципы совместных и параллельных действий СССР и США, направленных на достижение **всеобъемлющего ближневосточного урегулирования**. Ввиду важности этого документа приведу его текст полностью:

«СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

Обменявшись мнениями по поводу сохраняющейся опасной ситуации на Ближнем Востоке, член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко и государственный секретарь США С. Вэнс считают необходимым заявить от имени своих стран, являющихся сопредседателями Женевской мирной конференции по Ближнему Востоку, следующее:

1. Обе стороны убеждены в том, что жизненные интересы народов этого района, как и интересы мира и международной безопасности в целом, настоятельно диктуют необходимость быстрейшего достижения справедливого и прочного урегулирования арабо-израильского конфликта. Это урегулирование должно быть всеобъемлющим, охватывающим все заинтересованные стороны и все вопросы.

Советская и американская стороны считают, что в рамках всеобъемлющего урегулирования ближневосточной проблемы должны быть решены все конкретные вопросы урегулирования, в том числе такие ключевые, как вывод израильских войск с территорий, оккупированных во время конфликта 1967 года, палестинский вопрос, включая обеспечение законных прав палестинского народа, прекращение состояния войны и установление нормальных мирных отношений на основе взаимного признания принципов суверенитета, территориальной целостности и политической независимости.

Обе стороны придерживаются мнения, что в дополнение к таким мерам обеспечения безопасности границ между Израилем и соседними арабскими государствами, как создание демилитаризованных зон и согласованное размещение в них войск или наблюдателей ООН, по желанию договаривающихся сторон могут быть также установлены международные гарантии таких границ, как и в целом соблюдения условий урегулирования. Советский Союз и Соединенные Штаты готовы

участвовать в этих гарантиях с учетом их соответствующих конституционных процессов.

2. Советская и американская стороны считают, что единственно правильным и эффективным путем для обеспечения кардинального решения всех аспектов ближневосточной проблемы в комплексе являются переговоры в рамках специально созванной для этих целей Женевской мирной конференции при участии в ее работе представителей всех вовлеченных в конфликт сторон, в том числе палестинского народа, и договорно-правовое оформление достигнутых на конференции решений.

В качестве сопредседателей Женевской конференции СССР и США подтверждают свое намерение путем совместных усилий и действуя в контакте со всеми заинтересованными сторонами всемирно содействовать тому, чтобы работа конференции была возобновлена не позже декабря 1977 года. Сопредседатели констатируют, что еще остаются некоторые вопросы процедурного и организационного характера, которые подлежат согласованию между участниками Женевской конференции.

3. Руководствуясь целью достижения справедливого политического урегулирования на Ближнем Востоке и ликвидации взрывоопасной ситуации в этом районе мира, СССР и США обращаются с призывом ко всем сторонам в конфликте осознать необходимость трезвого учета законных прав и интересов друг друга и проявить взаимную готовность действовать соответственно этому.

1 октября 1977 года».

То, что Советский Союз и Соединенные Штаты нашли наконец общий язык в отношении путей установления прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, открывало хорошую перспективу в интересах всех государств и народов этого многострадального региона, как и в интересах мира в целом. Одновременно этот документ поднимал на качественно новый уровень отношения между СССР и США, означая их готовность ради достижения указанной общей цели отойти от своих прежних односторонних позиций – соответственно, проарабской и произраильской.

Однако именно поэтому Совместное советско-американское заявление по Ближнему Востоку от 1 октября 1977 года было встречено в штыки мощным произраильским лобби в США. И, к сожалению, президент Картер не устоял перед натиском этого лобби, тем более что и его ближайшее окружение, включая Бжезинского, не испытывало, мягко говоря, радости по поводу этого документа, явившегося результатом усилий в основном госсекретаря Вэнса с американской стороны.

В итоге США очень скоро своими действиями перечеркнули главные принципы, заложенные в Совместном заявлении: о том, что ближневосточное урегулирование должно быть всеобъемлющим, охватывающим все заинтересованные стороны и все вопросы и что добиваться такого урегулирования США и СССР будут совместными усилиями. Вместо этого Картер вскоре выступил инициатором и главным участником сепаратных переговоров между Садатом и Бегином, в результате чего Ближний Восток еще в течение многих лет оставался, да и остается одной из самых «горячих точек» на планете. Позже Картер пытался оправдать свои действия тем, что Садат и Бегин воспротивились реализации Совместного советско-американского заявления по Ближнему Востоку и ему, дескать, не оставалось ничего другого, как пойти по другому пути.

Между тем Вэнс впоследствии рассказывал мне, что по ходу работы с нами над текстом заявления он согласовывал его основные положения не только с Картером, но и с Бегином и с Садатом.

Да и не кто иной, как Бжезинский признает в своих мемуарах, что прежде всего, сами США отошли от этого документа чуть ли не на второй день после его принятия и стали действовать на Ближнем Востоке в обход Советского Союза. Так, он писал: «Американо-советское заявление от 1 октября по Ближнему Востоку было, наверное, высшей точкой короткого периода кажущегося улучшения американо-советских отношений. Советы не скрывали своего разочарования, когда в течение буквально нескольких дней **американская сторона отошла от этого заявления** (выделено мною. – *Г. К.*), и Брежнев в последующих письмах Картеру выражал сильное неудовольствие по поводу растущего желания США исключить Советский Союз из ближневосточного мирного процесса».

Таким образом, и в данном случае созданная было усилиями обеих сторон благоприятная возможность для успешного решения наконец с их помощью одной из самых острых и сложных международных проблем – ближневосточной – тоже стала жертвой внутриамериканских перипетий и непоследовательности руководства США.

Я должен признаться, что, когда в 1979 году между Египтом и Израилем был заключен сепаратный мирный договор, у меня лично первоначально не было однозначно отрицательного отношения к нему. Мне думалось, что, быть может, он станет первым шагом на пути к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Ведь Бегину и Садату было очень нелегко решиться на тот шаг. Их страны да и их лично разделяли десятилетия

ожесточенной вражды. Чтобы читатель яснее представил себе накал этой вражды, приведу по одному факту из их биографий.

В 1953 году в западной печати появились сообщения о том, что Гитлер все еще жив. В этой связи египетский еженедельник «Аль Муссавар» обратился к ряду египетских политических деятелей, в том числе к Садату, в то время члену Революционного трибунала, с вопросом: «Если бы вы захотели направить Гитлеру личное письмо, что бы вы написали ему?» И затем еженедельник опубликовал текст письма Садата, в котором он сердечно поздравлял Гитлера с «воскрешением», выражал уверенность, что Германия тоже возродится «и вновь станет такой же, какой она была прежде» и что Гитлер вернется туда или там появится новый Гитлер.

А вот что говорил Бегин в 1958 году, обращаясь к офицерам израильской армии: «Вы, израэлиты, не должны быть сердобольными, когда убиваете своего врага. Вы не должны сочувствовать ему до тех пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую культуру, на развалинах которой мы построим свою собственную цивилизацию».

Казалось невозможным представить себе, чтобы эти два человека смогли когда-либо найти общий язык. Но спустя более чем 20 лет они сели за стол переговоров и подписали договор о мире.

Мне тогда подумалось, что это может послужить примером и для других участников ближневосточного конфликта. Я даже попробовал поговорить об этом с Громыко, но был жестоко раскритикован. Он, как и Вэнс, вложил немало сил и ума в выработку принципов всеобъемлющего ближневосточного урегулирования, сформулированных в заявлении от 1 октября 1977 года, и был твердо убежден, что путь сепаратных сделок не приведет к миру на Ближнем Востоке. Прошедшие с тех пор двадцать с лишнем лет подтвердили правоту Громыко.

Тема упущенных возможностей в советско-американских отношениях в период президентства Картера (1977–1980) привлекает внимание многих американских исследователей, которые стараются осмыслить причины, по которым открывавшиеся, казалось бы, возможности не были реализованы, и извлечь из этого соответствующие уроки.

Существует, в частности, теория, что Дж. Картер с его склонностью к радикальным шагам в области разоружения и с его весьма активной позицией в области защиты прав человека просто «опередил время» лет на десять, оказавшись в Белом доме тогда, когда мир, и прежде всего Советский Союз, еще не созрел для восприятия и претворения в жизнь его идей. Вот если бы,

мол, его президентство совпало с приходом в Советском Союзе к руководству Горбачева, то итоги их совместных усилий по перестройке международных отношений были бы намного более впечатляющими, чем это произошло при Рейгане и Буше в качестве контрпартнеров Горбачева. (По вопросам, касающимся того, что произошло при Рейгане и Буше в бытность Горбачева у руля Советского государства я еще выскажусь.)

Однако факты, часть из которых приводилась в данной главе, говорят о том, что если иметь в виду не гипотетические, а реально существовавшие в пору президентства Картера возможности для существенного продвижения вперед в деле свертывания «холодной войны», то они были упущены в значительной мере потому, что в самих Соединенных Штатах, в том числе в администрации президента, далеко не все были его настоящими единомышленниками. В результате линия правительства США в международных делах, и особенно в отношении Советского Союза, была очень непоследовательной, зигзагообразной, что во многом и определило разочаровавшие самого Картера итоги его президентства в этой области.

Глава 9. АФГАНСКАЯ ЭПОПЕЯ: ПЕРИПЕТИИ ВОКРУГ ВВОДА И ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года и их участие в гражданской войне в последующие десять лет серьезно обострили международную обстановку, на многие годы продлив начавшую было затухать «холодную войну». В этом отношении пагубное воздействие афганской эпопеи на состояние международных отношений было аналогичным тому, как американская агрессия во Вьетнаме во второй половине 60-х годов сорвала усилия по свертыванию «холодной войны», предпринятые после карибского кризиса 1962 года, – вернуться к этому процессу удалось только в начале 70-х годов. А Афганистан снова остановил его.

Есть и другая аналогия между Вьетнамом и Афганистаном: как вьетнамская война глубоко травмировала американское общество, так и афганская война травмировала советское. Отсюда сохраняющийся интерес к истории этой войны.

Об обстоятельствах ввода советских войск в Афганистан немало уже написано. Но некоторые мои воспоминания, думается, в чем-то помогут более полно воссоздать эту печальную страницу нашей истории. Это же относится и к моему рассказу об обстоятельствах, касающихся светлой страницы, – вывода советских войск из Афганистана.

Как все началось

Когда в апреле 1978 года в Кабуле произошел государственный переворот (получивший впоследствии название саурской, то есть апрельской, революции), на Западе да и в нашей стране было распространено мнение о причастности Советского Союза к смене режима в Афганистане. Обосновывалось это мнение главным образом тем, что совершившие переворот офицеры (некоторые из них к тому же обучались ранее в СССР) принадлежали к Народно-демократической партии Афганистана, руководители которой причисляли себя к марксистам.

На самом же деле для Москвы этот переворот был совершенно неожиданным – первое известие о нем поступило по линии английского агентства Рейтер, а уже потом постфактум

пришло сообщение от посольства СССР в Кабуле. По линии наших спецслужб заблаговременной информации тоже не поступало. Даже имена деятелей, пришедших к власти, – Тараки, Кармаля, Амина и других, ничего не говорили ни А. А. Громыко, ни другим членам советского руководства. Они были известны лишь работникам Международного отдела ЦК КПСС и КГБ.

Позже лидер НДПА Тараки в беседе со мной откровенно говорил, что, хотя у них имелась возможность уведомить советских представителей в Кабуле о готовившемся перевороте, они сознательно не стали делать этого, так как опасались, что Москва попытается отговорить руководство НДПА от вооруженного выступления, ссылаясь на отсутствие в Афганистане в ту пору революционной ситуации.

Эти опасения руководителей НДПА не были лишены оснований. Если бы в Москве узнали об их намерениях, скорее всего последовал бы совет не предпринимать этого шага, поскольку с марксистской точки зрения революционной ситуации в стране действительно не было, а отношения Советского Союза с Афганистаном и при короле Захир-шахе, и затем при Дауде, несмотря на заигрывания последнего с Западом, в целом были дружественными.

Однако когда переворот стал свершившимся фактом, наши партийные идеологи и международники в лице прежде всего М. А. Суслова и Б. Н. Пономарева сразу же стали рассматривать Афганистан как еще одну социалистическую – в близкой перспективе – страну. Хотя по всем меркам афганское общество было весьма далеко от социалистической стадии развития, людям, подобным Суслову, Афганистан виделся «второй Монголией», перепрыгивающей из феодализма в социализм.

Мне вспоминается, как в ходе одного из совещаний в ЦК КПСС по Афганистану я, выразив сомнение по поводу концепции «второй Монголии» применительно к Афганистану, заметил, что интересам Советского Союза вполне отвечало бы, если бы Афганистан, дай бог, стал для него своего рода азиатским вариантом нейтральной Финляндии. Это, как я считал, было бы максимально удобным вариантом и с точки зрения «проглатываемости» его Западом (на что достаточно прозрачно намекал нам З. Бжезинский, помощник президента США по делам национальной безопасности).

В связи с этим моим замечанием последовало недоуменное восклицание Пономарева: «Как можно уподоблять Афганистан Финляндии? Ведь Финляндия – это буржуазное государство». А на мой встречный недоуменный вопрос: «Неужели можно всерьез считать Афганистан созревшим для социализма?» – поторопился

ответить Р. А. Ульяновский (правая рука Пономарева по странам «третьего мира»), который назидательно изрек: «Сейчас в мире нет такой страны, которая не созрела бы для социализма».

Поэтому неудивительно, что в Афганистан хлынул поток всякого рода советников из СССР – и партийных, и ведомственных, и хозяйственных, которые, даже будучи квалифицированными в своих областях людьми, все же не могли научить афганцев ничему другому, кроме советской модели социализма, в чем афганцы, конечно же, нуждались меньше всего. Наша вовлеченность в афганские дела в самых разных формах – и в виде советнической деятельности, и в виде материальной помощи, включая военную, – увеличивалась с каждым месяцем. Сомнения, возникшие уже на той стадии у некоторых профессионалов – как дипломатов, так и военных, – насчет разумности такой широкой вовлеченности, отметались партийным руководством с порога.

Между тем НДПА не смогла получить в афганском обществе сколько-нибудь массовой поддержки, без чего государственный переворот не мог перерасти и не перерос в социальную революцию. К тому же среди пришедших к власти было немало «леваков», сторонников голого насилия, пренебрегавших национальными и исламскими традициями, нравами и обычаями страны, что еще больше настраивало людей против новой власти. Приведу лишь один пример. С подачи наших советников в новую афганскую конституцию было переписано – один к одному – положение о том, что правосудие в стране осуществляется исключительно судами. И это в средневековой мусульманской стране, где муллы (их в Афганистане насчитывалось четверть миллиона) традиционно исполняли, помимо прочего, функции мировых судей. Попытки лишения их этой функции не могли не озлоблять их, хотя бы потому, что подрывали их и без того небогатую материальную базу. Нововведение не доставляло радости и всем, кому предстояло теперь идти со своей жалобой не к живущему рядом мулле, который знал и обиженного, и обидчика, а за тридевять земель – искать правду неизвестно где.

Появление в стране все большего числа «неверных» с Севера лишь усугубляло ситуацию. Возникло и нарастало вооруженное сопротивление властям, подпитываемое извне через Пакистан и Иран.

Первая просьба о вводе советских войск

В связи с происшедшим в марте 1979 года

антиправительственным мятежом в Герате, к которому приложил руку Иран, афганское руководство в лице Тараки впервые обратилось с прямой просьбой о присылке советских войск. Эту просьбу Тараки высказал в ночь с 17 на 18 марта в телефонном разговоре с А. Н. Косыгиным. Последний, пообещав обсудить дело со своими коллегами, вместе с тем с ходу выразил Тараки серьезные сомнения в возможности и разумности удовлетворения его просьбы, поскольку это было бы расценено в мире как интервенция в Афганистан со стороны Советского Союза. «Это сложный политический, международный вопрос», – подчеркнул Косыгин.

Еще до этого разговора Косыгина с Тараки, вечером 17 марта состоялось заседание Политбюро (в отсутствие Брежнева и Суслова его вел Кириленко), на котором обсуждалось осложнившаяся обстановка в Афганистане, и в частности в Герате. Хотя к тому моменту еще не было прямой просьбы Тараки о присылке войск, в ходе дискуссии высказывались и вроде бы даже преобладали мнения о том, что, возможно, придется пойти и на такой шаг, чтобы «не потерять Афганистан». Однако на состоявшемся 18 марта заседании Политбюро (Брежнева, как и Суслова, на нем опять не было, но до заседания с ними говорили по телефону Косыгин, а также Кириленко) все сошлись на том, что посылать советские войска в Афганистан нельзя, это лишь еще больше осложнит там обстановку и будет иметь серьезные международные последствия для Советского Союза, сильно подстегнет «холодную войну». Этот вывод был подтвержден и на заседании Политбюро 19 марта, на котором председательствовал Брежнев. Ни на одном из этих заседаний я не присутствовал, но о принятом в итоге решении мог судить по характеру материала, который было поручено подготовить для бесед с Тараки – его решили срочно пригласить в Москву с закрытым визитом (о визите знало очень ограниченное число лиц и в Москве, и в Кабуле).

По прибытии Тараки в Москву 20 марта Косыгин уже от имени всего советского руководства со всей определенностью отклонил его просьбу о посылке в Афганистан советских войск, сказав в заключение: «Хочу еще раз подчеркнуть, что вопрос о вводе войск рассматривался нами со всех сторон, мы тщательно изучали все аспекты этой акции и пришли к выводу о том, что если ввести наши войска, то обстановка в вашей стране не только не улучшится, а наоборот, осложнится».

Для того чтобы не оставлять у Тараки надежду на «апелляцию в последнюю инстанцию», в тот же день не без труда – ввиду состояния здоровья советского лидера – была

организована его встреча с Л. И. Брежневым, который в соответствии с подготовленным к беседе материалом сказал Тараки, в частности, следующее: «Теперь о вопросе, который вы поставили в телефонном разговоре с Косыгиным и затем здесь, в Москве, – насчет возможности ввода советских частей в Афганистан. Мы этот вопрос всесторонне рассматривали, тщательно взвешивали, и скажу прямо: этого делать не следует».

Вслед за этим 1 апреля в ЦК была внесена записка за подписями Громыко, Андропова, Устинова и Пономарева, в которой на основе анализа внутренней ситуации в Афганистане, а также положения в руководстве страны, делался однозначный вывод: решение об отказе в посылке советских войск в Афганистан было правильным и этой же линии следует придерживаться впредь. Главную смысловую нагрузку в записке несли следующие два положения, сформулированные мною с Ахромеевым: «Ясно, что в силу внутренней природы антиправительственной оппозиции в Афганистане использование советских войск для подавления афганской контрреволюции нанесло бы серьезный ущерб международному авторитету СССР и отбросило бы назад процесс разоружения. Кроме того, использование советских войск показало бы слабость правительства Тараки и расширило бы масштабы контрреволюции как внутренней, так и внешней, подняло бы на значительно более высокий уровень наступление антиправительственных сил». Изложенные в записке соображения были одобрены решением Политбюро 12 апреля 1979 года.

Негативные ответы давались афганской стороне еще не раз на протяжении последующих месяцев в связи с новыми обращениями Тараки и Амина насчет присылки советских войск. (Летом 1979 года в Кабул и на ближайший к нему военный аэродром Баграм были направлены небольшие подразделения исключительно с целью обеспечить безопасность советских граждан и их возможную эвакуацию, но не для участия в боевых действиях против антиправительственных сил.)

Когда в сентябре 1979 года Тараки был отстранен от власти, а затем и физически уничтожен по приказу Амина, который занял его место и развернул широкие репрессии против его сторонников, это было болезненно воспринято в Москве. Тем не менее послу СССР в Кабуле, как и всем другим советским представителям там, по инициативе МИДа было дано указание иметь дело с Амином как с фактическим руководителем страны, учитывая долгосрочные интересы Советского Союза и необходимость удержания Афганистана на дружественных позициях.

Когда, как и почему было принято решение о вводе войск

С марта до октября 1979 года мы с А. А. Громыко не один раз обменивались мнениями по поводу просьб афганского руководства о присылке советских войск, и каждый раз выявлялось единое понимание недопустимости такого шага. До середины сентября, когда Громыко и я улетели в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, не замечал я каких-либо колебаний на этот счет и у Ю. В. Андропова и Д. Ф. Устинова. В Москву мы прилетели в первых числах октября, и после первой же встречи с Андроповым и Устиновым, с которой Громыко вернулся в очень мрачном настроении, он «замкнулся» – перестал в разговорах со мной касаться вопроса о нецелесообразности (или целесообразности) ввода советских войск в Афганистан. Из разговоров же с ним уже после ввода войск, я заключил, что не Громыко сказал «а» в пользу такого решения; его «дожали» Андропов и Устинов. Кто из них двоих первым изменил свою прежнюю точку зрения и высказался в пользу ввода войск, можно было только догадываться.

По правде говоря, поначалу я грешил на Андропова, но ставшие известными мне позже дополнительные свидетельства позволяют предположить, что «а» в этом прискорбном деле было сказано, пожалуй, все-таки Устиновым. Толчком к перемене им своей прежней точки зрения послужили ввод осенью 1979 года американских военных кораблей в Персидский залив и поступавшая информация о подготовке к возможному вторжению американцев в Иран, что грозило бы существенно изменить военно-стратегическую ситуацию в регионе в ущерб интересам Советского Союза. Если США позволяют себе такое за десятки тысяч километров от своей территории и в непосредственной близости от границ СССР, то почему мы должны бояться защитить свои позиции в соседнем нам Афганистане? – так примерно рассуждал Устинов. Что же касается Андропова, бывшего в то время председателем КГБ СССР, то он пошел на поводу у своего аппарата, преувеличивавшего, с одной стороны, опасность для СССР пребывания у власти в Афганистане Амина, которого стали изображать американским агентом, а с другой – возможности СССР по изменению ситуации там в желательном для него плане. О существовании таких настроений и представлений в аппарате КГБ мне было известно.

У руководства Генерального штаба в лице его тогдашнего начальника Н. В. Огаркова, первого заместителя С. Ф. Ахромеева и начальника Главного оперативного управления В. И. Варенникова, как я знал, перспектива ввода советских войск в

Афганистан не вызывала энтузиазма. Свои возражения против этого они, по понятным причинам, мотивировали не политическими, а профессиональными соображениями, подкрепленными американским опытом во Вьетнаме: нереальностью управиться в Афганистане теми силами, которые могли быть выделены без серьезного ослабления советских группировок войск в Европе и вдоль китайской границы, что в те годы исключалось. Однако их мнение в итоге было проигнорировано Устиновым. Как мне известно, и эксперты Международного отдела ЦК КПСС считали решение о вводе войск в Афганистан ошибочным и пытались довести свои суждения на этот счет до сведения высшего руководства, но безуспешно.

Насколько мне потом удалось реконструировать развитие событий, мучительные размышления «тройки» над проблемой – вводить или не вводить войска – продолжались в течение октября, ноября и первой декады декабря. 10 декабря 1979 года Устинов дал устное указание Генеральному штабу начать подготовку к десантированию воздушно-десантной дивизии и пяти дивизий военно-транспортной авиации, повысить готовность двух мотострелковых дивизий в Туркестанском военном округе и доукомплектовать до полного штата понтонно-мостовой полк без постановки перед ними конкретных задач.

Но окончательно политическое решение о вводе советских войск в Афганистан было принято во второй половине дня 12 декабря 1979 года узкой группой советских руководителей: Брежневым, Сусловым, Андроповым, Устиновым и Громыко (упоминавшийся в некоторых публикациях Косыгин, по моим данным, не присутствовал – он в эти дни был в больнице). Начальник Генштаба Огарков просидел часа два в соседней комнате, его мнением не поинтересовались. Выйдя из комнаты, где шло обсуждение, Устинов сказал ему: «Решение принято. Поехали в Генштаб отдавать команды». Об этом мне рассказывал сам Огарков.

Таким образом, роковое решение приняли даже не полным составом Политбюро ЦК КПСС, хотя затем задним числом было оформлено рукописное постановление Политбюро, на котором расписались почти все его члены. Однако подпись Косыгина на нем так и не появилась. Я думаю, это тоже сыграло свою роль в решении Брежнева отделаться от него при первом подходящем случае.

Решающее значение для формального одобрения Брежневым предложений Устинова, Андропова и Громыко о вводе войск в Афганистан имел, я уверен, тот факт, что оно было поддержано

М. А. Сусловым. В этой связи хотел бы поделиться некоторыми воспоминаниями об этом «сером кардинале», как его часто называют. Его влияние на Брежнева определялось, думается, не только и не столько тем, что он сыграл важную роль в смене Хрущева Брежневым. Кое-кого из помогавших ему в этом деле Брежнев, наоборот, из-за опасений конкуренции постарался вскоре удалить из руководства. Суслова же он ценил как никогда не претендовавшего на первую роль, но полезного для него опытнейшего аппаратчика, разбирающегося к тому же в идеологических и международных делах.

Наблюдая за ними обоими с конца 1964 года до их смерти – Суслова в начале 1982 года, а Брежнева в конце того же года, – я видел, что, несмотря на возраставшее с течением времени влияние Андропова, Устинова и Громыко, Суслов все же оставался по-настоящему вторым человеком в партии, а тем самым и в государстве. Не случайно поэтому, что он оказался единственным человеком из не первых лиц и не участников Октябрьской революции, кто был похоронен в землю за Мавзолеем Ленина. Мне довелось быть свидетелем того, как решался этот вопрос. Первоначально было уже принято и оформлено решение о кремировании и захоронении урны с прахом Суслова в Кремлевской стене. Но в последний момент Брежнев предложил изменить решение. Он вспомнил, как в один из недавних праздников, когда члены Политбюро проходили из Кремля мимо могил за Мавзолеем, Суслов то ли всерьез, то ли в шутку сказал: «Вот тут есть еще местечко и для меня». «Давайте, – сказал Брежнев, – уважим пожелание Михаила Андреевича». Возражений не последовало.

На заседаниях Политбюро, когда их вел Брежнев, Суслов бывал немногословен, говорил всегда по делу, в отличие от других не занимался славословием Генсека, что в последние годы жизни Брежнева стало обязательным ритуалом. Свое несогласие по каким-то серьезным вопросам он, похоже, предпочитал обговаривать наедине с Брежневым.

Суслова не без оснований считали догматиком в идеологических вопросах. Вместе с тем, когда речь шла о государственных делах – о нашей позиции на переговорах по разоружению, о конкретных вопросах наших отношений с той или иной капиталистической страной и т. п., – я не замечал, чтобы его мнение по этим вопросам носило явно выраженную идеологическую окраску. Правда, встречаться с представителями капиталистического мира он очень не любил. На моей памяти он только однажды принял для беседы политического деятеля нелевого толка. Это был американский сенатор У. Скотт, лидер

республиканцев в сенате США, которого по просьбе Никсона обещал принять Брежнев, но в связи с очередным его недомоганием беседовать с ним пришлось Суслову. Присутствуя на этой беседе, я обратил внимание на то, что Суслов изъяснялся с сенатором на вполне нормальном «государственном» языке с использованием аргументации, лишенной идеологических стереотипов.

Суслов, будучи «выпускающим» решения Политбюро и Секретариата после их голосования «по кругу», в ряде случаев позволял себе, особенно когда речь шла о кадровых, наградных и тому подобных вопросах, поправлять их, иногда передокладывая Брежневу, а иногда и нет. Я испытал это на собственном опыте.

В 1975 году, когда мне исполнялось 50 лет, помощник Громыко сказал мне по секрету, что министр представил меня к награждению орденом Ленина. Неплохо зная к тому времени порядки в ЦК, я предвидел, что этот номер не пройдет: я был тогда только заведующим отделом министерства, таковые же вообще не подлежали награждению каким-либо орденом по случаю юбилейных дат. Согласно табели о рангах, по случаю пятидесятилетий даже первые секретари обкомов партии за редкими исключениями награждались в лучшем случае орденом Трудового Красного Знамени. О чем я и сказал Громыко, но тот ответил, что проект постановления Политбюро по этому вопросу он не только согласовал с Брежневым, но и заручился его визой на этом документе. Эти штуки не раз проделывали те, кто имел доступ к Брежневу, именно для того, чтобы его виза была соответствующим знаком другим голосующим. Но дело в моем случае кончилось, как я и предполагал, тем, что вышедшее из рук Суслова постановление Политбюро гласило о награждении меня орденом Дружбы народов, а не орденом Ленина. Как потом мне сказал Черненко, бывший в то время заведующим Общим отделом ЦК, Суслов, который относился ко мне совсем неплохо, сказал ему при выпуске решения, что он первым проголосовал бы за награждение меня орденом Ленина, если бы в представлении речь шла о конкретных заслугах без увязки с юбилейной датой. И я вовсе не был в обиде на Суслова – порядок есть порядок. К тому же через полтора года я был награжден и своим первым орденом Ленина.

Вернусь к афганским делам. После принятого 12 декабря злополучного решения в приграничных к Афганистану военных округах началась форсированная подготовка соединений и частей, предназначавшихся для ввода в соседнюю страну. 24 декабря Устинов собрал высший руководящий состав

Министерства обороны и объявил о решении ввести советские войска в Афганистан без разъяснения конкретных целей их ввода. В тот же день появился первый письменный документ за подписью министра обороны – директива, в которой говорилось «о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств».

Я, естественно, пытался потом уяснить для себя, чем определялось изменение однозначно отрицательной позиции советского руководства относительно ввода войск в Афганистан, которой оно придерживалось прежде. Ведь основные действующие лица, за исключением Брежнева, казалось, были вполне в состоянии, судя и по их собственным недавним высказываниям, предвидеть неизбежные в этом случае тяжелые последствия как в плане усугубления ситуации в самом Афганистане, так и в плане подрыва международных позиций СССР, если даже не говорить о моральной стороне вопроса. Должны были быть какие-то весомые в их представлении объяснения для такой перемены позиции. Из всего, что мне удалось выяснить на этот счет, вытекало следующее.

Во-первых, в связи с приходом к власти в Кабуле Амина у советского руководства возникли и все больше укреплялись опасения, что Афганистан может быть потерян для СССР и там могут обосноваться американцы, которых подталкивала к этому утрата ими Ирана. Определенные основания для таких опасений действия США, конечно, давали, хотя, думается, опасения эти были в немалой степени гипертрофированы по вине тех, кто снабжал руководство соответствующей информацией. На них же лежала немалая ответственность и за неправильную информацию о внутреннем положении в Афганистане. Из нее, например, руководство могло сделать ложный вывод, будто советские войска, разместившись гарнизонами в крупных городах и других ключевых пунктах и высвободив афганские правительственные войска для операций против антиправительственных формирований, сами не будут вовлечены в боевые действия.

Во-вторых, из некоторых нюансов у меня возникло ощущение, что не только над Сусловым, но и в той или иной мере над Андроповым, Громыко и Устиновым довлело, помимо вполне реальной заботы о безопасности Советского Союза в связи с перспективой замены просоветского режима в Кабуле

проамериканским, и идеологически обусловленное ложное представление, будто речь шла об опасности потерять не просто соседнюю, а «почти социалистическую» страну. С этой точки зрения решение о вводе советских войск в Афганистан, на мой взгляд, было скорее кульминацией, а не началом нашего ошибочного, излишне идеологизированного курса в афганских делах с апреля 1978 года.

В-третьих, при окончательном принятии решения о вводе войск в Афганистан существенную роль сыграло и то, что к этому моменту отношения СССР с США, а также другими странами НАТО серьезно испортились. В частности, подписанный в июне 1979 года Брежневым и Картером Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) в результате происков его противников в США к тому времени был уже обречен (Афганистан лишь добил его позднее). Не случайным, думаю, было и то, что окончательное решение о вводе войск было принято в конце дня 12 декабря 1979 года, после того как в Москве стало известно о принятом в тот же день Советом НАТО решении о размещении в Европе американских ракет средней дальности. Другими словами, доводы, имевшие ранее в глазах советских руководителей большой вес, насчет отрицательных последствий ввода войск для отношений СССР с Западом оказались подорванными тем, что эти отношения и без того обострились – терять, мол, особенно нечего. Здесь определенно был допущен серьезный просчет, особенно непростительный для Громыко. Отрицательные международные последствия для Советского Союза в широком контексте «холодной войны» оказались явно более тяжелыми и долгосрочными, чем предполагали те, кто принимал роковое решение о вводе советских войск в Афганистан.

Принявшая так или иначе решение о вводе войск в Афганистан группа советских руководителей придавала большое значение тому, чтобы постфактум заручиться одобрением своего решения со стороны не только других членов Политбюро, но и всего Центрального Комитета КПСС, что и произошло на пленуме ЦК в июне 1980 года. Я в то время не был членом ЦК, но впервые присутствовал на том заседании ЦК в качестве приглашенного. К моему удивлению, после краткой информации никто не только не высказал каких-либо сомнений насчет принятого решения, но не задал даже ни одного вопроса по поводу случившегося – все дружно проголосовали «одобрить». Об этом не любят вспоминать тогдашние члены ЦК, которые все как один безропотно и без всякого обсуждения проголосовали за одобрение ввода советских войск в Афганистан, а через пять лет кое-кто из них стал

выступать в роли обличителя этой действительно трагической акции, делая, однако, вид, будто сам он безгрешен.

Между тем если бы тогда, в июне 1980 года, на пленуме ЦК развернулась дискуссия и решение о вводе войск в Афганистан не получило бы единогласного одобрения, то, хотя «уклонистам» наверняка не поздоровилось бы, это был бы серьезный сигнал руководству. И в результате миссия советских войск в Афганистане, быть может, оказалась бы не столь затяжной и кровавой. Тем более что к тому моменту наши войска еще не успели глубоко увязнуть там.

Начало протрезвления

К 1981 году если не всем, то большинству способных реалистически мыслить советских руководителей стало ясно, что в Афганистане не может быть военного решения проблемы. Во всяком случае, осенью 1981 года Политбюро одобрило предложение, подготовленное по инициативе МИДа и поддержанное Андроповым и Устиновым, об организации дипломатического процесса, нацеленного на такое урегулирование ситуации вокруг Афганистана, которое позволило бы вывести советские войска из этой страны.

Речь шла об организации под эгидой ООН непрямых переговоров между правительствами Афганистана и Пакистана, на территории которого базировались и вооружались основные оппозиционные кабульскому режиму силы. Расчет делался на то, что если в результате афгано-пакистанских переговоров удастся перекрыть основной канал помощи извне афганским моджахедам, то Кабул сам справится с ними, а советские войска можно будет вывести. И уже в начале 1982 года личный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Д. Кордовес после бесед в Москве с рядом советских представителей выразил с полным на то основанием уверенность в том, что «московские сторонники ухода из Афганистана в итоге возьмут верх».

Прав был Кордовес и когда весной 1983 года после очередного раунда афгано-пакистанских переговоров публично заявил, что проекты документов по афганскому урегулированию «готовы на 95 процентов». Оставшиеся 5 процентов были, безусловно, самыми трудными – они касались прежде всего сроков и порядка вывода советских войск. Думается, однако, что и эти вопросы – в том, что касалось советской стороны, – могли быть решены еще тогда, в далеком теперь 1983 году, не помешай этому серьезная болезнь Ю. В. Андропова.

О том, что Андропов, ставший в ноябре 1982 года первым лицом в партии и государстве, созрел для такого решения, я судил, в частности, по его беседе с генеральным секретарем ООН Пересом де Куэльяром 28 марта 1983 года. Советский лидер не просто сказал ему о своем стремлении к мирному решению афганской проблемы, а откровенно перечислил пять мотивов, по которым он считал это необходимым. Загибая пальцы на руке, Андропов говорил, что сложившаяся ситуация наносила серьезный ущерб отношениям Советского Союза, во-первых, с Западом; во-вторых, с социалистическими странами; в-третьих, с исламским миром; в-четвертых, с другими странами «третьего мира»; наконец, в-пятых, она весьма болезненна для внутреннего положения СССР, для его экономики и общества.

О том, что это отражало истинное умонастроение Андропова, а не просто говорилось им для западных ушей, я имел возможность убедиться в июле того же года, когда он позвонил мне, чтобы уточнить какую-то деталь в материале, направленном ему в связи с предстоявшей его беседой с Бабраком Кармалем, который был фактически поставлен нами у власти вместо Амина в декабре 1979 года при вводе советских войск в Афганистан. Выразив согласие с предложенной концепцией этой беседы, Андропов подтвердил свое намерение сказать Кармалю в недвусмысленных выражениях, что он не должен рассчитывать на неопределенно долгое пребывание советских войск в Афганистане и что надо вести дело к расширению социальной базы правительства политическими методами.

И Андропов действительно провел беседу в таком жестком стиле. Но, как показала жизнь, Кармаль не сделал нужных выводов, а Андропову не хватило сил и времени довести это дело до конца. Правда, тогда это могло и не получиться, поскольку в Вашингтоне в ту пору преобладающим влиянием пользовались те (их там называли «bleeders» – «кровопускателями»), кто считал выгодным для Запада, что Советский Союз увяз в Афганистане, тем самым подорвав свои позиции в «третьем мире» и международные позиции в целом.

После смерти Ю. В. Андропова на протяжении 1984 года закулисная работа по афганскому урегулированию продолжалась. И на начало 1985 года пакет документов, которые вырабатывались при нашем содействии на афгано-пакистанских переговорах в Женеве, можно сказать, был готов уже на 98 процентов. Но дело по-прежнему упиралось в отсутствие у нас окончательного решения относительно сроков, условий и порядка вывода советских войск из Афганистана.

Вскоре после прихода М. С. Горбачева к руководству партией и государством ясно обозначилась его принципиальная установка на вывод, по возможности скорый, из Афганистана советских войск. Для осуществления этой установки предстояло преодолеть немало препятствий – и внешних, и внутренних, о чем речь впереди, но нацеленность Горбачева на такое решение серьезно укрепила во всех эшелонах власти позиции тех, кто изначально считал неразумным ввод войск в Афганистан, а затем планомерно, хотя до определенной поры, к сожалению, безрезультатно, вел линию на их вывод оттуда.

Однако при всей важности в такого рода вопросах правильной принципиальной установки, для ее претворения в жизнь требовались не менее правильные скоординированные усилия многих ведомств и ответственных лиц, а обеспечить это на практике оказалось отнюдь не простым делом.

Главным здесь было то, что при решении вопроса о выводе войск из Афганистана, против чего к этому времени прямо возражать никто не решался, приходилось определяться и в вопросе, поставленном более широко: каким мы хотим оставить Афганистан после ухода советских войск? А поскольку в этом – действительно небезразличном для Советского Союза – вопросе необходимого единства мнений и действий не было, то объективно это вело к затяжке и с выводом войск.

При довольно большом разбросе мнений по конкретным деталям вопроса о будущем Афганистана существовали две принципиально различные точки зрения в подходе к этой проблеме.

Одну точку зрения наиболее последовательно и прямо отстаивали на заседаниях Комиссии Политбюро по Афганистану и в самом Политбюро маршал С. Ф. Ахромеев и автор этих строк. Суть ее заключалась в следующем: совершенно нереально было бы рассчитывать на то, что после вывода из страны советских войск НДПА сможет долго остаться там у власти или играть весомую роль в новых структурах власти. Максимум, на что можно было рассчитывать, говорили мы, так это на то, чтобы НДПА заняла законное, но весьма скромное место в новом режиме. Для этого она должна была проявить готовность еще до вывода советских войск добровольно уступить бльшую долю власти, проявив инициативу по созданию коалиционного правительства, в котором были бы представлены интересы разных слоев афганского общества. Без особой уверенности в успехе мы тем не менее считали этот путь дающим определенный шанс – с

учетом и того, что Запад не был заинтересован в полной победе в Афганистане исламских фундаменталистов.

Противоположную точку зрения представляли прежде всего Э. А. Шеварднадзе и В. А. Крючков, в то время первый заместитель председателя КГБ. Они исходили из убеждения, что и после вывода советских войск НДПА сможет если и не сохранить всю полноту власти, то, во всяком случае, играть определяющую, «руководящую» роль в новом режиме. Этой иллюзорной позиции соответствовали и их практические действия, нацеленные на создание «запаса прочности» для НДПА, прежде чем будут выведены советские войска.

М. С. Горбачев в этом кардинальном вопросе, как и в большинстве других серьезных вопросов, на словах клонил то в одну, то в другую сторону, а на деле предоставлял почти полную свободу действий Шеварднадзе и Крючкову. Во что это выливалось на практике, можно судить по следующим примерам.

Сообщая Наджибулле в декабре 1986 года о твердом намерении советского руководства вывести войска из Афганистана в течение не более полутора-двух лет и ориентируя его в этой связи на форсированное осуществление политики национального примирения, Горбачев совершенно правильно подчеркивал необходимость того, чтобы политика примирения распространялась не просто на консервативные силы, **но и на тех, кто с оружием в руках борется против властей**.

Однако с благословения других советских деятелей Наджибулла еще долго продолжал делать заявления обратного порядка: «Когда мы говорим о национальном примирении, мы имеем в виду, что на компромисс надо идти с теми, кто не выступает с противоположных позиций по отношению к НДПА». Ясно, что подобная постановка вопроса, не имевшая ничего общего с тем, о чем говорил Горбачев, не могла способствовать национальному примирению.

Другой пример. Если Горбачев говорил, что НДПА ради национального примирения придется поделиться с другими политическими силами, **как минимум, половиной реальной власти**, то в беседах Шеварднадзе с Наджибуллой эта мысль выхолащивалась, превращаясь в рекомендацию передать оппозиции половину не реальной власти, а всего лишь министерских портфелей, к тому же полупустых или совсем пустых, то есть специально созданных для этой цели. Вряд ли можно удивляться, что очередь за такими портфелями не выстроилась и при таком подходе никаких шансов на сформирование действительно коалиционного правительства не появилось.

Еще один не менее показательный пример. В 1987 году, опять-таки по инициативе Шеварднадзе – Крючкова, возникла идея «избрания» Наджибуллы президентом Афганистана, с тем чтобы укрепить, как они говорили, его позиции на будущее, после вывода советских войск.

Мы с Ахромеевым, со своей стороны, упорно доказывали, что этого делать нельзя, ибо это окончательно подорвет шансы на создание коалиционного правительства. Пост главы государства, как мы считали, должен был оставаться свободным для какой-то фигуры (может быть, прежнего короля Захир-шаха), которая оказалась бы приемлемой для всех сторон в процессе создания новых, коалиционных органов власти.

Горбачев, поколебавшись некоторое время, в конечном счете поддержал точку зрения Шеварднадзе – Крючкова. Благословляя идею избрания Наджибуллы на вновь создаваемый пост президента Афганистана, Горбачев вместе с тем в порядке «компромисса» внушал ему мысль, что в этом случае он должен баллотироваться в качестве одного из национальных лидеров, а не как руководитель НДПА. Однако, опять с благословения других советских опекунов, Наджибулла публично заявил, что считает «разумным решение о том, чтобы лидер НДПА оставил за собой и пост президента». Когда я привлек внимание Горбачева к такой вольной интерпретации его рекомендации, он в беседе с Наджибуллой в начале ноября 1987 года вновь подчеркнул важность того, чтобы намеченная на конец ноября для выборов президента Лойя Джирга (Большой совет племен) отражала весь спектр политических сил страны, и в этом контексте спросил, правильно ли он понимает Наджибуллу, что на Джирге будет выдвинуто 3–4 кандидата и в их числе он сам. На это последовал ответ Наджибуллы: «Да, именно так». Поскольку в действительности это не имелось в виду, афганский лидер после беседы с Горбачевым был в растерянности – как дальше действовать? Однако, побеседовав с Шеварднадзе и некоторыми другими советскими представителями, Наджибулла успокоился, у него появилась такая интерпретация: будто Горбаче вел речь не о том, чтобы кроме него баллотировались и другие кандидаты в президенты, а всего лишь о **желательности** того, чтобы его собственная кандидатура была выдвинута не только НДПА, но еще 2–3 какими-то организациями. К этому и свелось дело.

Понятно, что такой разнобой в беседах советских руководителей с Наджибуллой по вопросам, связанным с будущим Афганистана, а главное – практический курс действий, вытекающий из установки на сохранение у власти в стране НДПА, отнюдь не содействовали созданию условий, необходимых для

скорейшего вывода оттуда советских войск.

Завершающие сражения «на внутреннем фронте»

Итак, наступил конец 1987 года, прошло уже два с половиной года после прихода к власти Горбачева, прошел год с декабря 1986 года, когда было решено (и сказано об этом Наджибулле) вывести войска в течение максимум полутора-двух лет. А их вывод все еще и не начинался – во многом по указанным выше причинам. Были здесь, конечно, и другие причины – например, продвижение на афгано-пакистанских переговорах в Женеве периодически останавливалось усилиями Вашингтона. Но после состоявшейся в декабре 1987 года в Вашингтоне советско-американской встречи в верхах там наконец возобладала точка зрения в пользу подписания Соединенными Штатами Женевских соглашений по Афганистану, с тем чтобы позволить тем самым Советскому Союзу уйти из этой страны «по-хорошему», без большой потери лица.

Настал момент, когда надо было действовать максимально энергично, чтобы без дальнейших затяжек приступить к выводу советских войск. Между тем возникла опасность нового тупика на афгано-пакистанких переговорах, от исхода которых зависело и начало вывода войск. Объяснялось это, с одной стороны, стремлением Пакистана при молчаливом согласии США выторговать «под занавес» максимум уступок, прежде всего в части, касающейся линии прохождения границы между Пакистаном и Афганистаном, а с другой стороны – не очень квалифицированными подсказками Шеварднадзе афганцам по тактике переговоров. Так, например, по его совету афганцы, отвергая предложенную пакистанцами формулировку по вопросу о границе и обосновывая свою позицию, среди прочего стали ссылаться на неодобрительное отношение к пакистанской формулировке со стороны Индии, поскольку здесь, мол, затрагивались и ее интересы в захваченном Пакистаном Кашмире. Как и следовало ожидать, ссылка на Индию подействовала на пакистанцев, подобно красной тряпке на быка, – они резко ужесточили свою позицию. В неофициальном порядке один из руководителей МИД Пакистана прямо сказал, что если раньше пакистанская сторона намеревалась вот-вот пойти на компромисс по спорной формулировке, то после того, как в данную проблему оказалась вовлечена Индия, Пакистан отказывается от своего намерения.

Нарастало ощущение, что необходим какой-то сильный

импульс, который помог бы привести афгано-пакистанские переговоры к быстрейшему успешному завершению. Побывав в январе 1988 года в Вашингтоне, где я имел доверительные беседы с государственным секретарем Дж. Шульцем и помощником президента по национальной безопасности К. Пауэллом, а также с другими осведомленными лицами, я пришел к выводу, что таким импульсом могло бы явиться четкое заявление советского руководства об установлении точной и по возможности близкой даты начала вывода советских войск из Афганистана. Исходя из бесед в Вашингтоне, у меня были основания полагать, что если таким образом будет создана перспектива ухода советских войск еще до конца президентства Р. Рейгана, то соблазн записать это в свой актив будет для него достаточно велик, и США не откажутся способствовать быстрейшему взаимоприемлемому завершению афганского урегулирования.

Не менее важно было с моей точки зрения (хотя об этом я не говорил вслух) и то, что, установив и объявив миру точную дату начала вывода войск, советское руководство тем самым и самому себе поставит конкретную цель, положит конец внутренним колебаниям и расхождениям. Однако мое предложение объявить точную дату начала вывода советских войск из Афганистана, сделав это центральным пунктом заявления Горбачева, с которым решено было выступить в начале февраля 1988 года, Шеварднадзе встретил в штыки. Максимум, на что он согласился, – это включить в готовившееся заявление сформулированную в сослагательном наклонении фразу о том, что вывод войск **можно было бы** начать в мае 1988 года, **если бы** соглашения об урегулировании были подписаны в течение февраля – марта.

Было ясно: такая аморфная, никого ни к чему не обязывающая формулировка – это совершенно не то, что требовалось. Тем не менее по настоянию Шеварднадзе именно она оставалась в проекте заявления, когда за него проголосовали уже все члены Политбюро и в Кабул для ознакомления с ним Наджибуллы уже улетел Крючков. И лишь в самый последний момент перед подписанием решения Политбюро с текстом заявления Горбачев собственноручно вписал в него предложенную мною формулировку, гласившую, что **правительства СССР и Республики Афганистан договорились установить конкретную дату начала вывода советских войск – 15 мая 1988 года.** А все остальное в заявлении подвязывалось к этой дате.

Путь к отступлению был отрезан. Такова история заявления М. С. Горбачева от 8 февраля 1988 года, которую полезно знать тем, кто пытается создать миф, будто Шеварднадзе был чуть ли

не главным поборником быстрейшего вывода советских войск и даже будто «именно он вывел наши войска из Афганистана». Он, разумеется, не выступал против вывода, но, повторяю, проводившаяся им практическая линия в афганских делах вовсе не приближала день начала вывода войск, как и не способствовала тому, чтобы избавить Советский Союз от нелегкого афганского бремени, которое ему пришлось нести еще не один год после вывода своих войск из этой страны.

В одном из своих последующих интервью Шеварднадзе в ответ на вопрос, нельзя ли было вывести войска из Афганистана хотя бы на год раньше, категорично заявил: «Нет. Нельзя. Общество было не готово». Можно понять его желание оправдаться за упущенные годы, но зачем при этом клеветать на наше общество? Общество в целом с радостью восприняло бы вывод войск и на год, и на три, и на пять лет раньше. Дело упиралось вовсе не в общество, а в тех, кто в свое время принимал решение о вводе войск в Афганистан, а также в тех, кому было поручено заниматься афганскими проблемами после 1985 года.

Отнюдь не соответствовало, я уверен, настроениям и интересам нашего общества, как и внешнеполитическим интересам СССР, и то, что Шеварднадзе вместе с Крючковым незадолго до начала вывода войск пытались продвинуть идею заключения между Советским Союзом и Афганистаном нового договора, идущего гораздо дальше договора 1978 года в вопросах «взаимной помощи». Подготовленный по их инициативе проект такого договора предусматривал фактически возможность при определенных обстоятельствах вновь ввести советские войска в Афганистан. Был в нем и ряд других положений с далеко идущими последствиями, будь такой договор заключен. Но, слава богу, Горбачеву хватило ума решительно пресечь эту довольно-таки авантюрную затею.

Этим, однако, не закончились стычки на нашем внутреннем «афганском фронте». Мы с Ахромеевым продолжали стоять на том, что параллельно с выводом советских войск из Афганистана там должен идти процесс трансформации однопартийного режима в какую-то коалиционную структуру власти. Сразу же после подписания Женевских соглашений в середине апреля 1988 года даже удалось, в основном нашими усилиями, провести через Политбюро решение, которым было признано необходимым сконцентрировать главные усилия на том, чтобы в остающийся до завершения вывода советских войск из Афганистана отрезок времени там сложилась по возможности жизнеспособная коалиционная структура власти, отражающая реальное

соотношение сил в стране. Ради этого предписывалось переходить к более активным и настойчивым контактам по этим вопросам и с пакистанцами, и с американцами, и непосредственно с афганской оппозицией. Без контактов с оппозицией, кстати, нельзя было (как и получилось на деле) рассчитывать на благоприятное решение проблемы освобождения советских военнослужащих, захваченных в плен в Афганистане.

Несомненно, что задача оставить в Афганистане после вывода советских войск жизнеспособную структуру власти в любом случае в силу объективных причин была чрезмерно трудной, если вообще реальной, даже при самой правильной организации выполнения упомянутого решения. Однако на деле никакой концентрации усилий на этом направлении вообще не произошло. Вместо этого Шеварднадзе и Крючков по-прежнему направляли главные усилия на достижение уж совсем иллюзорной задачи: так укрепить режим Наджибуллы, чтобы он навечно остался у власти после вывода советских войск.

В этой связи в конце августа – начале сентября 1988 года произошло следующее. На очередной встрече так называемой «рабочей четверки» по Афганистану (Ахромеев, Воронцов, Корниенко, Крючков) при обсуждении путей выхода из тупика, в который зашел процесс национального примирения в Афганистане, мы с Ахромеевым напомнили о сделанном Наджибуллой перед его избранием президентом публичном заявлении о том, что он готов будет пожертвовать своим постом, если этого потребуют высшие интересы афганского народа. Не наступило ли для Наджибуллы время выполнить это свое обещание ради достижения национального согласия? Узнав о таких крамольных рассуждениях, Шеварднадзе тут же пожаловался Горбачеву, что Ахромеев и Корниенко «действуют вопреки линии Политбюро». И в первых числах сентября Горбачев полностью отстранил меня от афганских дел, а вскоре, в ноябре 1988 года, мне было предложено вообще уйти на пенсию «по собственному желанию», что я без колебаний и сделал – к этому времени я был не согласен со многим, что и как делалось во внешней политике Горбачева-Шеварднадзе.

Ахромеев после кляузы Шеварднадзе тоже получил основательную взбучку от Горбачева, а в ноябре и он оставил пост начальника Генерального штаба, о чем он сам попросил незадолго до этого. И в его случае дело не сводилось только к расхождениям по Афганистану, были у него и другие, не менее серьезные мотивы для отставки.

Когда после завершения вывода советских войск из Афганистана в начале 1989 года не произошло немедленного

крушения прежнего режима, Шеварднадзе и его единомышленники, конечно, торжествующе заявляли, что они «оказались правы». При этом умалчивалось, во сколько миллиардов обходилась нашей стране продолжавшаяся массированная военная и экономическая поддержка этого режима, благодаря чему он и придержался еще некоторое время. Ну а чем все это кончилось – общеизвестно.

Афганская эпопея, подобно вьетнамской, была не только одним из наиболее острых и затяжных эпизодов в «холодной войне» – она фактически переходила в настоящую, «горячую» войну. С настоящими человеческими жертвами – как среди «пришельцев» (в одном случае американских, а в другом – советских), так и в еще больших масштабах среди местного населения, в том числе мирного, ни в чем не повинного.

Поэтому я лично воспринимал свою служебную причастность ко всему, что касалось афганских дел, не только как профессиональный, но и как моральный долг: в меру своих сил и возможностей пытаться содействовать тому, чтобы как можно скорее был положен конец если не самой гражданской войне в Афганистане, но хотя бы нашему в ней участию.

Оглядываясь назад, я не раз задавался вопросом: а не лучше ли было ввиду моего отрицательного отношения к посылке советских войск в самом начале уйти в отставку, чтобы не иметь вообще никакого касательства, даже самого косвенного, к афганским делам? Другими словами, не быть причастным к выполнению решения, которое представлялось мне со всех точек зрения неправильным и просто неразумным?

Однозначного ответа на этот вопрос я для себя так и не нашел. С одной стороны, в этом случае я не был бы «замаран» афганской трагедией – это, конечно, очень хорошо. Но, с другой стороны, лучше было бы, если бы в этом случае на моем месте оказался более рьяный и бездумный исполнитель того же самого неправедного решения? Было ли у меня моральное право умыть руки и уйти, если сохранялась возможность не только как-то влиять на ход событий, но и способствовать тому, чтобы со временем повернуть развитие конфликта вспять?

Правильно или неправильно поступил я – судить не мне, но, как видно из вышеизложенного, пошел я по второму пути.

Глава 10. ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ САМОЛЕТ: ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРИЩА

Инцидент с южнокорейским самолетом, сбитым над Сахалином в ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года, и последовавшее за этим резкое ухудшение отношений между СССР и США по своей остроте и глубине негативного воздействия на международную обстановку (хотя об опасности возникновения большой войны речь здесь не шла) были сопоставимы, пожалуй, с берлинским кризисом 1961 года и карибским кризисом 1962 года.

Будучи в то время первым заместителем министра иностранных дел СССР, я оказался непосредственно вовлеченным в связанные с этим инцидентом последующие события, в том числе был одним из немногих гражданских лиц, посвященных в тайну «черных ящиков». Это позволяет мне говорить о случившемся с достаточной степенью достоверности, не занимаясь досужими домыслами, которых всегда было немало на Западе, а в последние годы появилось и у нас.

С первого момента, когда я утром 1 сентября узнал о случившемся, для меня было (и остается по сей день) неизменным и бесспорным одно: гибель находившихся на борту самолета 269 человек – это большая человеческая трагедия, вне зависимости от того, кто и в какой степени повинен в их гибели. Но все остальное в истории с южнокорейским самолетом, включая то, как повели себя советские и американские руководители в этой связи, не может быть правильно понято и оценено при умозрительном подходе, без знания всей совокупности как предшествовавших инциденту, так и последовавших за ним обстоятельств.

На каком фоне произошел инцидент?

С начала 1983 года отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами заметно и по нарастающей ухудшались в результате ряда предпринятых Вашингтоном враждебных акций. Напомню основные из них.

В начале марта без какого-либо конкретного повода к этому

президент Рейган объявил Советский Союз «империей зла», а его руководство – «средоточием зла в современном мире». Объявление «крестового похода» против Советского Союза не было простой риторикой. Как вскоре стало известно, в соответствии с принятым Советом национальной безопасности США решением изменение советской внутренней системы было признано приоритетной практической целью американской политики, а одним из главных средств достижения этой цели должно было стать экономическое давление, которое ставило бы Кремль перед трудным выбором распределения средств между военным и гражданским секторами экономики.

В контекст этого замысла вписывалась провозглашенная Рейганом в конце марта 1983 года программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ), метко прозванная журналистами программой «звездных войн». При этом американские руководители прямо заявляли, что осуществление задуманной ими программы будет для США равноценно восстановлению того господствующего положения в мире, которое они занимали, обладая атомной монополией, а это будет означать «изменение хода человеческой истории».

Летом 1983 года советскому руководству стало достоверно известно, что новый тупик на афгано-пакистанских переговорах в Женеве, где наметилось было существенное продвижение вперед, возник в результате давления на Пакистан со стороны Вашингтона, где преобладающим в ту пору влиянием, как уже отмечалось, пользовались так называемые «кровопускатели».

В связи с намеченным на конец 1983 года началом размещения в Европе американских ракет средней дальности и для нейтрализации противодействующих этому сил в западноевропейских странах к осени стали заметно наращиваться и другие усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы опорочить не только советскую позицию в тех или иных конкретных вопросах, но и Советский Союз как таковой.

Все эти враждебные в отношении СССР заявления и действия американского руководства, естественно, вызывали ответную, не менее резкую реакцию, что в целом привело к серьезному накалу в советско-американских отношениях. Этот накал нельзя не учитывать при оценке обстоятельств, касавшихся инцидента с южнокорейским самолетом. В том числе нельзя абстрагироваться от предшествовавшего этому инциденту наращивания на протяжении весны и лета 1983 года провокационных в отношении СССР акций американских военных и разведывательных служб, особенно в районах Дальнего Востока. Специальным решением президента Рейгана, принятым в конце марта, американским

военным кораблям в Тихом океане было разрешено плавать и проводить учения в непосредственной близости от границ СССР – ближе, чем когда-либо раньше. Вскоре в районе Камчатки и Курильских островов появились три авианосных соединения ВМС США – 40 боевых кораблей с приданными им бомбардировщиками Б-52, разведывательно-командным самолетом типа «Авакс» и истребителями Ф-15. Американские ударные подводные лодки и самолеты противолодочной авиации впервые начали действовать в районе обычного патрулирования советских подводных лодок.

Участились случаи нарушения американскими военными кораблями и самолетами территориальных вод и воздушного пространства СССР. Особо вызывающий случай имел место 4 апреля, когда боевые самолеты с американских авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз» в течение дня шесть раз нарушили советскую государственную границу в районе острова Зеленый (Южные Курилы), углубляясь в воздушное пространство СССР до 30 километров и находясь там каждый раз до 7 минут, пролетая в ряде случаев над военными объектами. Никаких сомнений в преднамеренности таких действий у советской стороны не было. Действительно, как позже стало известно из американских источников, одной из целей указанной провокации был расчет на то, что в ответ советской стороной будут подняты в воздух недавно появившиеся в составе Тихоокеанского флота и весьма интересовавшие американские службы самолеты «Бэкфайер» (Ту-22М). И тем не менее заявленный нами 6 апреля решительный протест против таких наглых действий был после месячного молчания отклонен государственным департаментом США, причем в довольно беспардонной форме.

Все это сыграло затем весьма отрицательную роль в том, что произошло с южнокорейским самолетом в ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года и как повели себя стороны вслед за этим.

Разворот событий «на московском конце»

Утром 1 сентября из посольства СССР в Вашингтоне (где была еще ночь) поступила внеочередная телеграмма, в которой сообщалось о срочном обращении в посольство заместителя госсекретаря Р. Бэрта. По его словам, самолет южнокорейской авиакомпании, вылетевший рейсом 007 из Нью-Йорка через Аляску в Сеул с 269 пассажирами на борту, среди которых находился американский конгрессмен, «потерялся где-то в районе Сахалина». По данным американских станций слежения, сказал

далее Бэрт, «самолет, возможно, случайно нарушил воздушное пространство СССР в этом районе и совершил там вынужденную посадку». Сославшись также на просьбу южнокорейских властей, Бэрт поинтересовался, что нам известно о судьбе самолета. Вслед за этим в МИД СССР с аналогичным запросом обратилось и посольство США в Москве, сообщив дополнительно, что связь с пропавшим самолетом прервалась в тот момент, когда он находился в точке с координатами 147°28ў восточной долготы и 42°43ў северной широты. Эта последняя деталь не могла не вызвать недоумения, так как достаточно было взглянуть на карту, чтобы обнаружить, что указанная точка находилась на расстоянии более 600 км от Сахалина, к юго-востоку от японского острова Хоккайдо. Никакого объяснения этому противоречию в переданной американской стороной информации посольство дать не смогло.

Позвонив в Министерство гражданской авиации СССР и обнаружив, что там ничего не знают о пропавшем южнокорейском самолете, я обратился с тем же вопросом к начальнику Генерального штаба Огаркову. Последний сказал, что у него как раз начинается совещание по этому вопросу, и предложил мне подъехать к нему, что я тут же и сделал. В кабинете начальника Генштаба находились командующий войсками ПВО А. И. Колдунов и большая группа других генералов, на столе разложены карты Дальнего Востока. Все присутствовавшие были крайне напряжены, обеспокоены, а многие и растеряны – они уже знали о пропавшем южнокорейском пассажирском самолете, при этом время и предполагаемое место исчезновения самолета совпадало с тем, что произошло прошлой ночью в небе над Сахалином, где нашими службами ПВО и ВВС был сбит, как были уверены все участники совещания, американский разведывательный самолет типа РС-135.

Истоки этой их уверенности – с учетом общего фона, на котором произошел инцидент и о котором говорилось выше, – становились все более понятными по мере того, как в моем присутствии проходил подробный, буквально по минутам, разбор событий, происходивших предыдущей ночью вначале в районе Камчатки, а затем в районе Сахалина. Вел разбор маршал Огарков – по-военному строго, с присущей ему твердостью (без какой-либо оглядки на мое присутствие). Передо мной вырисовывалась следующая картина.

В 02.45 местного (камчатского) времени на некотором расстоянии от Камчатки советскими радиолокационными средствами было зафиксировано появление американского разведывательного самолета типа РС-135, который затем в

течение более двух часов баражировал в том районе. Обычно такое и даже более многочасовое «дежурство» американские разведывательные самолеты несли в том районе в дни, когда, по данным американской разведки, ожидались испытательные пуски ракет из западной части СССР на камчатский полигон, – в этих случаях аппаратура, которой были оснащены американские самолеты-разведчики, позволяла засекать не только точки падения головных частей ракет, но и многие другие интересовавшие американцев параметры. И хотя на этот раз испытательные пуски советских ракет не производились, само по себе нахождение американского самолета в обычном районе не послужило основанием для беспокойства.

Но вот в 04.51 в этот же район со стороны Аляски приблизился второй самолет с радиолокационной отметкой, аналогичной самолету РС-135. Два самолета сблизились до полного слияния их отметок на экранах советских радаров и около 10 минут шли вместе. Затем один из самолетов развернулся и взял курс на Аляску, а другой продолжил полет в сторону Камчатки. Поначалу это тоже не вызвало особого беспокойства у советских служб ПВО – такое бывало и раньше. Если американские самолеты РС-135, оснащенные аппаратурой для слежения за испытаниями ракет, баражировали у серединной части Камчатского полуострова, то такие же самолеты, но оснащенные для «прослушивания» и «просвечивания» советских систем ПВО, периодически совершали полеты вдоль Камчатского полуострова, огибали его южную оконечность, летели над Охотским морем, приближаясь к Сахалину, а затем уходили в открытый океан, не нарушая воздушного пространства СССР. На этот раз, однако, самолет не свернул вдоль побережья, а продолжал идти прямым курсом, все больше приближаясь к Камчатке, причем в районе важнейшей стратегической базы ядерных сил СССР. Когда самолет в 05.30 вторгся в советское воздушное пространство, он мог быть легко уничтожен имевшимися в том районе ракетами «земля – воздух». Но командование ПВО не стало этого делать, решив попытаться посадить самолет-нарушитель на советской территории с помощью истребителей-перехватчиков, поднятых в воздух. Попытки эти, однако, оказались безуспешными, и самолет ушел в 06.05 из советского воздушного пространства в направлении Сахалина.

На этом этапе разбора у начальника Генштаба среди фигурировавших там документов особое внимание привлекли два сообщения, перехваченные советской службой радиоконтроля. Текст первого сообщения, переданного с борта самолета в 06.10,

то есть сразу после его выхода из советского воздушного пространства над Камчаткой, гласил: «Мы благополучно прошли юг Камчатки». Во втором сообщении, переданном с борта самолета ровно через один час, в 06.10 сахалинского времени, говорилось, что самолет «пересекает южную часть Сахалина». Чтобы удостовериться в правильности перевода, я попросил показать мне английский текст радиоперехватов – перевод был правильным. Кстати, тот факт, что эти радиограммы передавались с борта самолета на английском языке, служил для командования ПВО на месте лишним свидетельством того, в чем оно было и так уверено, – они имели дело с американским самолетом-разведчиком. Меня, по правде говоря, удивило то, что эти радиограммы передавались, как явствовало из перехватов, открытым текстом. Но я объяснил себе это тем, что в предыдущие месяцы действия американских военных кораблей и самолетов в том районе приобрели откровенно наглый характер.

С приближением самолета к Сахалину в воздух вновь были подняты советские истребители-перехватчики, и дальше события развивались следующим образом:

в 06.13 пилот истребителя-перехватчика СУ-15, сопровождавшего самолет на подходе к Сахалину, доложил на командный пункт: «Цель на запрос не отвечает»;

в 06.14 с командного пункта ПВО округа на командный пункт 24-й дивизии ПВО было передано решение командования округа: опознать цель, при нарушении ею государственной границы СССР действиями истребителей принудить к посадке, при отказе выполнить команду – уничтожить;

в 06.16 самолет вошел в воздушное пространство СССР над Сахалином;

в 06.18 с командного пункта на борт перехватчика СУ-15, сопровождавшего самолет-нарушитель, была передана команда: «Цель нарушила государственную границу. Цель уничтожить». Но тут же были даны дополнительные команды: «Дайте мигание огнями», «Принудите к посадке на наш аэродром», а затем в 06.20 команда: «Дайте предупредительную очередь из пушек».

Все полученные им команды пилот СУ-15 выполнил, о чем он докладывал на землю. Но единственной реакцией самолета-нарушителя был набор им большей высоты. Маневр самолета перед его вхождением в воздушное пространство над Сахалином с целью обхода позиций ракетных зенитных частей и нереагирование экипажа на радиозапросы, на световые сигналы и на предупредительные очереди трассирующими снарядами

(выпущено было 120 снарядов) окончательно утвердили командование ПВО и ВВС округа во мнении, что на их глазах совершается наглый полет самолета-разведчика, который вот-вот ускользнет из советского воздушного пространства. Поэтому в 06.24 с земли была дана команда открыть огонь по цели – и тут же цель была поражена двумя ракетами.

Обстоятельства, породившие у советских военных, а вслед за ними и у политического руководства уверенность в том, что в воздушном пространстве СССР над Камчаткой, а затем над Сахалином находился самолет-разведчик, представлялись настолько убедительными, что эта их уверенность осталась непоколебимой даже после того, как стало известно, что сбитым оказался не самолет РС-135, а южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747». Она лишь трансформировалась в убеждение, что этот самолет вместе с находившимися в нем пассажирами был использован американскими разведывательными службами в качестве если не активного разведывательного средства, оснащенного соответствующей аппаратурой, то пассивного, то есть таким образом они пытались вынудить советское командование задействовать систему ПВО на Дальнем Востоке, чтобы затем засечь параметры ее работы с помощью других разведывательных средств, включая спутники. На эту версию работало и то, что, как стало известно, южнокорейский самолет вылетел из Анкориджа с задержкой без видимой на то причины на 40 минут, и в результате его полет над Камчаткой и Сахалином оказался синхронизированным с очередными витками американского спутника «Феррет-Д», оснащенного среди прочего аппаратурой слежения за системами ПВО.

Убежденность советской стороны в причастности южнокорейского самолета к выполнению разведывательной миссии подкреплялась и невозможностью найти иное объяснение тому, как мог пассажирский самолет, оснащенный современным навигационным оборудованием, в течение нескольких часов лететь на удалении в 500 – 600 километров от предписанной ему трассы, не замечая этого. Невозможно было дать иного объяснения и тому, почему американские и японские службы, ответственные за воздушное движение в том районе, в течение всех этих часов не забили тревогу по поводу отсутствия самолета на международной трассе, о чем они не могли не знать. И почему японские службы контроля за воздушным движением не обратились к советским службам хотя бы сразу после того, как оборвалась связь с южнокорейским самолетом? Ведь именно для таких чрезвычайных ситуаций существовали постоянно

действующий радиотелефонный канал Саппоро-Хабаровск, связь на фиксированной частоте КВ Токио-Хабаровск и телеграфная аэронавигационная связь Токио-Хабаровск и Токио-Москва.

А тот факт, что пилоту советского истребителя-перехватчика, сбившему южнокорейский самолет «Боинг-747», не удалось отличить его от разведывательного самолета РС-135, являющегося модификацией самолета «Боинг-707», легко объяснялся тем, что дело происходило ночью (рассвет наступил только через час после трагедии), к тому же при значительной облачности.

Суммируя, хотел бы, во-первых, еще раз подчеркнуть то, что мне было ясно тогда и остается ясным сейчас: все те, кого это касалось, были абсолютно уверены в том, что имеют дело с разведывательным, а не с пассажирским самолетом-нарушителем. У меня не было и нет сомнений в том, что в противном случае – знай они, что на борту самолета находятся ни в чем не повинные пассажиры, – огонь по нему не был бы открыт, независимо от того, по какой причине он оказался в советском воздушном пространстве. Во-вторых, мне были понятны и истоки этой их уверенности, крывшиеся как в предшествовавших инциденту обстоятельствах, так и в конкретных обстоятельствах полета этого самолета. В-третьих, с учетом и тех и других обстоятельств представлялась также достаточно обоснованной версия военного руководства, в которую верило и руководство страны: хотя сбитым оказался не американский разведывательный самолет РС-135, а южнокорейский пассажирский самолет, последний вторгся в советское воздушное пространство не случайно – он стал жертвой злонамеренных действий американских спецслужб, санкционированных или несанкционированных высшим руководством страны.

Я лично допускаю «криминальную» с точки зрения нашей официальной версии мысль о том, что экипаж южнокорейского самолета мог самостоятельно, без предварительного сговора с американскими разведывательными службами решить просто сократить путь ради экономии горючего, а чтобы не прилететь в Сеул раньше положенного времени, задержаться с вылетом из Анкориджа на те самые 40 минут. Но и в этом случае многое говорит о том, что американские разведслужбы решили воспользоваться в своих целях такой «самодеятельностью» южнокорейского экипажа, иначе невозможно объяснить, почему ни гражданские диспетчерские службы, ни американские военные радиолокационные станции, которыми напичкан тот район, не приняли никаких мер к исправлению положения, когда южнокорейский самолет сразу после взлета в Анкоридже на их

глазах (на экранах радаров) ушел с предписанной ему трассы и пошел прямым курсом на Камчатку.

Но если я был солидарен с нашими военными в отношении объективной обоснованности и правомерности их действий, приведших, к сожалению, к гибели южнокорейского самолета, то в отношении того, какой должна быть наша линия поведения после случившегося, моя позиция резко отличалась от позиции военного руководства в лице министра обороны Д. Ф. Устинова.

Я твердо считал, что мы, сознавая свою правоту, тем более должны были как можно скорее поведать миру о случившемся все, что нам было известно, выразив одновременно сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных людей, ставших, как мы считали, жертвой чьего-то злого умысла.

Между тем, вернувшись из Генерального штаба в МИД и доложив Громыко об обстоятельствах происшедшего, я получил от него поручение принять участие в подготовке сообщения ТАСС, смысл которого сводился бы к тому, что нам ничего не известно о судьбе пропавшего южнокорейского самолета. Я попытался убедить Громыко в неразумности и пагубности такой линии поведения, но мои рассуждения были пресечены с ссылкой на то, что характер подобного сообщения уже согласован маршалом Устиновым с Ю. В. Андроповым. Поскольку я продолжал упорствовать, Громыко в итоге бросил: «Можете сами переговорить с Юрием Владимировичем». Я позвонил Андропову в больницу, где он в те дни находился, и из разговора с ним понял: сам он склонен действовать предельно честно, хотя убежден в том, что история с южнокорейским самолетом – «козни Рейгана». Сославшись на то, что против признания нашей причастности к гибели самолета «категорически возражает Дмитрий» (т. е. Устинов), Андропов тем не менее тут же, не отключая линию, по которой шел наш разговор, соединился по другому каналу с Устиновым и стал пересказывать ему приведенные мною аргументы. Но тот, не особенно стесняясь в выражениях по моему адресу (весь их разговор был слышен мне), посоветовал Андропову не беспокоиться, сказав в заключение: «Все будет в порядке, никто никогда ничего не докажет». Закончив разговор с Устиновым словами: «Вы там, в Политбюро, все-таки еще посоветуйтесь, взвесьте все», – Андропов предложил мне тоже быть на заседании и изложить свои сомнения. При нынешних радиотехнических и прочих возможностях, заметил я, наивно рассчитывать на то, что «никто ничего не докажет», как полагает Устинов. Но Андропов завершил разговор: «Вот ты все это скажи на заседании». Чувствовалось, что ему основательно неможется.

Однако на заседании Политбюро, которое вел Черненко, мое выступление прозвучало гласом вопиющего в пустыне – никто не стал спорить с Устиновым.

В результате спустя более суток после случившегося было опубликовано следующее несуразное сообщение ТАСС: «В ночь с 31 августа на 1 сентября с. г. самолет неустановленной принадлежности со стороны Тихого океана вошел в воздушное пространство Советского Союза над полуостровом Камчатка, затем вторично нарушил воздушное пространство СССР над островом Сахалин. При этом самолет летел без аэронавигационных огней, на запросы не отвечал и в связь с радиодиспетчерской службой не вступал. Поднятые навстречу самолету-нарушителю истребители ПВО пытались оказать помощь в выводе его на ближайший аэродром. Однако самолет-нарушитель на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря».

Неудивительно, что такое сообщение лишь подстегнуло уже развернувшуюся в США и других странах шумную кампанию против СССР. Дополнительное заявление ТАСС от 3 сентября, в котором упоминалось о предупредительных выстрелах с советского истребителя, но по-прежнему делался вид, будто мы не сбивали его, подлило еще больше масла в огонь. Только 6 сентября, когда ввиду всеобщего осуждения нашей линии поведения ее неразумность стала абсолютно ясной, было наконец опубликовано Заявление Советского правительства примерно такого содержания, каким, по моему мнению, должно было быть самое первое наше сообщение. Но было уже поздно – ущерб, нанесенный интересам и престижу Советского Союза, был большим и долговременным.

Между тем, поступи мы так, как я предлагал, действия советских войск ПВО были бы восприняты в мире, думалось мне, с бльшим пониманием и снисходительностью к случившемуся при всей его трагичности. Правда, моя уверенность в этом поубавилась, когда я увидел, насколько предвзято повел себя Вашингтон.

Развитие событий «на вашингтонском конце»

Утром 1 сентября, примерно через восемь часов после ночного звонка заместителя госсекретаря Бэрта в советское посольство в Вашингтоне, поверенного в делах СССР О. Соколова пригласил другой заместитель госсекретаря, Иглбергер. На этот

раз было заявлено, что, по имеющимся у американской стороны данным, советские радиолокационные службы обнаружили южнокорейский пассажирский самолет в районе Камчатки около 05 часов местного времени и продолжали следить за ним в течение двух с половиной часов, после чего он был сбит советским истребителем над Сахалином. Сказанное Иглбергером лишний раз подтвердило то, что было ясно и без этого: соответствующие американские службы не только следили за действительным маршрутом полета южнокорейского самолета, но и фиксировали работу советских средств ПВО, задействованных в связи с нарушением им воздушного пространства СССР.

Вслед за этим государственный секретарь Шульц провел срочно созванную пресс-конференцию. Ссылаясь на имеющиеся у американского правительства записи радиопереговоров советского пилота, сбившего южнокорейский самолет, с наземным командным пунктом, Шульц изобразил дело таким образом, будто и пилоту, и тем, кто давал ему команды с земли, было совершено ясно, что они имеют дело с гражданским, пассажирским самолетом, и тем не менее они хладнокровно решили уничтожить его. Более того, вопреки содержанию имевшейся у американцев магнитофонной записи радиопереговоров пилота с землей Шульц прямо утверждал, что «нет свидетельств того, чтобы Советский Союз подавал какие-либо предупредительные сигналы корейскому самолету или требовал от него посадки», а также «нет указаний на то, что Советский Союз попытался предупредить самолет путем пуска трассирующих снарядов». Соответствующие части магнитофонной записи, свидетельствовавшие об обратном, были вырезаны и при передаче этой обработанной записи в Совет Безопасности ООН.

Когда через некоторое время американская сторона вынуждена была придать гласности более полную версию записи, эти пропуски попытались объяснить лингвистическими трудностями. К переводу были привлечены, похоже, действительно далеко не лучшие знатоки русского языка – так, например, восклицание пилота «елки-палки» было переведено как «чепуха». Но ясно, что такие доклады пилота на землю, как «у меня уже горят предупредительные огни» и «даю очередь из пушек», были опущены из первоначально опубликованной записи не из-за лингвистических трудностей, а по чисто политическим соображениям. Лживая версия, будто Советский Союз осознанно пошел на уничтожение пассажирского самолета, тиражировалась в многочисленных инструктажах для журналистов, проводившихся представителями государственного департамента и Белого дома.

В таком же плане, но в еще более резких тонах были выдержаны заявления, сделанные от имени, а затем и самим президентом Рейганом, – в них однозначно говорилось о «варварском», «террористическом» акте Советского Союза в отношении пассажирского самолета.

При всем том, что и линия поведения советского руководства сразу после инцидента была, как говорилось выше, не самой умной, развернутая Вашингтоном кампания по обвинению СССР в умышленном уничтожении пассажирского самолета не только вызывала естественные резко негативные эмоции у советского руководства, но и утверждала его во мнении насчет причастности американских служб к случившемуся. А кампания очернения Советского Союза и велась, мол, для того, чтобы скрыть эту причастность. Это мнение подкреплялось и поступавшими из американских же источников сведениями о том, что разведывательные службы США располагали данными, свидетельствовавшими, что советская сторона на самом деле приняла южнокорейский самолет за разведывательный самолет РС-135 и для этой ошибки были определенные объективные основания.

И действительно, как позже подтвердилось, еще за полтора часа до выступления Шульца перед журналистами утром 1 сентября разведывательное управление ВВС США представило руководству Пентагона, а затем и в Белый дом свое заключение, основанное на анализе американских технических данных и всех обстоятельств событий прошлой ночи. Вывод был однозначным: русские, зафиксировав в районе Камчатки появление вначале разведывательного самолета РС-135, а затем рядом с ним второго самолета, в дальнейшем приняли вторгшийся в их воздушное пространство самолет за РС-135 и в итоге решили сбить его, будучи уверены в этом. В заключение давалось технически грамотное объяснение и тому, почему советский летчик мог не заметить различия между РС-135 и «Боингом-747»: советский истребитель, судя по данным радиоперехвата, все время находился ниже его (как оно и было на самом деле), а это, тем более в ночных условиях, не позволило пилоту разглядеть характерный для «Боинга-747» «горб» на его фюзеляже.

Специалисты ВВС были убеждены в своих выводах, и каково же было их удивление, когда они увидели по телевидению Шульца, потрясавшего перед журналистами какой-то бумагой, будто бы доказывавшей злодейское уничтожение Советским Союзом пассажирского самолета. Один из них вспоминал позднее: «Мы все говорили: «Как может этот сукин сын так поступать? Он бесчестит всех нас. Он занимается использованием

разведки в политических и бесчестных целях – размахивает этой бумажкой как бы в знак того, что сказанное им подкреплено достоверными разведывательными данными». Людям никогда не понять, какой удар ощутили на себе те, кто считает себя офицерами технической разведки, когда Шульц, поднялся и сделал свое заявление».

К заключению о том, что советские службы ПВО и ВВС действительно приняли южнокорейский самолет за РС-135, вскоре пришли и другие разведывательные службы США. Упорствовал только директор ЦРУ Кейси, настаивавший на том, будто бы в Москве знали, что сбивают пассажирский самолет, а это давало США хороший шанс для «избиения русских». Поэтому эта версия и была взята на вооружение политическим руководством США. Наряду с неуклюжим поведением Москвы после гибели самолета такая постановка вопроса во многом обусловливала остроту ситуации, сложившейся в связи с инцидентом.

То, какого накала достигла эта ситуация, особенно наглядно проявилось при встрече Шульца и Громыко 8 сентября в Мадриде, куда они оба прибыли для участия в очередном раунде Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Встреча, проходившаяся в резиденции посла США, нарочно была обставлена американцами так, чтобы перед всем миром продемонстрировать резкость и жесткость позиции США. В резиденцию было приглашено необычно большое число теле– и фотокорреспондентов, на глазах у которых Шульц даже не подал руки Громыко, а затем, заняв прокурорскую позу, стал отчитывать СССР за «содеянное злодейство». Громыко отвечал ему столь же резко. Был момент, когда оба они вскочили и, казалось, были готовы схватить друг друга за грудки. По словам «Нью-Йорк таймс», Шульц вел себя, «как боксер тяжелого веса, стремящийся привлечь внимание прессы перед схваткой в 15 раундов».

И в те дни, и в последующем не только в СССР, но и в США и других западных странах многие задавались вопросом, чем объяснялась столь агрессивная линия поведения американского руководства.

Кое-кто (хотя и не очень многие) на Западе допускал вероятность того, в чем было уверено советское руководство: вторжение южнокорейского самолета в воздушное пространство СССР было заранее организовано – с ведома или без ведома Белого дома – американскими разведывательными службами, а последовавшая затем яростная антисоветская кампания имела своей целью прикрыть эти действия. Как было известно, даже некоторые американские сенаторы и конгрессмены не исключали

возможности того, что более чем странный полет южнокорейского самолета – дело рук американской или южнокорейской спецслужб. Этой точки зрения придерживались и авторы ряда опубликованных позже книг.

Другая точка зрения, получившая еще большее распространение, состояла в том, что американские службы изначально не были причастны к организации полета южнокорейского самолета над территорией СССР, но когда они обнаружили отклонение его по той или иной причине от международной трассы, вместо того чтобы предостеречь экипаж самолета от вторжения в советское воздушное пространство, они решили воспользоваться этим в своих целях. Один из сторонников этой точки зрения американский исследователь Д. Пирсон, исключая возможность того, что американские службы «проглядели» отклонение южнокорейского самолета от международной трассы, писал: «Если бы это действительно было так, то это значит, что в ту ночь произошел самый страшный сбой американских систем раннего предупреждения и связи, командования, управления и разведки за всю историю Соединенных Штатов. Однако гораздо более вероятной и пугающей представляется мысль о том, что правительство США – на каком уровне, пока неизвестно, – приняло сознательное политическое решение поставить под угрозу жизнь 269 человек ни в чем не повинных людей, исходя из предпосылки: нельзя упустить уникальную возможность получить разведывательную информацию, а русские не осмелятся сбить гражданский самолет». Когда же произошла трагедия, американское руководство, согласно этому (как, впрочем, и предыдущему) варианту развития событий, решило попытаться переложить всю вину за нее на Советский Союз.

Наконец, третья точка зрения заключалась в том, что в результате ряда сбоев в работе американских разведывательных служб произошло именно то, чего, по мнению сторонников первой и второй точек зрения, не могло случиться: в штаб-квартирах этих служб в Вашингтоне и, соответственно, в высших политических кругах страны не было известно (в реальном времени) о полете южнокорейского самолета над Камчаткой и затем над Сахалином до тех пор, пока он не был сбит. Первоначальный же анализ «сырой» информации американских служб, поступившей в Вашингтон уже после трагедии, при соответствующей ее интерпретации (и при продолжавшемся в течение первых суток молчании Москвы) мог дать основания полагать, что русские осознанно сбили пассажирский самолет, вторгшийся в их воздушное пространство. И хотя не все

американские разведывательные службы с самого начала придерживались подобной интерпретации поступивших данных, а вскоре от нее отказалось и подавляющее их большинство, высшее руководство США предпочло придерживаться первоначальной интерпретации, не только не желая давать задний ход по престижным соображениям, но и усмотрев для себя политические выгоды в случившемся.

Выгоды эти представлялись двоякими: в широком идеологическом плане случившееся (в вашингтонской интерпретации) как нельзя ярче подтверждало любимый тезис Рейгана о Советском Союзе как «империи зла», а в фактическом плане дискредитация СССР именно в тот момент как нельзя лучше вписывалась в усилия Вашингтона по преодолению последних препятствий для начала развертывания в Западной Европе американских ракет средней дальности.

Тот факт, что, по существу, застрельщиком антисоветской шумихи на этот раз выступил Шульц (это не очень сочеталось с его личной порядочностью и с его в целом более конструктивной линией в вопросах отношений с СССР), хорошо знавшие Шульца и осведомленные в делах вашингтонской политической кухни лица объясняли двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что Шульц был введен в заблуждение директором ЦРУ Кейси и искренне исходил из версии предумышленного уничтожения пассажирского самолета. Во-вторых, тем, что Шульц с подачи своих заместителей Иглбергера и Бэрта соблазнился возможностью подправить таким образом свои ослабевшие к тому времени позиции в противостоянии с «ястребами» из окружения президента, в глазах которых он был ранее недостаточно тверд в отношении Советского Союза.

Так или иначе, вне зависимости от того, какой из трех приведенных вариантов объяснения принятой Вашингтоном линии поведения ближе к истине, эта линия поведения нанесла существенный и долговременный ущерб американо-советским отношениям.

Тайна «черных ящиков»

От моих коллег военных мне было известно о предпринятых ими широкомасштабных и интенсивных работах по поиску и извлечению из морских глубин «черных ящиков» с южнокорейского самолета, сбитого над Сахалином. 20 октября была обнаружена кабина самолета, и в последующие дни из нее были извлечены и подняты оба «черных ящика»: один – с

аппаратурой, регистрирующей параметры полета и работу систем самолета, и второй – с речевым регистратором переговоров экипажа самолета с наземными пунктам управления и членов экипажа между собой на протяжении последних 30 минут полета.

Работа по дешифрованию записей регистратора полетных данных и их анализу была сопряжена, как я знал, с немалыми трудностями ввиду отсутствия соответствующего оборудования и необходимой технической документации на систему регистрации полетных данных, установленную на данном конкретном самолете. Тем не менее из дешифрованных параметров полета со всей очевидностью явствовало, что маршрут полета самолета, приведший его к Камчатке, а затем к Сахалину, был избран экипажем преднамеренно – полет выполнялся начиная с четвертой минуты после взлета с помощью автопилота в режиме автоматической стабилизации постоянного магнитного курса 249°. По заключению наших специалистов, ни одна из возможных ошибок экипажа в программировании полета или сочетание этих ошибок не могли привести к такому варианту полета. Это подтверждалось и тем, что подобный вариант полета отсутствовал среди всех рассмотренных специалистами ИКАО (международный орган по делам гражданской авиации) вариантов, которые могли бы, по их мнению, явиться результатом непроизвольных ошибок, допущенных экипажем при вводе полетных данных в компьютер самолета перед вылетом из Анкориджа. О преднамеренности полета южнокорейского самолета по указанному маршруту и о знании экипажем своего фактического местоположения в течение всего полета свидетельствовал и ряд других расшифрованных параметров.

Во втором «черном ящике», с речевым регистратором, тоже обнаружились признаки необычности полета. Так, в 06 часов 16 минут, сразу после вхождения самолета в советское воздушное пространство над Сахалином, когда к нему стали приближаться советские истребители, «черный ящик» зафиксировал продолжавшийся полторы минуты сеанс интенсивной связи в режиме радиотелеграфии – расшифровать содержание передававшейся информации не представилось возможным, но сам факт поддержания экипажем пассажирского самолета связи в этом режиме свидетельствовал о том, что ему было что скрывать. Это с нашей точки зрения подтверждал и следующий факт: в зафиксированных на магнитофонной пленке разговорах членов экипажа открытым текстом с землей и между собой они ничем не выдали, что видят преследовавший их советский истребитель и подававшиеся им сигналы, – они явно не хотели оставлять «следов» в «черном ящике». Но в то же время было ясно: их

отсутствие будет использовано в случае передачи «черных ящиков» в ИКАО против нас как свидетельство того, будто экипаж действительно не осознавал, что он находился в советском воздушном пространстве.

Поскольку правительство США упорно продолжало придерживаться версии насчет сознательного уничтожения «советскими варварами» пассажирского самолета, хотя к этому времени в Москве было достоверно известно о наличии у американского правительства доказательств обратного, ничто не позволяло надеяться на то, что передача «черных ящиков» на Запад послужит установлению объективной истины, а не будет использована для нового нагнетания антисоветской истерии вокруг этого инцидента.

Именно эти соображения были определяющими, во всяком случае для меня, когда я визировал соответствующий документ при принятии советской стороной решения о нецелесообразности в тех конкретных условиях передавать «черные ящики» в ИКАО.

При самом разном сегодня отношении разных людей к этому и к другим фактам, касающимся истории с южнокорейским самолетом в 1983 году, никакие из выявившихся за последующие годы фактов не опровергают того, в чем я был убежден тогда и остаюсь убежден сегодня: южнокорейский самолет был сбит не из-за «советского варварства», а только потому, что в силу объективных обстоятельств он был принят за американский разведывательный самолет, нагло вторгшийся в воздушное пространство СССР и не реагировавший на требования совершить посадку на советском аэродроме.

Более того, после тщательного изучения экспертами ИКАО всех полученных ими материалов из России, США, Японии и Южной Кореи теперь уже официально признаны оба основополагающих факта: 1) южнокорейский самолет далеко отклонился от международной трассы и вошел в воздушной пространство СССР в результате не технических ошибок, а осознанных действий его экипажа (хотя установить мотивы таких действий было сочтено невозможным); 2) действия советских сил ПВО по пресечению полета этого самолета основывались на убеждении в том, что в воздушное пространство СССР вторгся военный самолет-разведчик.

Глава 11. ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ О РАКЕТАХ СС-20 и СС-23

Советские ядерные ракеты средней дальности, именовавшиеся на Западе СС-20 (наше их наименование РДС-10 так и не прижилось), длительное время были предметом активной дискуссии на Западе, а с 1985 года и в СССР, особенно в преддверии и после подписания в декабре 1987 года Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор по РСМД). При наличии у обсуждаемой проблемы разных аспектов дискуссия по ней у нас в итоге сводилась фактически к одному вопросу: стоило ли Советскому Союзу создавать и развертывать эти ракеты, если спустя совсем немного времени он согласился все их уничтожить?

Любители простых ответов, не утруждая себя особыми размышлениями, спешили сделать однозначный вывод, что без ракет средней дальности вообще, «как показал договор о ликвидации всех этих ракет, вполне можно было обойтись». Но простые ответы, кажущиеся иногда даже убедительными, далеко не всегда бывают самыми правильными, когда речь идет о сложных проблемах, к числу которых, конечно, относится и рассматриваемая. Найти же правильные ответы представляется важным не только с точки зрения исторической правды, но и для извлечения полезных уроков на будущее.

Поскольку мне по долгу службы приходилось соприкасаться с проблемой ракет средней дальности на разных этапах ее развития и в разных ее ракурсах, хотелось бы поделиться своими соображениями по этой проблеме как по одному из эпизодов «холодной войны».

У истоков проблемы

Внести необходимую ясность в вопрос о ракетах СС-20 нельзя, не рассмотрев вкратце проблему ракет средней дальности как таковых в историческом контексте и не учитывая другие факторы, определявшие стратегическую ситуацию на соответствующих отрезках времени. Прежде всего, кто и когда впервые разместил в Европе ядерное оружие, в том числе такое, которое позже было отнесено к категории средней дальности? Факты говорят о следующем.

Произошло это еще в 1948 году, когда США разместили в

Англии более 90 средних бомбардировщиков Б-29, часть из них с атомными бомбами на борту. И сделано это было несмотря на то, что у США были на их территории тяжелые бомбардировщики Б-52, оснащенные атомными бомбами и способные достигать территории СССР, а у Советского Союза в то время вовсе не было ядерного оружия.

Далее, в течение 1954–1958 годов США разместили в Западной Германии, Англии, Италии и Турции ракеты «Матадор», «Тор» и «Юпитер», а также самолеты-снаряды «Мэйс», способные наносить ядерные удары по территории СССР и его союзников. И это было сделано опять-таки в то время, когда США по-прежнему располагали бесспорным превосходством в межконтинентальных средствах доставки ядерного оружия. К этому следует добавить, что в 1952 году обладателем ядерного оружия стала Англия – главный союзник США по Североатлантическому блоку, а несколько позднее, в 1961 году, – Франция.

Мог ли Советский Союз в этих условиях не принять соответствующие ответные меры, чтобы хоть частично нейтрализовать ядерную угрозу со стороны НАТО? Об этом стоило бы задуматься тем, кто сегодня считает, что мы вообще могли обойтись без ракет средней дальности, раз потом они все равно стали уничтожаться.

В числе таких контрмер было и развертывание в европейской части СССР ракет средней дальности: ракеты СС-4 (по западной терминологии) начали размещаться в 1959 году, то есть когда в западноевропейских странах – членах НАТО уже в течение более десяти лет существовал целый ряд систем ядерного оружия, нацеленного на СССР и его союзников; ракеты СС-5 начали размещаться в 1961 году.

Предпринятая было в 1962 году попытка разместить некоторое количество ракет СС-4 и СС-5 на Кубе окончилась, как известно, тем, что их пришлось увезти обратно. Одним из результатов советско-американской договоренности 1962 года, положившей конец карибскому кризису, – в дополнение к главному обязательству США о невторжении на Кубу – был последовавший в 1963 году вывоз американских ракет средней дальности из Турции и Италии. Я упоминаю об этом здесь потому, что приходилось сталкиваться с вопросом: почему бы и нам еще тогда, в 1963 году, когда американцы убрали из Европы старые ракеты средней дальности, тоже не отделаться от своих ракет этой категории?

Для прояснения этого вопроса надо восстановить в памяти, какова в целом была стратегическая ситуация в ту пору. К концу 1962 года США имели около 300 межконтинентальных

баллистических ракет, а СССР – порядка 50; баллистических ракет на подводных лодках – соответственно более 100 и всего несколько единиц; тяжелых бомбардировщиков – 600 и 190. Сохраняли США в Западной Европе и широкий набор других (помимо вывезенных ракет) ядерных средств передового базирования. К этому следует добавить увеличивавшиеся ядерные арсеналы Англии и Франции.

Именно потому, что в момент карибского кризиса на стороне США и НАТО в целом имелось не просто большое, но совершенно очевидное превосходство в ядерном оружии, они согласились в качестве негласного элемента договоренности удалить из Европы свои старые ракеты средней дальности. США могли сделать это без ослабления стратегических позиций НАТО в Европе. Ликвидация же наших ракет средней дальности в тот период существенно ослабила бы и без того не слишком сильные позиции СССР в соотношении ядерных сил. Такова ранняя предыстория проблемы ракет СС-20.

Могли ли вообще не появиться эти ракеты?

Для начала опять требуется вспомнить, что происходило в последовавшие за карибским кризисом полтора десятка лет до развертывания ракет СС-20. Параллельно с форсированным наращиванием стратегических наступательных вооружений продолжали множиться и совершенствоваться американские ядерные средства передового базирования в Европе. К концу 60-х годов стало известно, что в США разрабатываются новые ракеты средней дальности, прототипы будущих «Першингов-2» и «Томагавков». Одновременно продолжали расти ядерные арсеналы Англии и Франции.

С самого начала советско-американских переговоров по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1) в 1969 году, а затем и на переговорах по ОСВ-2 советской стороной настойчиво ставился вопрос об американских ядерных средствах передового базирования, географическое размещение которых позволяло наносить удары по Советскому Союзу. Одновременно мы говорили и о необходимости учета потенциальной угрозы Советскому Союзу со стороны третьих стран, обладающих ядерным оружием. Эти вопросы были предметом острой дискуссии, в частности, в ходе советско-американской встречи во Владивостоке в ноябре 1974 года. Однако каждый раз США упорно отказывались включать эти вопросы в переговоры.

Неизбежно, что в этих случаях Советский Союз тоже шел,

хотя и с заметным отставанием по большинству позиций, по пути наращивания своего ядерного арсенала, прежде всего в области стратегических вооружений. И тем не менее, забегая несколько вперед, отмечу, что в 1976 году, когда начались работы по развертыванию ракет СС-20, соотношение по ядерным боезарядам на стратегических носителях было 3:1 в пользу США.

Что касается советских ракет СС-4 и СС-5, то их количество, достигнув максимального уровня в 700 единиц к началу 70-х годов, затем сократилось (еще до начала развертывания ракет СС-20) до 600 единиц. Это были ракеты на жидком топливе первого поколения, к середине 70-х годов уже технически устаревшие. Производство ракет СС-4 было прекращено еще в 1962 году, а ракет СС-5 – в 1965 году. Те, что оставались в строю, с течением времени становились все более ненадежными и даже небезопасными.

Можно ли, с учетом всех объективных обстоятельств того времени, когда «холодная война», то затухая, то разгораясь, продолжалась, представить себе, чтобы Советский Союз не побеспокоился о замене старых ракет средней дальности новыми и, естественно, технически более совершенными?

В любом случае вызывало удивление, когда выражавшие потом сомнения в правильности принятого в свое время решения о развертывании в СССР ракет СС-20 ссылались при этом на то, что «у нас в Европе было достаточно ракет СС-4 и СС-5». Такие суждения были нелогичными уже потому, что ракеты СС-20 разрабатывались и развертывались не в дополнение к ракетам СС-4 и СС-5, а в порядке их замены, это было не вопросом целесообразности, а вопросом необходимости, еще точнее – неизбежности. Другими словами, в данном случае просто неправомерно говорить о том, было или не было достаточно прежних ракет. Гипотетически рассуждая, речь в тот момент могла идти о другом: иметь или не иметь вообще Советскому Союзу ракеты средней дальности, поскольку ракеты СС-4 и СС-5 «доживали свой век».

В этой связи нельзя было согласиться и с теми, кто, подобно А. Е. Бовину, считал, что «здесь в чистом виде сработала военно-техническая логика: раз новое оружие «придумано», его нужно создать, воплотить в железо, а если оно уже создано, его необходимо развернуть, поставить на боевые позиции». Нечто подобное, думаю, в нашей практике бывало, но в других случаях. Говорить же, что именно так получилось, да еще в «чистом виде», в случае с ракетами СС-20, значит допускать сверхупрощение. Факты все же говорят о другом: ракеты были «придуманы» потому, что их нужно было создать, а не созданы потому, что

были «придуманы».

Во всяком случае, исходя из всех доступных мне фактов, а к настоящему времени они стали общеизвестными, я придерживаюсь точки зрения, что решение о создании и начале развертывания ракет СС-20 было неизбежным, и поэтому нет оснований считать это решение само по себе ошибкой. В то же время я всегда считал, что в осуществлении этого решения (масштабы, сроки, порядок развертывания ракет СС-20) были допущены серьезные ошибки, которые повлекли за собой не менее серьезные последствия.

Главная ошибка

Чтобы стала ясна суть допущенной, по моему убеждению, главной ошибки при развертывании ракет СС-20, необходимо напомнить, как складывалась ситуация в период между началом их развертывания в 1976 году и принятием Советом НАТО в декабре 1979 года решения о размещении в Европе новых американских ракет средней дальности. То, что в тот период на советско-американских переговорах по ограничению стратегических вооружений дело шло, хотя и с немалыми трудностями, к заключению нового договора (ОСВ-2), вызывало неоднозначную реакцию в руководящих кругах западноевропейских стран – членов НАТО. С одной стороны, улучшение советско-американских отношений на центральном, стратегическом направлении в принципе приветствовалось, а с другой – возникали и опасения, как бы это не привело к ослаблению военной взаимозависимости между США и Западной Европой. Поэтому кое у кого из западноевропейских руководителей появилось желание усилить ядерную привязку США к Европе путем дополнительного размещения здесь американского ядерного оружия новых классов. В то же время западноевропейским руководителям было не так-то легко решиться на это – особенно на размещение ядерного оружия наземного базирования – ввиду роста в их странах антиядерных настроений.

Не было единодушия в руководящих кругах и самих США относительно целесообразности размещения в Европе новых американских ракет средней дальности. Известно, что не видел необходимости в этом Объединенный комитет начальников штабов: военные отдавали предпочтение варианту модернизации уже имевшихся в Европе оперативно-тактических ракет «Першинг-1». Сомнения высказывали среди других и бывшие

помощники президента по национальной безопасности Банди и Киссинджер. Даже такой милитаристски настроенный деятель, как Ричард Перл (в недалеком будущем ставший заместителем министра обороны), считал, что решение о размещении в Европе «Першингов-2» и крылатых ракет средней дальности причинили НАТО гораздо больше политического вреда, чем они стоили того в плане военном.

Важно было и то, что в 1977–1979 годах, вопреки сложившемуся позже представлению, даже те на Западе, кто сразу стал изображать ракеты СС-20 как пугало и ратовать за «ядерное довооружение» НАТО, не решались утверждать, что развернутое в те годы их количество уже изменило соотношение сил в этой области в пользу СССР. Подобного утверждения не содержалось потом и в самом решении Совета НАТО от 12 декабря 1979 года. В решении лишь говорилось, что с началом развертывания ракет СС-20 в сочетании с другими шагами СССР по модернизации ядерных вооружений в Европе складываются беспокоящие НАТО тенденции, «ибо если эти тенденции сохранятся, то превосходство русских в тактических ядерных средствах сможет подорвать стабильность, достигнутую в области межконтинентальных систем, и подорвать сомнения в отношении надежности стратегии сдерживания, применяемой НАТО».

Поэтому в числе других был не прав тот же Бовин, когда излагал свое понимание натовских оценок ситуации, сложившейся в результате начавшегося развертывания ракет СС-20 вместо СС-4 и СС-5, следующим образом: «Следовательно, равновесие нарушено и, чтобы восстановить его, НАТО – если СССР не уберет новые ракеты – будет вынуждено развернуть в Западной Европе американские ракеты средней дальности. В этом смысл принятого в 1979 году «двойного решения». Чтобы убедиться в неправильности подобной характеристики смысла декабрьского решения Совета НАТО, достаточно прочитать это решение и сопровождавшие его заявления руководителей стран НАТО. Кстати, когда спустя более года после декабрьского решения, в феврале 1981 года, канцлера ФРГ Г. Шмидта, считавшегося одним из «отцов» этого решения, прямо спросили, нарушено ли уже равновесие между Западом и Востоком в Европе, он дал отрицательный ответ.

К вопросу о реальном положении вещей и о действительном смысле декабрьского решения НАТО 1979 года я еще вернусь. Пока же хотелось бы подчеркнуть: на момент принятия этого решения руководители стран НАТО не утверждали, что начавшееся развертывание ракет СС-20 уже тогда привело к нарушению равновесия в пользу СССР и требуется «восстановить»

его. Они говорили лишь о том, что заблаговременно принимают меры, чтобы не допустить нарушения равновесия в будущем.

Заостряю внимание на этом потому, что, с моей точки зрения, именно наличие в период 1977–1979 годов трех упомянутых обстоятельств: двойственность отношения западноевропейских руководителей НАТО к перспективе размещения новых американских ракет в Европе; отсутствие единодушия внутри руководства США по этому вопросу; незаангажированность к тому времени руководителей США и Западной Европы в публичных оценках степени угрозы, которую создавали ракеты СС-20, – все это в совокупности создавало «окно возможностей» для принятия компромиссного решения, которое могло бы предотвратить размещение в Западной Европе американских ракет средней дальности.

Более того, просматривались и возможные контуры такого компромисса. Запад подавал нам соответствующие сигналы: пусть СССР «раскроет карты», из которых было бы видно, что он не станет развертывать ракет СС-20 больше (в пересчете на боеголовки), чем было ракет СС-4 и СС-5, а еще лучше – ограничится несколько меньшим их числом с учетом более высоких качественных характеристик. Тогда озабоченность западноевропейцев, как и вопрос о размещении новых американских ракет в Европе, будет снята. К этому, в сущности, сводилось сказанное канцлером ФРГ Шмидтом советскому премьеру Косыгину летом 1979 года в беседе в аэропорту в Москве, где Шмидт специально сделал остановку по пути из Бонна в Токио.

Проинформировав своих коллег по Политбюро о содержании беседы со Шмидтом, Косыгин закончил полувопросом: может быть, стоит подумать над таким вариантом?

К тому времени фактически стало правилом: что бы ни предложил Косыгин, Брежнев в итоге выступал против. И всегда находился кто-то, спешивший поставить под сомнение высказанную Косыгиным ту или иную мысль и тем самым облегчить задачу Брежневу. Но на этот раз «помощники» почему-то замешкались, возникла пауза. Воспользовавшись ею, в нарушение всякой субординации попросил слова я (принято было, что приглашенные на заседание, если и «высовывались», то только после того, как выскажутся члены Политбюро).

Суть сказанного мною состояла в том, что зондаж со стороны Шмидта представляет собой реальный шанс найти приемлемый для нас компромисс. Для этого необходимо скорректировать наши планы в сторону некоторого сокращения количества ракет СС-20, намеченного ранее к развертыванию, что, на мой взгляд,

не нанесло бы ущерба нашей безопасности. Тут же, однако, последовала резко негативная реакция со стороны Устинова: «Ишь чего захотели, раскрой им наши планы, да еще скорректируй их! И кто даст гарантии, что они после этого откажутся от своих планов?»

Я ответил, что таких гарантий никто, конечно, дать не может, но и риска здесь фактически никакого нет. Если бы договоренность и не состоялась, то политически позиции как СССР, так и антиядерных сил в Западной Европе намного бы укрепились. Соответственно, было бы труднее принимать и осуществлять решение НАТО о размещении американских ракет в Европе.

Брежнев непонимающе-вопросительно смотрел на Громыко, но тот предпочел отмолчаться, не желая конфликтовать с Устиновым, хотя из разговора с Громыко перед заседанием Политбюро я заключил, что он не был настроен негативно в отношении зондажа Шмидта (о содержании беседы в аэропорту нам было известно еще до заседания от присутствовавших на ней работников МИДа).

Этим «обсуждение» и закончилось. Шанс был упущен. Отсутствие нашей положительной реакции на зондаж Шмидта привело к тому, что был открыт «зеленый свет» принятию решения НАТО о размещении в Европе американских «Першингов-2» и крылатых ракет наземного базирования.

Были допущены ошибки и в наших последующих действиях, такие, как отказ сесть за стол переговоров – «пока не будет отменено решение НАТО», затем – «пока не будет приостановлено его осуществление», потом «хлопанье дверью» на переговорах. И все же самой серьезной, главной нашей ошибкой, я убежден, было именно то, что мы не воспользовались шансом достичь взаимоприемлемого компромисса еще до принятия в НАТО решения о размещении в Европе новых американских РСД. Хотя полной уверенности не может быть, но думается, что если бы в свое время Громыко высказался в поддержку мысли Косыгина насчет целесообразности продолжения диалога со Шмидтом, события могли бы развиваться по-другому. Во всяком случае, несколько лет спустя Устинов фактически признал в разговоре со мной, что зря тогда не попытались договориться со Шмидтом, добавив при этом: «Но что же ты хотел от меня, если тебя не поддержал твой собственный шеф?»

Решение было принято Советом НАТО 12 декабря 1979 года после завершения политической подготовки, тщательно спланированной на сей раз с учетом неудавшегося ранее размещения в Европе американского нейтронного оружия.

Вернуться к этому вопросу необходимо как для того, чтобы окончательно уяснить, какую роль сыграли ракеты СС-20 в принятии декабрьского решения НАТО, так и для более правильного понимания хода и результата последующих переговоров, а в итоге – для лучшего понимания реальной значимости Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Надо признать, натовской пропаганде в значительной мере удалось создать впечатление, будто смысл принятого в 1979 году решения сводился к тому, чтобы то ли не допустить нарушения равновесия сил в Европе, то ли восстановить уже нарушенное, – с течением времени эта «деталь» сознательно затуманивалась. Но если она имела существенное значение на определенном этапе и в определенном смысле (о чем говорилось выше), то здесь самое важное, конечно, другое: грозило ли вообще развертывание ракет СС-20 существенным изменением соотношения сил в Европе в пользу СССР или же принятие решения НАТО все же диктовалось иными соображениями?

В западной, а вслед за ней и в советской прессе впоследствии приводились авторитетные свидетельства того, что развертывание ракет СС-20 если и играло определенную роль, то отнюдь не определяющую. Приведу дополнительно еще некоторые подтверждения этому.

Главнокомандующий вооруженными силами НАТО американский генерал Б. Роджерс в интервью журналу «Штерн» в августе 1984 года, выразив удовлетворение тем, что НАТО приобрела способность поражать территорию СССР из Западной Европы ракетными системами, далее сказал: «Мы могли делать это всегда с помощью самолетов. Однако когда английский бомбардировщик «Вулкан» был снят с производства и остался только американский бомбардировщик Ф-111, который обладает способностью достигать советской территории, мы решили, что должны привести модернизацию. **А вовсе не потому, что появились СС-20** (выделено мною. – *Г. К.*)».

Яснее вроде не скажешь, и трудно себе представить, зачем бы понадобилось Роджерсу говорить в данном случае неправду, если бы это было не так. Но если даже допустить, что почему-то, по непонятной нам причине, он в публичном заявлении грешил против истины, делая вид, будто СС-20 здесь ни при чем, то имеются на этот счет и документы, не предназначавшиеся для публикации. Так, солидная английская газета «Обсервер» 16 октября 1983 года сообщала, что в ее распоряжении оказалась

подборка секретных документов государственного департамента и министерства обороны США за 1978–1979 годы, касающихся подготовки к принятию решения НАТО о развертывании американских ракет в Западной Европе. Приведенные газетой выдержки из документов (никаких опровержений их подлинности не последовало) ясно говорили о том же, о чем публично заявил Роджерс. В одном из документов прямо указывалось: «Учитывая имевшееся количество советских ракет СС-4 и СС-5, модернизация советских сил с помощью ракет СС-20 не может сколько-нибудь существенно увеличить угрозу для НАТО».

Но коль скоро это так, то в чем же состоял действительный смысл решения НАТО о размещении американских ракет средней дальности, на что оно было нацелено?

Все дело заключалось в том, что появление ракет СС-20 в ряду других мер по модернизации ядерного арсенала СССР было расценено в руководящих кругах стран НАТО как шаг, способный привести к нейтрализации имевшихся до этого на стороне НАТО преимуществ. Другими словами, возникла не угроза для НАТО в смысле перевеса на стороне СССР, а угроза лишиться тех преимуществ, которыми США и НАТО все еще реально располагали (нам нравилось в ту пору говорить о равновесии, хотя его еще не было – мы по-прежнему «догоняли»). Отсюда стремление НАТО путем размещения в Западной Европе новых американских ракет сохранить, а то и нарастить эти преимущества.

Есть на этот счет и свидетельство такого авторитетного источника, как тогдашний министр обороны США Г. Браун. Выступая в одной из комиссий конгресса США в сентябре 1979 года с разъяснением смысла предстоявшего через три месяца решения НАТО по ракетному вопросу и других программ НАТО, он откровенно сказал: «Варшавский договор также будет продолжать совершенствовать свои силы, но нынешние тенденции указывают на то, что если будут выделены все необходимые средства на намеченные НАТО программы, **то мы должны добиться чистого военного выигрыша** (выделено мною. – *Г. К.*) в середине 80-х годов. Главным для получения такого выигрыша является то, что намеченные НАТО усилия в области модернизации ее вооруженных сил и ускорения темпов переброски американских подкреплений в Европу более чем компенсирует усовершенствования, намеченные странами Варшавского договора, которые основываются только на модернизации».

Очень ясно, без околичностей, о реальном смысле размещения американских ракет в Европе сказал также президент

Франции Миттеран в интервью итальянскому журналу «Эпока» в мае 1981 года: «Ракеты СС-20 не могут пересечь Атлантику, они угрожают только Европе, а не США. Напротив, американские ракеты «Першинг» нацелены на жизненно важные центры Советского Союза. Им потребуется меньше времени для поражения этих центров, чем советским ракетам, нацеленным на США. Одна эта разница во времени способна нарушить равновесие между великими державами».

Приведенные выше высказывания Брауна и Роджерса примечательны еще в двух отношениях. Во-первых, из них видно, что НАТО, как и СССР, не разделяло глухой стеной ракеты и авиационные средства доставки ядерного оружия при планировании их использования, рассматривая их как в определенной мере взаимозаменяемые и дополняющие друг друга. Это подтверждает правомерность первоначальной постановки нами на переговорах вопроса о необходимости принятия комплексного решения по всем ядерным средствам средней дальности. И если в итоге авиация была оставлена в стороне в интересах первоочередной договоренности по ракетным средствам, то это вовсе не означает ошибочности нашей исходной позиции, как это кое-кто склонен считать сегодня. Мы просто пошли на уступку, в данном случае не имевшую решающего значения, ради того, чтобы достичь договоренности. Во-вторых, из высказываний Брауна и Роджерса абсолютно ясно и то, что руководители США и стран НАТО исходили в своем планировании из совокупного арсенала стран НАТО, а не только одних США.

Этому есть и много других подтверждений. Так, в «Белой книге» правительства Великобритании по вопросам обороны за 1978 год говорилось, что «британские подводные лодки с ракетами «Поларис» составляют неразрывную часть стратегических средств НАТО». В аналогичном издании за 1979 год вновь указывалось, что «британские силы также составляют неразрывную часть ядерных сил театра военных действий, которые имеют жизненно важное значение для политики сдерживания НАТО». Более того, и в английской «Белой книге» за 1981 год, то есть уже после принятого в 1979 году решения НАТО, прямо говорилось: «Мы поддерживаем современные ядерные силы, предназначенные к использованию в рамках стратегии гибкого реагирования НАТО и способные нанести такой ущерб Советскому Союзу, что **советские руководители должны принимать их в расчет** (выделено мною. – *Г. К.*)».

Что касается соответствующих французских ядерных средств, то и они, несмотря на невхождение Франции в объединенные

вооруженные силы НАТО в мирное время, учитываются в военных планах НАТО, как это видно, в частности, из ежегодных докладов Комитета начальников штабов США. И это понятно, поскольку обязательства Франции по Североатлантическому договору не зависят от ее вхождения или невхождения в данный момент в его военную организацию (которая, кстати, была создана не сразу при заключении договора). Этого, собственно, не отрицают и французские руководители. Так, президент Миттеран при посещении базы французских подводных лодок-ракетоносцев Иль Лонг 24 июля 1981 года заявил: «Эта мощная сила сдерживания вносит вклад в совместную оборону союзников в рамках Североатлантического союза, которому мы сохраняем верность, даже если мы хотим остаться хозяевами своих решений».

Показательно и то, что в правительственных документах ФРГ, союзника Великобритании и Франции по Североатлантическому договору, за 1979–1981 годы при приведении данных о ядерных средствах средней дальности в Европе на стороне НАТО наряду с американскими бомбардировщиками Ф-111 перечислялись английские БРПЛ «Поларис» и бомбардировщики «Вулкан», а также французские баллистические ракеты наземного и морского базирования и самолеты «Мираж-IV».

Во всяком случае, как видно из вышеизложенного, нет никаких оснований считать ошибкой то, что СССР на протяжении длительного времени настаивал на учете (тем или иным образом) соответствующих ядерных средств Великобритании и Франции на стороне НАТО при достижении договоренности о сокращении советских и американских ядерных средств средней дальности.

Однако, надо сказать, наша – объективно справедливая – позиция на переговорах по этому вопросу оказалась заранее серьезно ослабленной в тактическом плане из-за следующего казуса. Произошел он во время беседы Брежнева с канцлером Шмидтом в Москве летом 1980 года, то есть незадолго до советско-американских переговоров по ограничению ядерных средств в Европе, которые начались в октябре того же года. Вести серьезные беседы Брежневу к тому времени было вообще трудно, тем более когда возникала необходимость с ходу реагировать на задаваемый собеседником вопрос. Так вот, выслушав изложение Брежневым по заготовленному тексту наших аргументов насчет обязательности учета английских и французских ядерных средств, Шмидт, не оспаривая по существу правомерность нашей позиции, вместе с тем спросил, не могли бы мы все же отложить вопрос об английских и французских ядерных средствах до последующих переговоров по сокращению стратегических вооружений. В ответ Брежнев вопреки нашей позиции, только что

изложенной им канцлеру, явно невпопад высказался в том смысле, что мы, дескать, не исключаем такого варианта.

Вклинившийся в разговор Громыко попытался подправить Брежнева, но западные немцы подумали, что советский руководитель не **оговорился**, как было на самом деле, а **проговорился**, выдав ненароком запасную позицию (между тем у нас в то время таковой не было). Соответственно, информировали они американцев и других своих союзников по НАТО. И это, безусловно, не могло не сказаться на ходе последующих переговоров.

Почему мы сняли свое требование

Если наше требование об учете английских и французских ядерных средств было вполне обоснованным – а приведенные выше факты подтверждают это, – то возникает вопрос, почему же мы в конце концов отступились от этого требования. Кстати, ведь в значительной мере неучетом английских и французских ядерных средств объяснялась и разница в количествах подлежавших уничтожению советских и американских ракет, что вызвало больше всего вопросов и беспокойства у наших людей.

Ответ на этот вопрос был дан Горбачевым, когда он на пресс-конференции в Рейкьявике 12 октября 1986 года заявил, что согласие оставить в стороне ядерные потенциалы Великобритании и Франции было с нашей стороны очень большой уступкой: «Ведь эти две страны – союзники США и обладают ядерным потенциалом, который продолжает наращиваться и совершенствоваться. А вся их военная деятельность плотно координируется в рамках НАТО. Это нам доподлинно известно. Тем не менее мы сняли это препятствие к соглашению».

Да, это была большая уступка, но в данном случае сделана она была, как говорится, «не задарма». Именно этот наш шаг поставил Рейгана в такое положение, когда США были вынуждены согласиться на полную ликвидацию своих ракет средней дальности вместе с советскими. Я не случайно употребляю выражение «США были вынуждены», ибо бытующее мнение, что это мы, мол, приняли, да еще с запозданием ранее предложенный Рейганом «нулевой вариант», не имеет под собой реальных оснований, оно ошибочно.

В 1981 году Рейган действительно говорил о «нулевом варианте» для ракет средней дальности. Но последующее развитие событий со всей очевидностью показало, что это был

всего лишь пропагандистский ход, рассчитанный на то, что Советский Союз никогда не согласится с таким вариантом. Об этом, в частности, откровенно написал в своей книге такой опытный политический деятель, как бывший президент США Никсон, хорошо осведомленный об умонастроениях в Белом доме времен Рейгана: «Когда в ноябре 1981 года Соединенные Штаты предложили «нулевой вариант», требующий ликвидации американских и советских ракет промежуточной дальности в Европе, они исходили не из того, что такое решение служит интересам Запада, а из того, что русские ответят на него отказом и понесут политический урон. Считалось, что данное предложение принесет Соединенным Штатам политические очки в Европе и позволит разместить ядерные силы промежуточной дальности в странах НАТО. Такая тактика оправдывала себя до тех пор, пока Советский Союз проявлял упрямство за столом переговоров».

И надо было видеть, как Вашингтон пытался отбиться от «нулевого варианта», когда его взяла на вооружение – и вполне серьезно – советская сторона; как американская сторона стремилась склонить нас к «промежуточному варианту», который позволил бы США сохранить хотя бы часть своих ракет средней дальности в Западной Европе. Только благодаря нашей настойчивости и давлению западноевропейской и мировой, в том числе американской, общественности Вашингтон в итоге пошел на «нуль», поняв, как писал тот же Никсон, что «если США ответят отказом, то это слишком дорого обойдется им с точки зрения авторитета в глазах общественного мнения в Западной Европе».

На деле, по большому счету, получилось так, что согласие США на реальный, а не пропагандистский «нуль» явилось фактически ответной уступкой – и отнюдь не менее крупной – на наше согласие снять вопрос об учете английских и французских ядерных средств. Не уступи мы в этом вопросе, не было бы договора, как не было бы его и без согласия США на «нуль». Короче говоря, каждая сторона уступала, но уступала ровно столько, сколько было необходимо, чтобы сбалансировать интересы в данной конкретной сфере.

То, что в результате в основном неучета английских и французских ядерных средств число подлежавших уничтожению ракет у Советского Союза оказалось заметно большим, чем у Соединенных Штатов, конечно, имело определенное значение с военной точки зрения. Однако следует учитывать то, что арифметическая разница между количествами уничтоженных СССР и США ракет средней и меньшей дальности далеко не полностью отражает реальное положение вещей. Если с учетом

неодинаковой стратегической ценности разных ракет (наши ракеты СС-20, размещенные а Европе, не достигали США, а их «Першинги-2» были размещены в Европе как раз для создания угрозы территории СССР) привести количество уничтожаемых той или другой стороной ракет к общему знаменателю, то разница будет не столь велика, как кажется на первый взгляд.

Таким образом, реальный смысл Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и главная его ценность для нас, помимо его универсальной ценности как первого шага по пути ядерного разоружения, состоял в том, что он повернул вспять осуществление решения НАТО, нацеленного на сохранение и приращивание преимуществ НАТО, а вовсе не на восстановление равновесия сил, нарушенного якобы в результате развертывания Советским Союзом ракет СС-20.

История, как известно, не признает «если бы» (в том смысле, что ее нельзя переписать). Но для излечения уроков из нее методологически этот прием вполне допустим. Поэтому не лишены смысла и рассуждения вроде того, а не лучше ли было бы, если бы мы «поймали на слове» Рейгана в 1981 года, выразив тогда согласие с «нулевым вариантом»? Мое мнение на сей счет таково: пропагандистских очков мы наверняка заработали бы немало, но пропагандой дело бы и закончилось. Наивно, по-моему, думать, что практический результат был бы таким, каким он получился в 1987 году.

Во-первых, нельзя забывать, что для того, чтобы получился Договор по РСМД, с нашей стороны понадобилась не только готовность пойти на «нуль» по ракетам средней дальности, но и многое другое. Во-вторых, обеим сторонам пришлось пройти через Женеву и Рейкьявик, чтобы, образно говоря, поезд советско-американских отношений, набитый ядерной взрывчаткой, набрал такую скорость, при которой для Рейгана оказалось невозможным спрыгнуть с него, когда мы предложили настоящий «нуль». Согласись мы на «нулевой вариант», предложенный Рейганом в 1981 году при совершенно других обстоятельствах, ему не составило бы большого труда уйти от него, отделавшись пропагандистскими ушибами.

К тому же нельзя забывать и того, что Договор по РСМД – это не один, а два «нуля». Для нас тогда было принципиально важно не допустить такого положения, когда при ликвидации ракет средней дальности Соединенные Штаты сохранили бы возможность наращивать в Европе, как они того и хотели, свои оперативно-тактические ракеты с дальностью от 500 до 1000 км, то есть способные поражать территории всех других стран Варшавского договора, а частично и Советского Союза. В

подписанном же Договоре по РСМД такие ракеты тоже попали под уничтожение.

При этом, однако, советской стороной в лице Горбачева и Шеварднадзе был допущен совершенно ничем не оправдываемый шаг, в результате которого в числе уничтожаемых в СССР оказались и ракеты «Ока» (по западной терминологии СС-23), которые не должны были подпадать под этот договор.

Что произошло с ракетами СС-23 («Ока»)

Согласно Договору по РСМД, ликвидации подлежали наряду с ракетами средней дальности (от 1000 до 5500 км) так называемые ракеты меньшей дальности (от 500 до 1000 км). Установленной же дальностью ракеты считается максимальная дальность, на которую испытывался данный тип ракеты. Это общепризнанный способ определения дальности ракеты, ибо понятно, что ни один военачальник не решится запустить ракету на бльшую дальность, чем она испытана, так как в этом случае не только нельзя обеспечить необходимую точность попадания, но вообще не известно, как поведет себя ракета в полете.

Между тем максимальная дальность, на которую испытывалась ракета «Ока», не превышала – и это было известно американской стороне – 400 км. И тем не менее она попала под уничтожение в соответствии с Договором по РСМД. Почему? Когда такой вопрос был задан 15 октября 1990 года Шеварднадзе одним из депутатов Верховного Совета СССР, министр иностранных дел не пожелал дать прямой ответ на него, сославшись на то, что этот вопрос «сложный и деликатный».

В действительности при всей его деликатности ничего сложного в этом вопросе нет, если не бояться рассказать правду. А правда такова. Американцы, зная, что ракета «Ока» испытана на дальность значительно меньшую, чем 500 км, тем не менее настойчиво добивались, чтобы она попала под действие Договора по РСМД. Мотивировали они это тем, что если бы такая же по габаритам ракета была изготовлена по американской технологии, то она могла бы иметь дальность 500 км.

Резонно отвергая такой подход как неправомерный и лишенный здравого смысла, Министерство обороны СССР вместе с тем под давлением Шеварднадзе в итоге выразило готовность пойти на включение ракеты «Ока» в Договор по РСМД, но при условии, что это будет сделано честно и справедливо, а именно: предложить американцам, чтобы под понятие «ракеты меньшей дальности» подпадали и соответственно подлежали запрету и

уничтожению все ракеты с дальностью не от 500, а от 400 до 1000 км. Тем самым наряду с ликвидацией нашей ракеты «Ока» была бы поставлена преграда для создания (такой проект уже был известен) модернизированной американской ракеты «Лэнс-2» с дальностью 450–470 км.

Однако во время пребывания государственного секретаря Шульца в Москве в апреле 1987 года, как только он спросил Шеварднадзе, согласны ли мы подвести ракеты СС-23 («Ока») под понятие «ракеты меньшей дальности» (500-1000 км), последовал ответ: «Для нас это не будет проблемой. Давайте попросим экспертов заняться этим вопросом. Повторяю, за нами дело здесь не станет». Не надо быть особенно искушенным в дипломатии, чтобы понять, что тем самым Шульцу был дан, по существу, положительный ответ. На встречу экспертов, состоявшуюся в МИДе в тот же вечер, представители Генштаба вопреки сложившейся за многие годы практике приглашены не были. С протоколом встречи знакомить их также не стали, сославшись на то, что протокол, мол, не велся, что опять-таки противоречило многолетней практике.

Но если о том, что говорилось на встрече экспертов и что Шеварднадзе доложил Горбачеву о своей беседе с Шульцем, я мог только догадываться, то о происшедшем на следующий день во время беседы Горбачева с Шульцем в присутствии Шеварднадзе мне известно достоверно – на этот счет есть документальные свидетельства. В ходе беседы Шульц, суммируя состоявшиеся накануне обсуждения с Шеварднадзе, сказал: «Вопрос о средствах с меньшей дальностью найдет отражение в договоре о ракетах промежуточной (средней) дальности. **О каких средствах идет речь, нам, я думаю, ясно** (выделено мною. – *Г. К.*)». И тут же со стороны Горбачева последовало подтверждение: «Как мы понимаем, о ракетах СС-23 и других ракетах этого класса». И все, никаких оговорок насчет того, что в этом случае нижний предел дальности должен быть снижен с 500 до 400 км, ничего, что исключило бы возможность наращивания дальности американских ракет «Лэнс», ни слова об этом.

Вот так, к приятному удивлению американцев, почти походя, не за понюх табака была отдана наша ракета «Ока». Не кто иной, как сам Шульц в беседе с находившимися на борту его самолета американскими журналистами по пути из Москвы сказал, что согласие Горбачева на включение ракет СС-23 в Договор по РСМД «было настолько односторонне выгодным для Запада, что он не уверен, смогли ли бы советские руководители провернуть это, будь в Москве демократический законодательный орган».

Впоследствии Шеварднадзе, стремясь уйти от

ответственности за соучастие в содеянном или, по крайней мере, переложить бльшую часть ответственности на других, написал в своей книге: «Почему бы депутатам группы «Союз» не спросить, например, о причинах уничтожения ракетного комплекса «Ока» не столько меня, как они это делают с преувеличенным рвением, сколько уважаемого мною маршала С. Ф. Ахромеева, который на переговорах по этому классу ракет занимал место рядом с Генеральным секретарем? Уж маршал-то не хуже, а то и лучше меня знает, кто и почему дал на это согласие, как знает и то, что без согласия министра обороны и начальника Генерального штаба такие решения не принимаются». Этот свой пассаж Шеварднадзе, видимо, для пущей убедительности закончил высокопарной фразой: «Умолчание, как и ложь, – не моя политика».

Но я смею утверждать, что в данном случае Шеварднадзе говорил заведомую неправду. Мне достоверно известно, что маршал Ахромеев не сидел рядом с Горбачевым и Шеварднадзе, когда они задарма отдали «Оку». Его участие в той беседе Горбачева с Шульцем не предусматривалось, и он не присутствовал на первой ее части, в ходе которой была решена судьба «Оки». Он был в срочном порядке вызван Горбачевым уже после этого – для участия в обсуждении вопросов, касавшихся будущего договора по сокращению СНВ. О решении же в первой части беседы вопроса об «Оке» он узнал только на следующий день, прочтя в газете сообщение о беседе Горбачева с Шульцем, в котором говорилось о согласии включить ракеты СС-23 в Договор по РСМД. В довершение ко всему в сообщении упоминалось и о его, Ахромеева, присутствии на этой беседе, что создавало впечатление о его причастности к свершившемуся с «Окой». Я был свидетелем, как маршал негодовал по этому поводу на совещании у Л. Н. Зайкова, возглавлявшего в то время Комиссию Политбюро по переговорам с США в области разоружения. Там же был и Шеварднадзе, так что вряд ли он не помнит об этом. Поэтому, повторяю, его история о маршале, сидевшем якобы рядом с Горбачевым во время похорон «Оки», – не что иное, как сознательное извращение истины.

Могу подтвердить в этой связи и ту «деталь», о которой поведал миру главный конструктор «Оки» С. Непобедимый: для того, чтобы дезавуировать возражения специалистов и оправдать задним числом допущенный Горбачевым и Шеварднадзе «ляп», было приказано (дословно) «пульнуть» ракету «Ока» на дальность 500 км. Эта самодеятельность была отменена благодаря тому, что Ахромеев, тогда еще начальник Генштаба, решительно поддержал категорические возражения главного конструктора, доложившего,

что система управления ракетой не разрешит ее пуск на дальность более 400 км, а если систему управления отключить, то не произойдет отделения головной части и ракета начнет аварийный полет со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями.

Попытки военных вернуться к вопросу об «Оке» до подписания договора всячески пресекались, вплоть до угрозы привлечения к партийной ответственности тех, кто критиковал промах руководства. Дело кончилось тем, что буквально за неделю до вашингтонской встречи в верхах, где предстояло подписание Договора по РСМД, военным пришлось просто отступить, и только тогда было официально оформлено наше внутреннее решение о включении ракет «Ока» в этот договор.

Американцы не замедлили, конечно, воспользоваться подарком советской стороны, начав вскоре после подписания Договора по РСМД проталкивать через НАТО решение о размещении в Европе создаваемых ими ракет «Лэнс-2» с дальностью, превышающей дальность ракет «Ока».

В этой связи Горбачев при встрече с государственным секретарем США Бейкером 11 мая 1989 года напомнил ему, что «буквально два года назад за этим же самым столом Шульцу было дано согласие включить в Договор по РСМД ракеты СС-23 с дальностью до 500 км, **хотя формально они не подпадали под условия договора** (выделено мною. – *Г. К.*)». А Шеварднадзе, расхрабрившись, стал даже грозить американцам тем, что в случае реализации их планов размещения в Европе ракет «Лэнс-2» «мы должны будем или приостановить уничтожение ракет СС-23, или создавать другие системы».

Но американцы не испугались подобных заявлений советских руководителей, хорошо зная к тому времени истинную цену им. Работа над ракетами «Лэнс-2» и параллельная подготовка соответствующего решения по линии НАТО относительно их размещения в Западной Европе продолжались полным ходом до тех пор, пока не произошли коренные перемены в странах Восточной Европы и не самоликвидировалась организация Варшавского Договора.

В результате этих действительно радикальных перемен размещение в Западной Европе ракет «Лэнс-2» с дальностью 450 – 470 км утратило всякую целесообразность, как политическую, так и чисто военную. Будучи размещены, скажем, на территории ФРГ, они смогли бы поражать цели только на территории бывшей ГДР, которая вскоре была включена в состав ФРГ, так что их размещение в ФРГ, естественно, теряло смысл.

Только после этого принятие окончательного решения по

линии НАТО о размещении ракет «Лэнс-2» в Европе было отложено, что не мешало Соединенным Штатам завершить разработку самих этих ракет. И если в будущем случится так, что при каких-то обстоятельствах Соединенные Штаты решат все же разместить их в Европе или еще где-нибудь, они вполне смогут сделать это, формально не нарушая при этом Договор по РСМД.

Между тем Россия в этом случае даже при появлении у нее такого желания не сможет ответить Соединенным Штатам взаимностью – создать и развернуть новые ракеты такой же дальности, как «Лэнс-2», поскольку при нашей технологии они скорее всего получились бы бльшими по своим габаритам, чем уничтоженные нами ракеты «Ока», а это уже противоречило бы Договору по РСМД.

То, что случилось с «Окой», – лишь один из примеров того, какие бывают серьезные последствия, когда высокие руководители игнорируют компетентные суждения специалистов, а в конечном итоге жертвуют и интересами государства, стремясь к одному – побыстрее закончить подготовку того или иного договора и устроить большой фейерверк по этому поводу. В том же Договоре по РСМД, как и в последующем Договоре СНВ-1, под нажимом Горбачева и Шеварднадзе были допущены и многие другие ничем не оправданные, а с профессиональной точки зрения и вовсе непростительные промахи. И это при том, что их нажиму упорно и в ряде случаев небезуспешно сопротивлялись те, кому были дороги интересы Отечества. Без их сопротивления таких или еще более грубых промахов было бы гораздо больше.

Сегодня, когда уже нет не только ракет СС-20 и СС-23, но и Советского Союза, рассказанное мною об этих ракетах может показаться не имеющим никакого значения. Но ведь история не заканчивается ни сегодня, ни завтра, а для того, чтобы правильно вести дела в будущем, не обойтись без достоверных знаний о прошлом.

Глава 12. ДО И ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Вернувшись в Москву из Вашингтона в октябре 1964 года, на следующий день после смены Н. С. Хрущева Л. И. Брежневым, я больше не уезжал из страны в длительные командировки. Соответственно в течение всего послехрущевского периода я был свидетелем, а со временем и в какой-то мере участником того, что происходило в стране и в высших эшелонах власти.

Отставкой Хрущева я опечален не был – больно много он наломал дров, особенно с 1958 года, и в наших внутренних, и во внешних делах. Тем не менее я согласен с той суммарной оценкой роли, сыгранной Хрущевым в нашей жизни, которую скульптор Эрнест Неизвестный художественно выразил в надгробном памятнике на его могиле, сделав его из белого и черного мрамора, причем белого цвета там все же несколько больше, чем черного. Думается, Хрущев заслужил это уже тем, что пошел вопреки сопротивлению многих своих коллег на развенчивание Сталина, а еще раньше с их помощью убрал Берию (хотя и под дурацким предлогом).

Памятное о Л. И. Брежневе

Брежнев в первые примерно восемь лет пребывания у власти производил впечатление человека, хотя и «не хватающего звезд с неба», но вполне здравомыслящего, где-то даже по-народному мудрого, умеющего слушать и воспринимать доводы других, приобретать познания и навыки в неведомых ему ранее областях. Был он не злым человеком и поначалу, я бы сказал, довольно скромным. И весьма энергичным.

Но рядом с ним находился человек с заметно более высоким интеллектом, гораздо более эрудированный, с неизмеримо более богатым и разносторонним опытом государственной (в отличие от сугубо партийной) и хозяйственной работы. Это был Алексей Николаевич Косыгин. Именно он явился инициатором и основным мотором начатых вскоре реформ в народной хозяйстве, которые и сейчас, задним числом, признаются видными экономистами как дававшие шанс на глубокие преобразования в жизни страны. Я хорошо помню, что «косыгинские реформы» широко и благожелательно обсуждались тогда не только в среде специалистов, на публике, но и, так сказать, «на кухнях».

Но вскоре начавшиеся реформы, не успев еще набрать силу и тем более стать необратимыми, пошли вспять. Как и многие другие, я догадывался, что это происходило не столько по объективным, сколько по субъективным причинам – у Брежнева появилась ревность в связи с тем, что молва в народе шла о «косыгинских», а не о «брежневских» реформах. Злую роль сыграло и наше «черное золото» – рост мировых цен на нефть породил у брежневской когорты надежду, что за счет притока в страну нефтедолларов «проживем и без косыгинских реформ». Это облегчило задачу похоронить реформы.

Тем временем Брежнев все больше укреплял свои позиции, устраняя потенциальных соперников, таких, например, как Шелепин, повышая свой собственный статус. Когда на первом же съезде КПСС после смены Хрущева было принято решение восстановить пост Генерального секретаря ЦК (после смерти Сталина Хрущев именовался Первым секретарем), я сначала по наивности подумал, что это просто словесные упражнения, но буквально на следующий день узнал, что на деле значительно расширился круг вопросов, по которым отныне Генеральный секретарь мог принимать единоличные решения.

Постепенно у Брежнева – не без помощи, как водится, царедворцев – появлялось все большее самомнение, а параллельно стало довольно заметно ухудшаться здоровье – и в физическом, и в интеллектуальном плане. В по-настоящему рабочей форме он был на моих глазах во время переговоров с президентом США Р. Никсоном в Москве в 1972 году, а уже в течение 1973 года я замечал серьезные сбои в его состоянии.

Так, например, весной того года во время приезда в Москву Киссинджера в порядке подготовки к предстоявшему визиту Брежнева в США имел место следующий эпизод в Завидовео, где проходили переговоры. В середине дня, когда был сделан двухчасовой перерыв, чтобы каждая сторона могла обсудить и определиться по возникшим спорным вопросам, Брежнев удалился, как он сказал, «отдохнуть часок». Имелось в виду, что за этот час остальные участники переговоров с нашей стороны во главе с Громыко отработают нашу позицию, после чего доложат ему до встречи с Киссинджером. Мы сделали свое дело, прошел час, полтора, но Брежнев не выходит из спальни, которая примыкала к кабинету, где проходили переговоры. Прошло и два часа, уже явился Киссинджер со своей командой, а Брежнева все нет. Спустя минут 15 Громыко велел мне выяснить у охранников, в чем дело. По словам охранников, в спальне находилась медсестра Н., которая должна была вовремя разбудить Леонида Ильича, но ни он, ни она пока не выходили из спальни. Когда я

объяснил ситуацию и попросил доложить Брежневу, что Киссинджер уже пришел, а Громыко должен еще доложить Леониду Ильичу подготовленные нами предложения, один из охранников приоткрыл дверь в спальню, и я увидел такую картину. Медсестра в халатике (отнюдь не медицинском) колготилась около сидевшего на кровати Леонида Ильича, пытаясь растормошить его, но он никак не приходил в себя. Вернувшись в кабинет, я шепотом обрисовал ситуацию Громыко. Насупившись, он продолжил разговор с Киссинджером на другие темы. Прошло еще минут 20 – 30, прежде чем появился полусонный Брежнев. Попытки Громыко, отойдя с ним в угол, растолковать суть подготовленной нами бумаги успеха не имели, и дело кончилось тем, что Громыко сам стал излагать Киссинджеру нашу заготовку, а Брежнев только кивал головой. Тогда-то я впервые узнал, что он стал увлекаться, вопреки возражениям врачей, снотворными и транквилизаторами.

Аналогичный эпизод имел место в том же году во время визита Брежнева в США. В один из дней пребывания в калифорнийской резиденции Никсона наш лидер не явился, на этот раз утром, к назначенному времени для беседы с президентом. И снова Громыко послал меня вести переговоры с охранниками. На этот раз, правда, медсестры в спальне не было, и охранники сами быстрее справились с поставленной задачей. Но беседу с Никсоном опять вел в основном Громыко. Визит Никсона в Советский Союз в 1974 году прошел, насколько я помню, без подобных эксцессов.

Последний раз в более или менее рабочей форме я видел Брежнева на встрече с президентом США Дж. Фордом во Владивостоке в ноябре 1974 года. А уже на встрече в Хельсинки летом 1975 года, где помимо участия в официальных заседаниях ему приходилось беседовать со многими ее участниками в отдельности, он был совершенно беспомощен. С тех пор самостоятельно вести беседу он был не в состоянии, мог только зачитать вступительное слово по заготовленному тексту. Не выручали делавшиеся на все случаи письменные заготовки. Обычно ведение беседы брали на себя другие ее участники с нашей стороны. Все это создавало весьма тягостное впечатление. К тому же случалось, что наш лидер, игнорируя присутствие на другой стороне стола лиц, знающих русский язык, начинал говорить своим коллегам довольно громко совсем неуместные вещи, в том числе иногда и по адресу высокого гостя. Приходилось сгорать со стыда.

В отношениях со многими государствами возникали ненужные осложнения из-за многократных переносов сроков

государственных визитов ввиду состояния здоровья Брежнева, причем ссылаться на эту причину обычно не разрешалось, придумывали всякие другие объяснения или просто отмалчивались.

Физическая и интеллектуальная деградация Брежнева становилась настолько явной, что в начале 1976 года я, зайдя по какому-то делу к его помощнику А. М. Александрову, спросил, не собирается ли Леонид Ильич уйти в отставку на предстоявшем через пару месяцев XXV съезде КПСС. Александров, не сказав ни слова, замахал руками, показывая на телефонные аппараты и давая понять, что о таких вещах не говорят вслух.

В связи с XXV съездом мне вспоминается и такой эпизод, свидетельствовавший, что при все нараставших проблемах со здоровьем, мешавших ему заниматься другими серьезными делами, Брежнев тем не менее продолжал в то время (1976 г.) цепко держать в своем уме и в своих руках внутрипартийные дела. Незадолго до съезда Громыко, Добрынин, кто-то из военных и я были у Брежнева – требовалось получить его одобрение по какой-то развязке на переговорах с американцами. Он дал свое согласие, не пытаясь вникнуть в суть вопроса. А потом вдруг оживился и стал спрашивать присутствовавших, от партийных организаций каких республик или областей они избраны делегатами на съезд (к тому времени партийные конференции прошли уже везде, кроме Москвы и Ленинграда). Когда его взгляд остановился на мне, он уже открыл рот, чтобы задать, видимо, тот же вопрос, но не задал, вспомнив, надо полагать, что я не числился в списках рекомендованных из центра делегатов. На этом разговор закончился. Когда же я вернулся в МИД, то узнал, что мне дважды звонили из Отдела парторганов ЦК – велено было срочно, в тот же вечер, ехать в Ленинград, где на следующий день состоится партконференция по выборам делегатов на съезд. Поехать в Ленинград я не смог из-за срочных дел, но делегатом избран был, а потом ленинградцы рассказывали мне, что получили указание из Москвы включить меня в число избираемых делегатов, когда их список был уже полностью «утрамбован», так что меня пришлось избирать сверх квоты.

Дело, конечно, было не только и не столько в трудностях, возникавших во внешнеполитической сфере в связи с недугами нашего лидера – здесь было кому подставить плечо. Неизмеримо большие трудности с каждым годом нарастали в нашей экономике, особенно когда стал сокращаться приток нефтедолларов. Все чаще возникало ощущение надвигавшейся катастрофы.

Поэтому, хотя грешно, наверное, говорить так, но я не думаю,

чтобы кто-то, кроме его близких, искренне горевал по поводу смерти Брежнева. Все надеялись, что с приходом Ю. В. Андропова к руководству партией и государством положение начнет меняться к лучшему. И кое-что в его действиях, хотя и не все, действительно позволяло думать, что он оправдает надежды людей. Но, к сожалению, многого сделать он не успел.

Памятное о Ю. В. Андропове

В связи с тем, что в предыдущих главах не раз упоминалось имя Андропова в контексте с конкретными, причем прискорбными событиями, хотелось бы поделиться некоторыми воспоминаниями о нем более общего плана. Воспоминания эти и мои суждения о Юрии Владимировиче относятся к периоду с 1965 года до конца его дней.

Когда он был секретарем ЦК КПСС – заведующим Отделом социалистических стран, мне, в то время заведующему Отделом США МИД СССР, приходилось участвовать в проводимых им рабочих совещаниях, чаще всего по вопросам, связанным с Вьетнамом и Кубой. Позже, когда он стал председателем КГБ СССР, мне еще чаще приходилось соприкасаться с ним как в ходе заседаний разного рода комиссий Политбюро (по стратегическим вооружениям, по Афганистану и т. п.), так и по текущим вопросам взаимодействия между МИДом и КГБ. При его самых хороших деловых отношениях с Андреем Андреевичем Громыко Юрий Владимирович подчас обговаривал тот или иной вопрос со мной, особенно когда я стал первым заместителем министра, иногда для того, чтобы «прозондировать» возможную позицию Громыко, а иногда нашим разговором дело и ограничивалось. Андропов имел обыкновение прислушиваться к мнению людей, предметно владеющих интересовавшей его проблемой. Были у меня эпизодические контакты с ним и в последние два года его жизни, когда он стал вначале вторым, а затем первым лицом в партии и государстве.

Тем не менее я не берусь писать его политический портрет – он был сложным человеком. Ограничусь отдельными штрихами. Прежде всего представляется важным отметить, что в отличие от большинства наших лидеров Андропову, на мой взгляд, не была присуща авторитарность, у него просматривалось стремление к коллегиальному руководству. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие мои воспоминания.

Хотя к моменту смерти Брежнева Андропов занимал второе место в партийной иерархии, как мне показалось, Юрий

Владимирович не считал само собой разумеющимся, что только он сможет стать новым Генсеком. Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление из телефонных разговоров с ним Громыко, при которых я присутствовал, в первые часы после кончины прежнего лидера. Андропов соглашался занять этот пост при условии, что таково будет общее мнение других членов руководства. После этого Громыко переговорил с Устиновым и Черненко, и было условлено, что именно Черненко выдвинет кандидатуру Андропова на заседании Политбюро.

Показательным было и то, что, став Генеральным секретарем, Андропов не хотел совмещать этот пост с постом Председателя Президиума Верховного Совета СССР, как это было в последние годы при Брежневе. Этот пост он предпочитал (мне это было известно от него самого) предоставить Громыко, тем более что последний того желал. Однако этому варианту воспротивились некоторые другие члены Политбюро, прежде всего Устинов. Позицию последнего, я думаю, можно объяснить тем, что в этом случае получалось бы так, что из прежней «могучей тройки» Андропов и Громыко пошли на повышение, а он, Устинов, оставался бы «при своих» – министром, что казалось ему несправедливым. В этой связи, по моим данным, возникал и такой вариант: одновременно с избранием Громыко Председателем Президиума Верховного Совета назначить Устинова Председателем Совета Министров вместо тогдашнего премьера Н. А. Тихонова. Однако Андропов не решился сразу пойти на столь решительные перемены, хотя в принципе он был невысокого мнения о Тихонове. Дело кончилось тем, что после полугодичной затяжки Андропов в конечном итоге дал согласие на избрание его Председателем Президиума Верховного Совета.

Взгляды Андропова на внешний мир сформировались в годы «холодной войны» и в целом были довольно ортодоксальными в идеологическом плане. И все же часто, хотя и не всегда, в его подходе к внешнеполитическим проблемам брал верх рациональный, прагматический подход.

Помнится, например, что при обсуждении во второй половине 60-х годов вопросов, касавшихся наших отношений с Вьетнамом и Кубой, Андропов, с одной стороны, всегда занимал четкую позицию в пользу политической и материальной поддержки Советским Союзом этих стран, но с другой – никогда не поддерживал предложений, реализация которых вела бы к слишком далеко идущим, рискованным для Советсокго государства последствиям. Так, он явно неодобрительно отнесся к высказывавшейся идее подключения Кубы к Варшавскому Договору. Ему импонировало, как помнится, соображение,

высказанное мною в образной форме о том, что Кубе не следует тянуться нам в объятия, поворачиваясь спиной к Западному полушарию, а наоборот, опираясь на нашу поддержку «со спины», оставаться повернутой лицом к США и Латинской Америке, чтобы ясно видеть и исходящие оттуда опасности для нее, и имеющиеся там возможности для нормализации отношений со своими соседями.

Помнится мне и то, что Андропов придерживался неизменно позитивной линии в том, что касалось ведения переговоров и достижения договоренностей с США по ограничениию стратегических вооружений (ОСВ-1, а затем ОСВ-2), а также по другим вопросам разоружения. Прекрасно зная положение дел в экономике, он не раз говаривал: «Вот если бы нам удалось сократить военные расходы хотя бы процентов на 10–15…» Между тем в руководстве, особенно поначалу, были ведь и те, кто не считал установку на серьезные переговоры с США бесспорно правильной, тем более в условиях продолжавшейся агрессии США во Вьетнаме.

О том, что при Андропове были потенциальные возможности, не подкоси его болезнь, для далеко идущих перемен в нашей внешней политике в целом, говорит, по-моему, и такой факт. Юрий Владимирович с готовностью согласился включить уже в свое первое большое выступление в качестве Генерального секретаря (на пленуме ЦК КПСС 22 ноября 1982 г.) ленинский тезис о том, что главное воздействие на мировое развитие Советский Союз может оказывать своей хозяйственной политикой, а не какими-то иными методами. Высказывания против «экспорта революции», подчеркивание того, что социализму предстоит доказать свои преимущества в условиях мирного соревнования с капитализмом, были повторно включены и в его речь на июньском (1983 г.) пленуме ЦК КПСС.

Вместе с тем, как уже говорилось ранее, Андропов был одним из главных виновников непростительной ошибки – ввода советских войск в Афганистан. Здесь ему, как и Громыко, изменил рациональный подход к принятию крупных решений.

В этой связи я могу отметить, что Андропову было присуще в принципе весьма положительное качество, которое, однако, в ряде случаев оборачивалось против него. Он обычно относился с полным доверием к своим подчиненным, во многом полагался на их суждения. И это, повторяю, я считал положительным его качеством. Но в случае с Афганистаном, как и в некоторых других, суждения тех, кому он доверял, сослужили ему – и не только ему – плохую службу.

Могу привести еще пример, как Андропов, пойдя на поводу у

своих подчиненных, терял чувство реального и в итоге оказывался в неловком положении. Когда в начале 70-х годов обострилась проблема выезда евреев из СССР в Израиль, кто-то надоумил его войти в ЦК с предложением установить, наряду с другими мерами по сдерживанию этого процесса, плату за выезд, дифференцированную в зависимости от возраста, образования, ученой степени и т. д. Мотивировалось это тем, что таким образом должны возмещаться расходы, понесенные государством на выезжающих. Помнится, в эти расходы включались даже существовавшие когда-то бесплатные посещения музеев, парков и т. п., а самая высокая ставка устанавливалась для докторов наук. У Громыко, как и у меня, эти предложения вызвали негативное отношение, но поскольку Андропов заупрямился, Громыко не стал особенно сопротивляться. Мои же попытки переубедить Юрия Владимировича тоже не увенчались успехом; на него не подействовал, в частности, такой аргумент: ведь предполагается, что докторская степень присваивается ученому, внесшему большой вклад в науку и тем самым уже принесшему пользу государству.

Решение было принято. Но вскоре после того как Андропов убедился, что оно не только не дало ожидаемого результата, но и обернулось внешнеполитическими потерями для страны, он с присущим ему прагматизмом согласился с предложенным МИДом компромиссом: указанное решение не было отменено, но его действие был «приостановлено» и больше не возобновлялось.

Мне был известен не один случай, когда подчиненные просто-таки обманывали Юрия Владимировича, пользуясь его доверием к ним. Однажды в адрес лично Громыко поступила шифровка из Вашингтона, в которой Добрынин сообщил, что, как сказал ему Киссинджер, в Вашингтон на днях собирается прилететь некто Виктор Л., которому якобы поручено установить с ним, Киссинджером, особый канал связи. Киссинджер с ехидцей поинтересовался у Добрынина, зачем Москве понадобился еще один особый канал, помимо уже существовавшего (Добрынин-Киссинджер).

Громыко, показав мне эту телеграмму, спросил, что я думаю по этому поводу. Объяснив ему, кто такой Виктор Л., я сказал, что не исключаю того, что кому-то в КГБ действительно захотелось «в порядке конкуренции» обзавестись своим каналом связи с Белым домом подобно тому, как они сделали это в некоторых других странах.

Громыко при мне позвонил Андропову и зачитал ему телеграмму Добрынина. Тот тут же подключил к разговору Крючкова, возглавлявшего тогда Первое главное управление,

который заявил, что ПГУ не причастно к каким-либо операциям с использованием Виктора Л. Когда я шепнул Громыко, что с ним работает не ПГУ, а Второе главное управление, он соответственно попросил Андропова проверить информацию там. Заместитель начальника ВГУ бодро заявил Андропову, что по их линии тоже ничего подобного не предпринималось, добавив, видимо, для большей убедительности, что у Виктора Л. сломана нога и он вообще никуда выезжать не может. И сразу же Андропову была подсказана (нам с Громыко было все это слышно), очевидно, заранее продуманная версия: Киссинджер, наверное, сам сочинил эту историю, возможно, для того, чтобы дать понять Москве, что его не совсем устраивает канал Добрынин – Киссинджер. На этом и закончился разговор Громыко с Андроповым.

Получив указание подготовить телеграмму Добрынину в духе услышанного от андроповских работников, я решил все же провести свое собственное «расследование». Позвонил начальнику Консульского управления и попросил проверить, не запрашивалась ли в последнее время американская виза для Виктора Л. Через три минуты он перезвонил мне и сказал, что некоторое время тому назад паспорт Л. был направлен в посольство США с просьбой о выдаче визы. Сделано это было по указанию его заместителя, представлявшего интересы КГБ. По его же указанию пару минут назад был сделан телефонный звонок в посольство с просьбой вернуть паспорт. Я, разумеется, доложил Громыко обо всем этом. Он помрачнел, но ничего не сказал и дал понять, что я могу быть свободен. Говорил ли он с Андроповым о результатах моего «расследования», я не знаю.

Вспоминается еще один эпизод, связанный с Андроповым, но совершенно другого рода. Как-то я приехал к нему в КГБ с материалом по Ирану и в этой связи зашел разговор об опубликованных в Тегеране захваченных исламистами в здании посольства США документах, в том числе материалах резидентуры ЦРУ. Среди этих материалов были и присланные из штаб-квартиры ЦРУ в Вашингтоне биографические справки на 135 «наиболее влиятельных» советских официальных лиц, в числе которых, к моему удивлению, обнаружился и я, хотя на момент составления справки (апрель 1977 г.) я не был еще даже первым заместителем министра. Справка, надо сказать, содержала вполне объективную характеристику моей личности – и деловых, и личных качеств, вплоть до таких мелочей, как отсутствие у меня склонности заниматься «светской болтовней на приемах, особенно с дамами». Но в части, касающейся моего послужного списка, приводилась официальная версия, которой я придерживался в то время в контактах с американцами, без

упоминания службы в органах госбезопасности.

Поделившись этим с Андроповым, я выразил удивление неосведомленностью ЦРУ о том, что я в свое время работал в органах и являюсь капитаном госбезопасности в запасе, о чем знали некоторые сотрудники КГБ, перебежавшие на сторону США. И вдруг я кожей почувствовал, что сказанное мною Андропова очень расстроило – оказалось, что он тоже не знал этой «детали» моей биографии. Сущий пустяк, но я понял, что ему был неприятен сам факт, что он, самый информированный человек в государстве, не знал чего-то о человеке, с которым имел дело в течение многих лет. Он сердито чертыхнулся: «А мои говнюки не удосужились сказать мне об этом».

Что касается взглядов Андропова на внутреннее развитие нашей страны, хотя судить о них у меня было меньше возможностей, думается, он не остановился бы на тех первоначальных шагах по реформированию экономики, которые он успел предпринять. При его прагматическом складе ума логика вела бы его к углублению реформ. Об общей направленности его мыслей можно было судить по тому, что он считал ошибочной введенную в оборот при Брежневе формулу «развитой социализм» применительно к нашему обществу. По крайней мере, дважды в моем присутствии он говорил примерно так: какой там к черту развитой социализм, нам еще до простого социализма пахать да пахать. Вместе с тем я глубоко убежден, что при Андропове самые далеко идущие перемены велись бы в рамках обновления социализма, его совершенствования, а никак ни демонтажа.

Андропов отнюдь не был, как кое-кто считал, «подпольным либералом». Он с большим скрипом шел, например, на договоренности по «третьей корзине» (гуманитарная область) в рамках хельсинского процесса. Во многом на его совести и ужесточение борьбы с «инакомысляшими». И тем не менее, как мне представляется, если бы он увидел, что экономическое реформирование требует демократизации политической жизни общества, взгляды Андропова эволюционировали бы и в этом отношении. При нем, однако, процесс демократизации проходил бы наверняка постепенно и упорядоченно, не становясь хаотическим с вытекающими отсюда тяжелейшими последствиями.

М. С. Горбачев на подступах к власти

После смерти Андропова в феврале 1984 года первым лицом

в Советском государстве стал К. У. Черненко, которому эта роль была явно не по плечу. Да и сам он, насколько я знал, не претендовал на нее. Скорее Черненко оказался удобной для «стариков» фигурой, чтобы не допустить на этот пост представителя более молодого поколения, в котором к тому времени уже выделялся М. С. Горбачев. Что касается внешней политики, то какой-либо своей линии у Черненко не было, и рассчитывать на серьезные прорывы в этой области при нем не приходилось. Но он ничем и не мешал здесь – это позволяло дипломатическому ведомству делать свое дело.

Я, как и многие другие, сожалел, что после смерти Андропова его место занял не Горбачев. Правда, когда я увидел, как «старики» демонстрировали свое нерасположение к нему даже в качестве второго лица в партии при Черненко (из-за чего при отсутствии последнего поначалу не проводились и заседания Политбюро, чтобы там не председательствовал Горбачев), мне стало ясно, что, если бы после смерти Андропова была предпринята серьезная попытка избрать на его место Горбачева, то, скорее всего, он мог бы оказаться вообще «выбитым из обоймы», без шансов на будущее. Понадобился еще год стагнации, чтобы всем, в том числе и «старикам», во всяком случае сохранившим, как Громыко, чувство реальности, стала ясна необходимость уступить место более молодому коллеге.

Я имел возможность близко наблюдать Горбачева на заседаниях Политбюро с момента его появления в Москве в 1978 году, вначале в качестве секретаря ЦК. Еще когда он официально занимался только вопросами сельского хозяйства, с его стороны проявлялся живой интерес и к другим вопросам внутренней политики. После того как вскоре он стал кандидатом в члены, а потом и членом Политбюро, круг его интересов еще больше расширился.

До 1984 года, когда он номинально стал вторым лицом в партийной иерархии, к вопросам внешней политики он проявлял «общеобразовательный» интерес, не вступая в их обсуждение на официальных заседаниях. А пару раз, когда он попробовал это сделать, Андропов останавливал его словами: «Ты, Миша, лучше послушай». Делал это Андропов, я думаю, затем, чтобы «влезание» Горбачева во внешнеполитические дела не сердило Громыко, который и без того не выказывал особой благосклонности к Горбачеву. В течение же 1984 года Горбачеву пришлось самым непосредственным образом подключаться к внешнеполитическим делам, особенно в отсутствие Черненко и Громыко. Участвуя вместе с ним в ряде мероприятий и обсуждений, я увидел, что у него проявлялась хватка и в этих

делах.

И когда после смерти Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Горбачев, у меня это вызвало неподдельное чувство удовлетворения. Правда, не будучи по натуре подхалимом, я не сразу поздравил его, сделав это недели через две, когда возникла необходимость позвонить ему по срочному делу. Сказанное им в ответ: «Значит, видимо, не очень рад моему избранию, если не позвонил раньше», несколько меня тогда удивило, показалось странным, что серьезный человек мог придавать этому какое-то значение. Но, во всяком случае, это не убавило во мне готовности служить общему, как казалось, делу на новом этапе.

Я был тогда всей душой за то, что впоследствии стало называться перестройкой. Кстати, на апрельском (1985 г.) пленуме ЦК КПСС, с которым потом стало ассоциироваться начало перестройки, в действительности термин перестройка употреблялся лишь в обычном контексте «перестройки хозяйственного механизма», причем наряду с подтверждением «генеральной линии на совершенствование общества развитого социализма». Термин перестройка в более широком смысле вошел в обиход позже.

Но дело не в терминах. К 1985 году мне, как и большинству моих товарищей, было совершенно ясно, что оставлять все, как было раньше, просто невозможно, давно назрела и перезрела необходимость менять в жизни нашего общества многое и серьезно, не ограничиваясь «косметическим ремонтом». Поэтому, когда в лице Горбачева появился политический лидер, бросивший вызов прошлому и призвавший к переменам, у меня не было никаких колебаний и раздумий относительно его поддержки.

Прозрение и разочарование

К великому сожалению, однако, довольно скоро стало появляться и чем дальше, тем больше нарастать чувство разочарования. Да, Горбачев выглядел более умным и даже неординарным политиком по сравнению со своим предшественником Черненко или «поздним» Брежневым. Но на самом деле он оказался фигурой совершенно не того калибра, который требовался, чтобы возглавить преобразование нашего общества, переход его из того состояния, в каком оно находилось к 1985 году, в действительно качественно новое состояние. Будь то кардинальное обновление и совершенствование социалистического строя, как первоначально сформулировал

цель перестройки Горбачев и как того хотело большинство тех, кто поддержал провозглашенную цель. Будь то конвергенция – симбиоз лучших положительных качеств социализма и капитализма. Будь то перевод нашей страны на путь капиталистического развития в современном его понимании, к чему все больше «дрейфовал» Горбачев под воздействием Запада и своих советчиков.

Оставляя в данный момент в стороне вопрос о преимуществах первого, второго или третьего из указанных вариантов (обновленный социализм, конвергенция или современный капитализм), совершенно ясно, что для осуществления любого варианта требовался, конечно же, лидер несоизмеримо более высоких интеллектуальных и организаторских способностей, чем Горбачев, показавшийся нам, повторяю, неординарной личностью лишь на фоне престарелых членов Политбюро и абсолютных посредственностей. Жизнь очень скоро выявила, что Горбачев пришел к власти, не имея за душой, кроме самого стремления к власти, ничего более весомого, чем банальное «так дальше жить нельзя», как считали и все простые смертные.

Ему была напрочь чужда высказанная Марксом мысль, которая в отличие от некоторых других его мыслей не устарела и никогда не устареет, поскольку подсказана здравым смыслом: всякий архитектор отличается от пчелы, создающей идеальной формы соты, тем, что создаваемое им сооружение должно сначала сформироваться у него в голове в виде четкого представления о желаемом, в виде мысленной модели. А ведь перестроить здание, тем более капитально, причем не выселяя из него жильцов, – отнюдь не менее легкая, а гораздо более трудная задача, чем построить новое на пустом месте. Конечно, не обязательно заранее решать, какой паркет или какого цвета обои будут в каждой комнате. Но неразумно, да и вообще невозможно начинать перестраивать дом, не определив, надо ли укреплять его фундамент, менять несущие конструкции и т. п. Все это во сто крат важнее, если речь идет о перестройке общества. Однако вместо здравой Марксовой мысли на вооружение был взят любимый девиз Наполеона: «Ввяжемся в драку, а там посмотрим». Я лично не раз слышал эту формулу из уст Горбачева, хотя ссылался он при этом не на Наполеона, а на Ленина, который в определенной ситуации тоже употребил ее.

Первым и драматическим по своим последствиям примером того, к чему приводил такой метод действий, стала пресловутая антиалкогольная кампания. Мне довелось присутствовать на первом обсуждении этого вопроса высшим руководством в апреле 1985 года и затем при принятии печально известного решения в

мае того же года. Помнится, меня тогда уже удивило, с какой легкостью, одной хлесткой фразой «хватит спаивать народ» отметались все попытки предостеречь от принятия поспешного, без тщательной и всесторонней проработки решения по такому непростому вопросу. Вспоминается в этой связи и то, как спустя три месяца после начала антиалкогольной кампании во время визита в Москву президента Сирии Асада Горбачев добрых полчаса с воодушевлением рассказывал ему о поступающих в центр сообщениях с мест о блестящих результатах этой кампании: сокращении преступности, повышении производственных показателей и т. д. Как будто ему, еще в недавнем прошлом секретарю крайкома партии, не была известна цена таким «рапортичкам».

Дело, конечно, не столько в самой по себе антиалкогольной кампании, не по-разумному начатой и бесславно закончившейся, сколько в том, что она не послужила горьким уроком, предостерегающим от других непродуманных действий. Вместо этого она стала скорее своего рода эталоном, по которому конструировались и многие другие перестроечные начинания. Декларировалась очередная благая цель, но движение начиналось без сколько-нибудь серьезной проработки маршрута и средств достижения цели, все делалось методом проб и ошибок, бесконечных импровизаций.

Именно такой же хаотичный характер носило наше движение к рынку и частной собственности. Достаточно напомнить, что в июле 1989 года, спустя четыре года после начала перестройки, когда уже были приняты законы, допускавшие частную собственность на средства производства, Горбачев в выступлении перед ижорцами бодро заявлял: «Но я против частной собственности. Для меня это неприемлемо. В общем, я против частной собственности». В том же 1989 году Горбачев в беседе с болгарским лидером Живковым признавался: «Было бы самонадеянным сказать, что у нас есть завершенная концепция для всех направлений развития общества. Над этим придется еще немало поработать». А вот запись в дневнике помощника Горбачева Черняева все за тот же 1989 год: «Концепции – куда идти – нет». И это, подчеркиваю, через четыре года после начала перестройки!

Но если главный инициатор перестройки не имел и, более того, отрицал необходимость иметь продуманную модель будущего общества, то нашлись другие, в том числе рядом с ним, которые разработали свою собственную модель. Действуя по методу генной инженерии, они встраивали в код перестройки чуждые идеалам социализма гены – подчеркиваю, чуждые

идеалам социализма, а не тому социализму, который был у нас и в котором действительно надо было многое менять. Такое манипулирование с кодом перестройки вполне отвечало интересам тех – и внутри страны, и вне ее, – кто изначально замышлял не обновление социализма в СССР, что было объявлено официальной целью перестройки, а его полный демонтаж с возвратом страны на капиталистический путь развития.

Главным из таких «генных инженеров» был, несомненно, А. Н. Яковлев, и по сей день остающийся в глазах многих истинным «отцом перестройки» и даже «дедушкой русской демократии». За десятилетия работы на внешнеполитическом поприще мне приходилось немало полемизировать с разными деятелями – нашими оппонентами как по международным проблемам, так и по идеологическим. Но полемизировать с Яковлевым я всегда считал ниже своего достоинства. Поэтому приведу лишь пару фактов, характеризующих его как личность. В 1986 году, когда Яковлев вовсю разглагольствовал о «новом мышлении» во внешней политике, о партнерстве с Западом и т. п., в продаже появилась его книга «От Трумэна до Рейгана». В ней не только не пахло «новым мышлением», но даже по замшелым агитпроповским стандартам это была настоящая «клюква». От начала до конца сплошная ругань по адресу «правящих кругов США, сделавших ставку на достижение мирового господства через ракетно-ядерную войну»(?!). Через год, в 1987-м, под редакцией Яковлева появилась книга «Капитализм на исходе столетия», в которой прославлялся социализм, «демонстрирующий реальную альтернативу буржуазной цивилизации», и предрекалось «неизбежное падение капиталистического строя». А заодно клеймились «организованные империализмом контрреволюционные выступления в Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.)».

Писались эти «научные» опусы (ко времени издания второй книги Яковлев уже именовался членом-корреспондентом Академии наук), наверное, еще до его «перевоплощения», но можно ли считать интеллектуально и морально порядочным человека, который сдает в печать первую книгу в конце 1985-го, а вторую – в конце 1986 года, то есть уже после того, как он присягнул на верность новому богу? И как это укладывается в понятие «деревенской совестливости», которой Яковлев имел обыкновение хвалиться?

Второй факт. В начале 1986 года, когда Яковлев был еще только заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС, я стал свидетелем того, как он «собачился» с управляющим делами ЦК Н. Е. Кручиной по поводу того, что тот установил для

ответственных работников аппарата, за которыми были закреплены персональные автомашины, определенные лимиты на бензин. Яковлев был разгневан тем, что с автобазы ему сообщили о большом перерасходе бензина его водителями. Когда я потом поинтересовался у своего водителя (в то время я работал первым заместителем заведующего Международным отделом ЦК), не перерасходуем ли мы положенный нам бензин, тот ответил: «Мы с вами не используем и 1/3 выделенного лимита». Поскольку же для заведующих отделами выделялся значительно больший лимит, а характер работы Яковлева в ту пору не был связан с частыми поездками по городу (он большую часть времени вертелся около Горбачева), то становилось ясным, что перерасход бензина объяснялся отнюдь не служебными поездками.

Обожатели Яковлева скажут, конечно, что приведенные мною факты – это мелочи. Они будут правы, на его душе много гораздо больших грехов. Но и это такие **мелочи**, в которых отражается, как в капле воды небо, истинный моральный облик человека.

Одной из коренных и крайне пагубных, на мой взгляд, ошибок тогдашнего нашего руководителя было то, что, не определившись осмысленно и до конца с выбором новых экономических и политических структур управления, он начал разрушать своими руками прежние структуры. А для облегчения этого процесса Горбачев и его помощники встали на путь дискредитации государственного аппарата, а затем и партийного. Между тем партия и ее аппарат при всей ненормальности такого положения обладали реальной властью, и хотя освобождать их от властных функций, конечно, надо было, но лишь по мере создания новых структур власти, без которых не может нормально функционировать ни одно современное общество.

Как тут было не вспомнить предостережение Ленина: «Если перед вами выходят и говорят – «покончим с бюрократизмом», то это есть демагогия. Это чепуха. С бюрократизмом мы будем бороться долгие годы, и кто думает иначе, тот шарлатанствует и демагогствует, потому что для того, чтобы побороть бюрократизм, нужны сотни мер». Вместо же планомерной, хорошо продуманной реформы государственного аппарата с изменением, где это требовалось, его управленческих функций началось повальное охаивание и разрушение госаппарата как такового.

С личным участием высшего руководителя велось наступление на «18-миллионную армию управленцев». И вот уже со сцены театра «Современник» в зал бросается клич: «Вот бы закопать в землю этих 18 миллионов дармоедов» (спектакль «Смиренное кладбище»). И зал рукоплещет – зрителям ведь невдомек, что в число «дармоедов» включили и немалую часть их

самих или их близких. Им никто не сказал, что в названную цифру (18 млн чел.), помимо 2 миллионов человек, действительно являвшихся работниками органов государственного управления, были зачислены и заводские мастера, и прорабы на стройках, и директора школ, и главные врачи больниц и поликлиник, и заведующие детскими садиками, и машинистки и т. д. Метавшие стрелы в этих «управленцев», не удосужились даже заглянуть в справочники и уяснить, что при таком счете управленцев их число, скажем, в США – которые являлись для них образцом эффективности – оказывалось в два раза большим, чем в СССР. Да и «чистых» управленцев там насчитывалось не меньше нашего. Я уж не говорю о том, насколько увеличилось количество чиновников в нынешней якобы рыночной России.

Дезорганизации существовавшей системы управления, в том числе в экономической сфере, во многом способствовал также брошенный с высоких трибун лозунг «Разрешено все, что не запрещено законом». И это в условиях неразработанности нового законодательства, при общем низком правосознании в обществе, в котором отношение к закону традиционно определялось формулой «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». Нельзя было не удивляться непониманию неизбежных последствий теми, кто, бросая такой лозунг, фактически благословлял вседозволенность. А когда кто-то напоминал, что у людей испокон веков всегда были и должны быть не только права, но и обязанности, в ответ слышалось: «Говорить нынче о том, что есть, конечно, права, но есть и обязанности, – значить вносить в ясный вопрос неразбериху. Главное для раскрепощения человека – это защита его прав». К чему привело такое «раскрепощение человека» за последние 15 лет, общество испытывает на себе и сегодня. Не зря, видно, в Древних Афинах говорили: «Человек не имеет права пользоваться свободой, пока не научится владеть разумом».

Не менее пагубным для общества, во многом предопределившим его скатывание к хаосу, явился избранный «перестройщиками» путь демократизации общества. Будучи сама по себе не просто отрадным, но и давно выстраданным явлением, демократизация, к сожалению, тоже была начата и велась без продуманной рабочей концепции. И это в обществе, которое практически никогда не знало демократических форм правления. В этом отношении наше общество было в чем-то подобно человеку, который в силу сложившихся обстоятельств длительное время голодал, был совсем без пищи. Ведь ему нельзя сразу давать наедаться до отвала – он может погибнуть. Так и

общественный организм, не знавший демократии и гласности, получив их в сверхдозах, рискует тем же. И здесь приходилось удивляться непониманию нашим лидером этой истины и тому, что он отдал эту ответственнейшую сферу на откуп людям, прекрасно все понимавшим и сознательно решившим воспользоваться доверием лидера в своих деструктивных целях.

Кое-что о личных качествах Горбачева

Прежде всего о том, насколько верны представления о Горбачеве – культивируемые и им самим, и его благожелателями – как о человеке, который чуть ли не с пеленок был антисталинистом и врожденным приверженцем демократии, который осчастливил нас в 1989 году первыми альтернативными выборами и т. п. Я приведу пару фактов, из которых читатели смогут сами сделать выводы на этот счет.

Вот выдержка из интервью Горбачева газете «Юманите», органу Французской компартии, от 4 февраля 1986 года:

«Вопрос. В различных кругах на Западе часто задается вопрос: преодолены ли в Советском Союзе остатки сталинизма?

Ответ. «Сталинизм – понятие, придуманное на Западе противниками коммунистов, и широко используется для того, чтобы очернить Советский Союз и социализм в целом».

И это говорилось Горбачевым через 30 лет после XX съезда КПСС, где был предан анафеме культ Сталина и вскрыто нутро сталинизма, через год после того, как он сам стал Генсеком и имел возможность, заглянув в потаенные архивы, пополнить свои знания о сталинизме. Приведенный пример я бы не стал расценивать, как означающий, что Горбачев сам был сталинистом. Скорее он показывает, с какой кашей в голове Горбачев свалился на наши головы.

Второй факт касается тех самых альтернативных выборов на I съезд народных депутатов в 1989 году. Это был действительно крупный шаг по пути демократизации советского общества. Но вряд ли стоит забывать, что руководство КПСС вынуждено было пойти на этот шаг под давлением бурливших в обществе процессов – это вовсе не было «подарком» со стороны Горбачева. А главное – те выборы были альтернативными применительно к другим, но никак не к самому Горбачеву. Я имею в виду даже не то, что половина депутатов вообще выбиралась не всем населением, а общественными организациями, которым были выделены соответствующие квоты – это, думается, было допустимо в качестве переходного шага. Но ведь в отличие от

всех других общественных организаций – профсоюзов, комсомола, ученых и т. д., – где в списки для голосования включалось большее количество кандидатов, чем подлежало избранию, членам пленума ЦК КПСС не было предоставлено никакой альтернативы. Им зачитали список из ста фамилий, что соответствовало выделенной для КПСС квоте, и было предложено приступить к голосованию. На недоуменный вопрос академика А. А. Логунова, тогдашнего ректора МГУ, по этому поводу со ссылкой на то, что в Академии наук и в других организациях выборы проходили на альтернативной основе, Горбачев раздраженно бросил: «Что же мы будем заниматься здесь детскими играми? Политбюро рассмотрело и одобрило предлагаемый список – вы что, не доверяете Политбюро?» Вот и весь сказ, такое понимание демократии. Никакого обсуждения внесенных в список кандидатур тоже не последовало, было предложено получать бюллетени и голосовать.

Подобная безальтернативность выборов «красной сотни», как она стала именоваться в прессе, была вполне объяснима. Если бы в список было включено не 100, а скажем, 110–115 кандидатур, был бы слишком велик риск того, что в число 10–15 «отсеченных» кандидатур попали бы прежде всего некоторые члены Политбюро, в том числе, возможно, и сам Горбачев. Ведь результаты тайного голосования показали, что против кандидатуры Горбачева проголосовало 12 человек (одним из них был я), а против ряда других членов Политбюро было подано по нескольку десятков голосов.

Есть что вспомнить и насчет «скромности» Горбачева. Как-то еще в 1985 году в Женеве, когда там проходила встреча с Рейганом, за домашним завтраком, где присутствовали Горбачев с супругой и сопровождавшие лица, Г. А. Арбатов спросил: «Вы знаете, Михаил Сергеевич, что общего находят люди между Лениным и вами?» И сам ответил: «Оба – юристы, оба – лысые и оба – прогнали Романовых» (имелось в виду, что вскоре после прихода Горбачева к власти из состава Политбюро был выведен Г. В. Романов). Прежде чем Горбачев успел среагировать на эту байку, раздался обиженный голос его супруги: «А **мы** думали, что общими чертами являются глубина мысли, революционность действий…» Раиса Максимовна называла еще какие-то ленинские черты, а Михаил Сергеевич, довольно улыбаясь, не перечил сравнению его с Лениным. Это были только цветочки, но и ягодки не заставили себя ждать очень долго.

В июле 1989 года, выступая во Франции, в Сорбонне, Горбачев сопоставил затеянную им перестройку с Французской буржуазной революцией 1789 года и Октябрьской

социалистической революцией 1917 года. А поскольку, по его словам, таким «крупнейшим социально-политическим переворотам всегда предшествуют революции философские», то Горбачев без лишней скромности недвусмысленно поставил себя в один ряд с такими мыслителями, как Маркс, Энгельс и Ленин, совершившими философскую революцию, ставшую предверием Октябрьсокой социалистической революции в России, а заодно и в один ряд с Вольтером и Монтескье, Дидро и Гольбахом, Мобли и Руссо, философским идеям которых во многом обязана Французская революции. Вот только суть якобы совершенной им новой философской революции Горбачев при всей своей велеричивости смог выразить всего в десяти словах: «Мы вступили в эпоху, когда любой прогресс должен вписываться в общечеловеческие интересы».

Ему было невдомек, – и помощники не просветили его, – что о приоритетности общечеловеческих интересов давным-давно было сказано перечисленными им же мыслителями прошлого. Чтобы не забираться слишком далеко в глубь веков, достаточно напомнить, что Маркс и Энгельс, создавшие Коммунистический Интернационал и выдвинувшие лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», вместе с тем писали, что «общечеловеческие интересы выше национальных и выше классовых». Более того, Маркс считал необходимым «добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами». Вслед за ними Ленин тоже говорил: «С точки зрения основных идей марксизма, интересы общественного развития выше интересов пролетариата».

Я вообще не раз убеждался в том, что Горбачев плохо знал труды классиков марксизма-ленинизма, хотя любил употреблять подобранные помощниками цитаты из них. Так, например, при обсуждении на заседании Политбюро проекта доклада Горбачева по случаю 70-й годовщины Октябрьской революции выяснилось, что с подачи Яковлева, готовившего международный раздел доклада, он был убежден, будто к мысли о возможности мирного сосуществования социалистических и капиталистических государств Ленин пришел только в конце 1921 года «в результате победоносного окончания гражданской войны и перехода к новой экономической политике». Горбачев, оказалось, не ведал, что еще в 1915 году в статье «О лозунге Соединенных Штатов Европы» Ленин сделал вывод о возможности «победы социализма первоначально в нескольких или даже в одной отдельно взятой, капиталистической стране», а следовательно, и о том, что ей

придется «мирно сожительствовать» с другими капиталистическими странами. Не знал он и крылатой фразы Ленина, которую тот использовал в начале 1918 года в полемике с противниками заключения Брестского мира: «Социалистическая республика среди империалистических держав не могла бы, с точки зрения подобных взглядов, заключать никаких экономических договоров, не могла бы существовать, не улетая на Луну». Когда я напомнил об этом, Горбачев обратившись к Яковлеву, спросил, говорил ли Ленин такое в 1918 году. Яковлев, зыркнув на меня злыми глазами, пробормотал: «Да, что-то подобное, кажется, говорил».

Так что, повторяя в Сорбонне «зады» марксизма-ленинизма, Горбачеву негоже было рядиться в тогу новоявленного философа-революционера. Но чего не сделаешь, если так хочется «въехать в историю на этаком белом коне», как признался Горбачев в беседе с деятелями польской культуры и науки в июле 1988 года.

Крайне негативное значение для дела имела еще одна быстро обнаружившаяся у Горбачева черта – его эгоцентризм, не позволивший ему сплотить вокруг себя настоящих сподвижников – именно **сподвижников**, а не демагогов типа Яковлева или хамелеонов типа Шеварднадзе. А без помощи конструктивно мыслящих и обладающих организаторскими способностями сподвижников, тем более при отсутствии у него самого созидательных талантов, невозможно было и рассчитывать на то, что из затеянной им перестройки получится что-нибудь путное, а не то, что получилось.

Ярким примером того, к чему приводил эгоцентризм Горбачева применительно даже к, казалось бы, ближайшим его соратникам, могут служить обстоятельства, повлекшие за собой отставку Шеварднадзе с поста министра иностранных дел в декабре 1990 года. Вокруг этой отставки было тогда много шума и тумана, чему способствовало весьма сумбурное выступление самого Шеварднадзе. Известные мне истинные причины произошедшего таковы. По мере нарастания трудностей внутри страны и падения в этой связи популярности Горбачева он еще какое-то время пытался «компенсировать» это своей популярностью на Западе. Но постепенно и там на переднем плане все чаще стал оказываться не он, а Шеварднадзе, чья популярность за рубежом продолжала расти. Горбачев получал все больше шишек дома, а Шеварднадзе тем временем купался в лучах славы на международной арене.

И тут в Горбачеве взыграла «ревность». Помню, как еще в начале 1988 года, когда дело шло к подписанию женевских соглашений по Афганистану, позволявших начать, наконец, вывод

советских войск из этой страны, Горбачев позвонил Добрынину (в то время секретарю ЦК по международным делам) и прямо сказал: «Придумайте с Корниенко что-то, чтобы я вклинился на завершающем этапе переговоров по Афганистану. Почему это все заслуги должны доставаться Шеварднадзе?» Я в этот момент находился в кабинете Добрынина, и, поскольку разговор происходил по «матюгальнику» (так на чиновничьем жаргоне назывались аппараты прямой связи начальника со своими подчиненными), мне был слышен голос Горбачева. Пришлось «что-то придумывать» – было решено устроить его встречу с Наджибуллой в Ташкенте, как бы для устранения каких-то последних препятствий на пути подписания Женевских соглашений. Реальной же необходимости в такой встрече не было.

Подобные «операции» проводились и в дальнейшем. Но к концу 1990 года «ревность» Горбачева достигла такой степени, что у него созрела мысль решить проблему Шеварднадзе более радикально: «повысить» его, передвинув на вновь учреждаемый пост вице-президента, а на МИД «посадить» грамотного профессионала, который не соперничал бы с ним в качестве творца внешней политики. При этом Горбачев не соизволил даже заранее заручиться согласием Шеварднадзе на такое «повышение». (О значимости в глазах Горбачева поста вице-президента, которым он хотел осчастливить Шеварднадзе, догадаться нетрудно – когда кандидатура Шеварднадзе отпала, на этот пост он взял Янаева, совершенно бесцветную личность.) Шеварднадзе, прознавший от своих доброжелателей о намерении Горбачева выдвинуть его кандидатуру прямо на заседании проходившего в те дни Съезда народных депутатов, не пожелал попадаться в ловушку. Он понимал, что прилюдно отказываться от такой «чести» ему будет непросто, поэтому решил опередить Горбачева, выступив с заявлением об отставке. Все это не мои домыслы и не только сведения, почерпнутые мной из собственных источников. В своем выступлении на съезде сразу после заявления Шеварднадзе об отставке Горбачев, видимо, от растерянности проговорился: «А я вот хотел предложить его на пост вице-президента». А то, что он не заручился заранее согласием Шеварднадзе пойти на «повышение», последний подтвердил в интервью «Литературной газете» в апреле 1991 года. В ответ на соответствующий вопрос Шеварднадзе сказал, что Горбачев однажды лишь «мимоходом» упомянул о такой идее и что «какого-либо желания менять место работы с моей стороны выражено не было».

Эгоцентризм Горбачева проявлялся не только в том, что он не

желал иметь людей, пусть даже согласных с ним в главном, но не во всем, рядом с собой, в высшем эшелоне, но и в подборе кадров вообще. Главным критерием для Горбачева были не компетентность и преданность общему делу, а послушание и преданность лично ему (хотя нередко это была преданность до первого крутого поворота).

Его верный помощник Черняев считает эгоцентризм Горбачева признаком его «целеустремленности» (?). Более того, Черняев ставит в заслугу ему то, что «он **один** (выделено Черняевым. – *Г. К.*) сдвинул глыбу», под коей имеется в виду советское общество того времени. Но ведь не требуется большого ума и даже большой силы, чтобы, забравшись на вершину горы, сдвинуть лежащий там камень, который вызовет неуправляемый всесокрушающий камнепад, последствия которого мы имеем сегодня.

Черняев и сам признает, что «Горбачев эту глыбу не удержал в «нужном» темпе. Да это было и невозможно». Однако его, как ни странно, такой оборот дела не смущает. Ему представляется более важным то, что имя Горбачева «уже вписано на скрижали истории». Что ж, насчет скрижалей истории можно не спорить, имея в виду, что там есть имена не только великих созидателей, но и великих разрушителей. Если в анналах истории сохранилось имя Герострата, который почти две с половиной тысячи лет тому назад сжег, чтобы обессмертить себя, всего один храм, правда, считавшийся одним из семи чудес света, то почему бы в них не остаться и имени Горбачева, разрушившего одно из величайших государств мира. А то, что главная «заслуга» в разрушении советской державы принадлежит именно ему, на мой взгляд, не подлежит сомнению.

Печальный итог

В перестройке, с кондачка начатой и бездумно проводившейся, не было соблюдено обязательное условие, необходимое для успешного переустройства общества, революционным ли, эволюционным ли путем, а именно: не получилось оптимального сочетания двух непременно действующих в таких случаях начал – ниспровергающего и созидающего. Первое оказалось несоизмеримо сильнее второго. Это, кроме прочего, явилось следствием полного игнорирования главным «перестройщиком» и второго обязательного условия для успеха всякого дела: понимания важности не только того, **что** ты намерен делать, но и того, **как** это надо делать. Иронизируя по

поводу любимой присказки Горбачева «процесс пошел», один американский деятель метко сказал: «Если вы не знаете, что это такое, называйте это системой. Если вы не знаете, как это работает, называйте процессом».

Попытки же Горбачева и его приверженцев свалить всю вину за развал Советского Союза и крушение существовавшего в нем строя на тех, кто в августе 1991 года попытался остановить «камнепад» – катастрофическое развитие событий в стране, – не выдерживает соприкосновения с фактами. Да, «августовский путч» – это была авантюра, не только заранее обреченная на неудачу, но и с вполне предсказуемыми крайне отрицательными последствиями, прямо противоположными тому, к чему стремились организаторы путча. Таким было мое отношение к их затее с самого начала, хотя сомнений в их благих намерениях у меня не было.

Кстати, остается много неясного относительно роли самого Горбачева в августовских событиях. Достаточно вспомнить, как Горбачев сразу после возвращения из Фороса, отбиваясь от вопросов журналистов в аэропорту насчет обстоятельств его «заточения», в горячке бросил фразу: «Всей правды я все равно никогда не скажу». Остался без ответа, в частности, вопрос, почему он не воспользовался средствами связи, которые, оказывается, в Форосе все же оставались. Весьма путаными, а то и нелепыми были и байки, рассказывавшиеся другими его «сокамерниками». Например, супруга его, рассказывая о записи в Форосе на видеопленку «разоблачительного» заявления Горбачева, закончила это повествование словами о том, что их зять, делавший эту запись, «пошел в ванную комнату проявлять пленку». «Проявлять» видеопленку – это новое слово в видеотехнике. Несуразицами изобиловало и выступление по телевидению помощника Горбачева Черняева вместе со стенографисткой, которая тоже находилась в Форосе и в трусики которой, по словам Черняева, собирались спрятать ту самую «проявленную» пленку.

Но главное заключалось в том, что разрушительный «дрейф» Горбачева от социализма к капитализму был виден невооруженным глазом еще до августа 1991 года, чем, собственно, и был вызван путч. Этот «дрейф» зримо прослеживается и по ныне опубликованным записям его верных помощников и советчиков. «Лебединой песней», прощанием с его марксистско-ленинскими взглядами Черняев назвал «нобелевскую лекцию» Горбачева, которая состоялась 11 июня 1991 года, то есть опять-таки еще до августовских событий. А то, что публично Горбачев продолжал еще лепетать что-то про

«социалистический выбор», «социалистическую идею» и т. п., Черняев объясняет чисто тактическими соображениями, хотя в политическом лексиконе есть более подходящее и выразительное определение для такого поведения.

Окончательный крест на Советском Союзе, а заодно на самом Горбачеве, как и на социалистическом пути развития страны, был поставлен Б. Н. Ельциным в Беловежской Пуще в декабре 1991 года. Но это, фигурально выражаясь, был последний гвоздь в крышку гроба, в котором уже находился покойник, уложенный туда Горбачевым.

Было бы, конечно, несерьезно – да и слишком большой, хотя и сомнительной честью для Горбачева – говорить, что он один (как восторженно писал Черняев) смог сотворить с нами все то, что происходит в последние 15 лет. Были и определенные объективные предпосылки для случившегося. Свою долю вины, помимо прямых подельников Горбачева, несут и те, кто был рядом с ним и кто довольно скоро распознал сокрытый в нем разрушительный потенциал, но не сумел вовремя совершенно законным путем нейтрализовать его. Повинны и многие из нас, пошедших как стадо баранов за вожаком, которому взбрендилось, не зная броду, завести нас в ледяную воду. Но все же главную роль в пережитой нами трагедии – ту самую роль Герострата – сыграл Горбачев.

Последствия ее страна переживает уже второе десятилетие. Мы получили не обновленный социализм, не конвергенцию и не цивилизованный капитализм, а то, что принято называть «диким» или «бандитским» капитализмом. В этой связи мне часто вспоминается разговор в 1992 году с замечательным американцем Томасом Уотсоном. Во время Второй мировой войны он служил в ВВС США, в том числе перегонял самолеты для нашей армии из США через Аляску, Чукотку и Сибирь на прифронтовые аэродромы. С тех пор он по-доброму относился к нашей стране. После войны он занялся бизнесом и со временем возглавил знаменитую IBM (Интернэшнл бизнесс машин), ставшую пионером в компьютерной индустрии. В свое время журнал «Форчун» назвал его самым преуспевающим капиталистом Америки. А в 1978–1979 годах, в период президентства Картера, Уотсон был послом США в Советском Союзе – с тех пор у меня с ним установились дружественные отношения, и периодически мы виделись и в последующие годы.

Так вот, в том разговоре в 1992 году Уотсон, продолжавший следить за событиями в нашей стране, с горечью сказал мне: «Вы преуспели в дискредитации социализма, хотя в современных капиталистических странах, включая США, начиная с 30-х годов

под воздействием Советского Союза появилось немало нововведений социалистического толка. Теперь я боюсь, что вы с не меньшим успехом дискредитируете капитализм». Эти его опасения оправдались с лихвой.

Можно до хрипоты спорить о том, что важнее для человека: свобода слова или дешевая колбаса, о том, приятнее ли человеку умирать от физического и психического истощения, если при этом ему не возбраняется во весь голос проклинать тех, по чьей вине он расстается с жизнью. И каждый из спорящих в чем-то может быть прав. Но есть интегральный вопрос, ответ на который, по-моему, позволяет объективно оценить последний 15-летний период нашей жизни – жизни в целом, не разделяя ее на части (свобода слова, преступность, Чечня, колбаса и т. д.).

И вот если на вопрос «Улучшилась ли ваша жизнь с 1985 года или ухудшилась?» в конце 2000 года 87 процентов людей отвечало «ухудшилась», то, очевидно, не остается ничего другого, как признать, что сбылось предсказание русского прорицателя Немчины, жившего в XIV веке, о том, что последние 15 лет XX века будут самыми трагическими в истории России. А вот сбудется ли его предсказание, что придет некий «великий гончар» и что Россия при нем вновь возродится, судить будут наши внуки.

Глава 13. ЧТО ТАКОЕ «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»?

Рациональное зерно провозглашенного первоначально Горбачевым «нового мышления» в международных делах, если его очистить от словесной шелухи, фактически заключалось в возвращении к тем постулатам и принципам международных отношений, которые были заложены в Уставе Организации Объединенных Наций при ее создании, но оказались, к сожалению, нереализованными из-за начавшейся вскоре «холодной войны». Попросту говоря, в данном случае подтвердилась истина, гласящая, что все новое – это хорошо забытое старое. Тот факт, что истинно новое мышление в международных делах родилось вовсе не в 1985 году, а на 40 лет раньше, в свое время признал и такой сподвижник Горбачева, как Шеварднадзе. «Уже в самом факте создания ООН, – резонно заявил он в 1987 году, – был заключен зародыш нового политического мышления. Уже тогда его принципы вылились в статьи Устава ООН, безусловно одного из величайших нормативных актов всех времен и народов… По существу, все послевоенные десятилетия есть не что иное, как история борьбы косных политических воззрений с народившимся в муках войны новым политическим мышлением».

Главное, конечно, не в авторстве «нового мышления» и не в том, когда оно родилось, а в том, с каким внешнеполитическим итогом мы пришли к смене вех в 1985 году и что произошло дальше.

Что было сделано до 1985 года

Самым важным позитивом предшествовавшего периода было, безусловно, то, что удалось избежать новой большой войны и что «холодная война» медленно, с перебоями, зигзагообразно, но все же шла к свертыванию. Как свидетельствуют факты, первые проблески понимания опасностей, сопряженных с «холодной войной», и желания повернуть развитие событий в обратную сторону появились давно, еще тогда, когда она только набирала силу.

На советской стороне Сталин в 1951 году вспомнил о

ленинском принципе мирного сосуществования государств с разным социальным строем. Он заявил во всеуслышание (в интервью американскому журналисту Кингсбери Смиту) о готовности строить отношения СССР с Западом на основе этого принципа. Одним из практических проявлений этой готовности при Сталине был созыв в 1952 году в Москве Международного экономического совещания.

На американской стороне признаки понимания пагубности «холодной войны» наблюдались уже у Эйзенхауэра. Даже такой рыцарь «холодной войны», как Джон Фостер Даллес, к концу своих дней стал осознавать реальную опасность ее перерастания в настоящую в случае продолжения бесконтрольной гонки вооружений.

Существенно возросло это понимание на обеих сторонах после берлинского кризиса 1961 года и особенно в результате карибского кризиса 1962 года. За этим последовали и некоторые практические шаги по притормаживанию гонки вооружений. Однако они не приобрели необходимой последовательности и масштабности.

В ту пору, пожалуй, не было еще соответствующих объективных условий для того, чтобы возникшее на интеллектуальном уровне общее понимание опасностей, которыми была чревата «холодная война», материализовалось в готовности обеих сторон искать практические пути к ее прекращению на основе равенства. Слишком большой была тогда разница в мощи Соединенных Штатов и Советского Союза. Отсюда – готовность США искать только такой модус вивенди в отношениях с СССР, при котором у США сохранялся бы многократный перевес сил. А это, естественно, не могло быть приемлемым для Советского Союза.

Качественно новая в этом отношении ситуация, более многообещающая, начала складываться к концу 60-х годов, когда стал вырисовываться примерный ядерный паритет между США и СССР. Поскольку складывавшийся паритет сил делал возможность перерастания «холодной войны» в ядерную в одинаковой степени опасной для обеих сторон, возникала их одинаковая заинтересованность в исключении такой возможности и, соответственно, в поисках практических путей свертывания «холодной войны» на взаимоприемлемой основе.

Иными словами, то, что раньше считалось теоретически предпочтительным, теперь становилось настоятельной необходимостью для обеих сторон. Отсюда и важные практические результаты совместных усилий СССР и США в начале 70-х годов: принятие своего рода кодекса мирного

сосуществования в виде «Основ взаимоотношений между СССР и США», заключение бессрочного договора о взаимном отказе СССР и США от создания национальных систем противоракетной обороны и первого соглашения о некоторых шагах по ограничению стратегических наступательных вооружений.

По моему глубокому убеждению, **именно это был переломный момент**, когда открылась реальная возможность для постепенно прекращения «холодной войны» и перестройки международных отношений на иных началах. В силу ряда причин начавшийся тогда процесс свертывания «холодной войны» был неровным, прерывистым, с нередкими новыми ее вспышками и обострениями (Ангола, Эфиопия, Афганистан, южнокорейский самолет – это лишь некоторые наиболее яркие эпизоды). Но поскольку фундаментальный фактор, породивший в начале 70-х годов необходимость прекращения «холодной войны», сохранял свою силу, то процесс ее свертывания в целом продолжался, хотя и с перебоями.

Даже Рейган, пришедший к власти в 1980 году под лозунгом бескомпромиссной борьбы с Советским Союзом как с «империей зла», уже к концу своего первого президентского срока в 1984 году осознал объективную необходимость поиска компромиссов в отношениях с Советским Союзом. Соответственно были предприняты шаги к возобновлению прерванных в предыдущем году переговоров по вопросам ограничения вооружений и разоружения. И небезуспешно. В конце ноября 1984 года Москва и Вашингтон согласились вступить в новые переговоры для достижения взаимоприемлемых договоренностей по всему комплексу вопросов, касающихся ядерных и космических вооружений.

Для того чтобы выработать совместную точку зрения на предмет и цели таких переговоров, 7–8 января 1985 года в Женеве состоялась встреча Громыко с государственным секретарем США Шульцем. По итогам этой встречи было опубликовано совместное заявление, в котором наряду с уточнением характера новых переговоров говорилось, что «в конечном итоге, по мнению сторон, предстоящие переговоры, как и вообще усилия в области ограничения и сокращения вооружений должны привести к ликвидации ядерного оружия полностью и повсюду».

В такой четкой форме задача полной ликвидации ядерного оружия фиксировалось в совместном советско-американском документе впервые. Отчасти этому помогло и то, что Рейган, будучи переизбран в ноябре 1984 года на второй президентский срок, стал проявлять интерес к тому, чтобы войти в историю с ореолом «миротворца». Как бы то ни было, фиксация в

совместном заявлении задачи ликвидации ядерного оружия была весьма важным политическим актом. И это произошло, повторяю, в начале января 1985 года, то есть до смены руководства в Советском государстве.

Но переговоры были еще впереди, и мы, профессионалы, прекрасно понимали, что будут они невероятно трудными. Трудными, прежде всего из-за позиции США, особенно в области космических вооружений: в ней определенно просматривалось стремление лишь к таким договоренностям, которые, помимо создания Рейгану ореола «миротворца», обеспечивали бы Соединенным Штатам и явные преимущества в военном отношении.

В этих условиях тем более требовались смелые, неординарные решения с нашей стороны. На это, однако, как раз и трудно было рассчитывать при тогдашнем нашем высшем руководстве. Преодолеть эту трудность, разрушить накопившийся в наших позициях «железобетон» одним профессионалам было не под силу.

Памятное об А. А. Громыко

Прежде чем перейти к вопросу о том, что же последовало дальше в области нашей внешней политики – и в позитивном, и в негативном плане, – хотел бы поделиться воспоминаниями о человеке, чья подпись (от имени Советского государства) стоит под Уставом ООН и который внес огромный вклад в дело предотвращения новой большой войны и в упрочение геополитических позиций Советского Союза в мире.

Речь идет, разумеется, об Андрее Андреевиче Громыко. Только на посту министра иностранных дел он находился 28 лет (1957–1985.), а если иметь в виду, что его вклад в советскую дипломатию стал заметным уже начиная с 1943 года после его назначения в возрасте 34 лет послом СССР в США, то его влияние на внешнюю политику нашей страны было и того длительнее.

Впервые я соприкоснулся с ним лично в 1951 году, когда Громыко, будучи первым заместителем министра иностранных дел, одновременно стал председателем Комитета информации при МИДе, где я в то время был заместителем начальника американского отдела. В Комитет он приезжал не чаще одного раза в неделю на полдня. В срочных случаях материалы возили ему в министерство.

Обычно он рассматривал подготовленные информационные материалы не только со своими заместителями по комитету, но и

с участием тех, кто непосредственно готовил эти материалы. Поэтому уже в те годы я имел возможность многому научиться у него, особенно в отработке формулировок. Запомнился такой эпизод, относящийся к 1953 году, уже после смерти Сталина. В одном из подготовленных материалов упоминалась корейская война, причем в стандартной для того времени формулировке, как «начавшаяся в результате агрессии США со стороны Южной Кореи». Я заметил, как Андрей Андреевич споткнулся на этой формулировке и, ничего не говоря присутствовавшим, поправил ее следующим образом: «явившаяся результатом общей политики США в отношении Кореи». На первый взгляд, разница вроде бы несущественная, но для сведущего человека это означало отход от ранее принятой, но явно не соответствовавшей действительности версии начала корейской войны.

С тех лет я оставался в поле зрения Громыко. При расформировании Комитета информации в 1958 году он (по просьбе Г. М. Пушкина) не возражал против моего перевода во вновь создававшейся Отдел информации ЦК КПСС, а после ликвидации этого отдела в 1959 году я был назначен заместителем заведующего Отделом стран Америки МИДа, в ведение которого тогда входили отношения СССР со всеми странами Западного полушария (за исключением Канады, которая как британский доминион оставалась в ведении отдела, занимавшегося Великобританией). Поскольку тогдашний заведующий Отделом стран Америки А. А. Солдатов меня лично не знал, он поначалу возражал против моего назначения к нему замом, но Громыко сказал ему: «Достаточно того, что я знаю Корниенко».

Во время моей работы в посольстве СССР в США, пока послом там был Меньшиков, которого Громыко, мягко говоря, недолюбливал, он, приезжая в Вашингтон, иногда беседовал со мной наедине и в некоторых случаях давал отдельные поручения. В частности, по его поручению я проводил зондаж через посольство Бразилии в Вашингтоне относительно установления дипломатических отношений Советского Союза с этой крупнейшей страной Латинской Америки.

Должен, однако, сказать, что после моего возвращения в Москву и назначения в 1965 году заведующим Отделом США в течение какого-то времени Громыко, как я замечал, был не очень доволен мною. Помимо некоторых других обстоятельств, многое здесь объяснялось тем, что в те годы у нас с американцами не было серьезных дел. Происходил лишь обмен ругательными нотами и публичными заявлениями, а большого вкуса к этому у меня не было, да и мастаком сочинять такого рода бумаги я не

был.

Совсем по-другому стали складываться наши отношения, когда завязались серьезные переговоры с США по стратегическим вооружениям, началась подготовка и затем проведение советско-американских встреч на высшем и министерском уровне, а также по мере моего вовлечения в ближневосточные, афганские и другие «горячие» проблемы.

Меня часто спрашивают, трудно ли было работать с Громыко. Я обычно отвечаю, что нелегко, но добавляю, что по-настоящему трудно было работать с ним двум категориям людей – тугодумам и словоблудам. Что касается первой категории, то действительно даже умным работникам, которых Андрей Андреевич ценил, когда они работали «в поле», скажем, в качестве послов, подчас бывало трудновато повседневно общаться с ним после перемещения на работу в центральный аппарат. У Громыко, мозг которого работал со скоростью компьютера (когда их еще вообще не существовало), вызывало раздражение, если собеседник не соображал столь же быстро, не понимал его с полуслова или даже без слов.

Сразу оговорюсь, это вовсе не означало, что с ним надо было обязательно соглашаться и только поддакивать ему. Нет, он вполне терпимо и даже уважительно относился к тому, кто не во всем соглашался с ним и отстаивал свою точку зрения, **если** она была должным образом аргументирована. Бывало, Громыко не сразу соглашался с приводимыми доводами, но если они его убеждали, то по его дальнейшим действиям было видно, что он учитывал их. Но не терпел краснобайства, верхоглядства, приблизительности в анализе того или иного вопроса. Был очень требователен, не прощал недобросовестности, но был справедлив.

В общении с подчиненными Андрей Андреевич при каких-то обстоятельствах мог быть резок, иногда даже грубоват, мог «взорваться». При общении же с иностранцами даже в весьма острых ситуациях, когда коса находила на камень, нервы у него не сдавали. Лишь однажды на моей памяти, да и то не за столом переговоров, а во время неофициального ужина с Киссинджером тот вывел Громыко из себя, причем «виновником» этого случая был я. Случай этот имел свою предысторию. Хитроумный Киссинджер, быстро распознав психологию наших лидеров, нередко пытался «пудрить им мозги» – говорил то, что им хотелось бы услышать, но что на деле ни к чему не обязывало американскую сторону (потом в своих мемуарах он будет похваляться этим).

Когда в подобных случаях я чувствовал какой-то подвох со стороны Киссинджера, то, глядя на него, начинал улыбаться,

давая ему понять, что мне ясна двусмысленность его словесных изысков. Бывало, что Киссинджер полушутя-полусерьезно просил Брежнева или Громыко приказать Корниенко перестать улыбаться, поскольку это, мол, мешает ему сосредоточиться. А бывало и так, что уже после того, как ему удавалось согласовать какую-то двусмысленную формулировку с Громыко, последний по моему совету настаивал на ее уточнении. Со временем Киссинджер, возможно, даже преднамеренно желая поссорить нас с Громыко, стал пошучивать по этому поводу. Вот и на этот раз, когда присутствовавший на ужине сенатор Саймингтон, обращаясь к Киссинджеру, заметил, что ему, наверное нелегко вести дела с таким дипломатическим зубром, как Громыко, Киссинджер возьми и брякни: «Ну, договориться с Громыко – это только полдела, после этого надо еще получить о`кей у Корниенко». И здесь Андрей Андреевич вдруг взорвался, буквально закричав: «Да прекратите вы делать из Корниенко какой-то культ!» Потом, спохватившись, обернулся ко мне: «Правда, Корниенко?», – на что я ответил, что всегда был противником всяких культов. Каких-либо последствий для моих отношений с Громыко этот инцидент не имел.

За многие годы совместной работы состоялось лишь одно по-настоящему серьезное «объяснение в любви» между нами. Причиной этому были следующие обстоятельства. Во время одного из приездов Киссинджера в Москву никак не удавалось найти развязки по спорным вопросам, возникшим на переговорах по стратегическим вооружениям. Для обсуждения создавшейся ситуации к вечеру у Брежнева собрались Устинов (тогда секретарь ЦК по оборонной промышленности), Смирнов (председатель Военно-промышленной комиссии при Совете Министров), Громыко и Гречко. Ввиду жесткой позиции последнего совещание закончилось решением ни на какие подвижки в нашей позиции не идти.

По окончании совещания Устинов, Смирнов, Громыко и Гречко пошли к начальственному выходу, а присутствовавшие на совещании первый заместитель начальника Генштаба М. М. Козлов, заместитель заведующего Отделом оборонной промышленности ЦК Н. Н. Детинов и я направились к другому выходу, и тут нас догнал помощник Брежнева Александров. Он сказал, что Леонид Ильич просил всех нас задержаться и подумать, нельзя ли все же найти какие-то компромиссные решения по спорным вопросам. Вчетвером мы проработали почти всю ночь и кое-что придумали. По настоянию Александрова все мы завизировали подготовленный документ с условием, что он не будет докладывать его Брежневу до тех пор, пока Козлов и я не

согласуем его утром соответственно с Гречко и Громыко. Однако, когда утром я попытался сделать это, Громыко не стал смотреть документ и слушать мои объяснения, сославшись на то, что после вечернего совещания, на котором условились придерживаться прежней позиции, Брежнев ему не звонил, а «чего там придумал Александров, меня не интересует». Еще резче «отбрил» Козлова Гречко. Но когда вслед за этим мы все вновь собрались у Брежнева, то оказалось, что Александров в нарушение договоренности уже передал своему шефу ночной документ. И Брежнев начал совещание словами, что он полностью согласен с **подготовленными по его поручению** «новыми предложениями Министерства обороны и Министерства иностранных дел». После такого вступления ни Гречко, ни Громыко, которым были розданы копии документа, не решились дезавуировать действия своих подчиненных, тем более что особого «криминала» в документе они не обнаружили.

По горячим следам Громыко ничего не сказал мне по этому поводу, но через несколько дней у нас состоялся малоприятный разговор. Не повышая голоса, он выразил «непонимание» того, какими мотивами я руководствовался, готовя «за его спиной» те предложения для Брежнева: «Раньше я не замечал такого за вами, но если вы думаете таким образом обойти меня, то должны понимать, что мы с вами в разных весовых категориях». Я был искренне удивлен таким ходом его мыслей, о чем и сказал ему, объяснив действительные обстоятельства появления того документа. Примечательная деталь. Громыко не стал затевать разговор в своем кабинете с многочисленными телефонами, а сделал это в зале заседаний коллегии, оставив там меня после очередного заседания, да еще отойдя со мной в дальний конец зала, подальше от председательского стола, на котором тоже стоял один телефонный аппарат.

Наряду с недюжинным интеллектом, которым его одарила природа, самой сильной стороной Громыко как руководителя дипломатической службы великой державы являлся высокий профессионализм. Обладая огромным багажом знаний, необходимых в повседневной работе, и поразительными аналитическими способностями, он больше всего ценил наличие того и другого также у своих коллег и подчиненных.

Бывали ли у Громыко ошибки в суждениях (помимо случая с вводом войск в Афганистан, о чем говорилось выше)? Конечно, как у всех нас, хотя и реже, чем у других. Вспоминается, например, такой давний случай. В 1959 году в Женеве проходила встреча министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции. Соединенные Штаты там представлял госсекретарь

Гертер, сменивший незадолго до этого Даллеса, ушедшего в отставку в связи с серьезной болезнью. В это время Даллес умер, и Громыко сообщил в Москву, что встреча четырех министров прерывает свою работу, так как его коллеги вылетают в Вашингтон для участия в похоронах. А заканчивалась телеграмма Громыко словами: «О нашей поездке в Вашингтон вопрос, разумеется, не возникает». На хозяйстве в МИДе тогда оставался В. В. Кузнецов, а в Отделе стран Америки – я. В отделе мнения разделились – одни считали, что действительно на похороны злейшего врага СССР Даллеса нашему министру лететь не стоит, но другие, в том числе я сам, придерживались противоположного мнения. С ним я и пришел к Василию Васильевичу Кузнецову, который, переговорив по телефону с Хрущевым, находившимся в тот момент с визитом, по-моему, в Югославии, направил от его имени телеграмму Андрею Андреевичу с указанием вылететь в Вашингтон, мотивируя это тем, что «такой шаг будет положительно оценен американской общественностью».

Нередко спрашивают и о том, был ли Громыко «государственником» или «идеологом»? В ответ на такую постановку вопроса могу однозначно сказать, что он был государственником в том смысле, что во всей своей деятельности заботился именно об интересах государства. Громыко не был идеологически зашоренным, но он сформировался как государственный деятель в такие времена, когда не мог не остерегаться того, чтобы какие-то его слова или дела могли быть истолкованы превратно, как не соответствующие «установкам партии».

Он, когда считал необходимым, твердо отстаивал свою точку зрения. Но если принималось решение, расходящееся с его точкой зрения – будь-то вопреки его возражениям или потому, что он сам отступил по какой-то причине от ранее занятой позиции, – впредь Громыко вел себя так, будто всегда считал правильным именно то, против чего еще час назад возражал. При этом нередко находил даже более весомые аргументы в пользу принятого решения, чем его инициаторы. И строго пресекал всякие рассуждения по поводу неправильности принятого решения. Такая степень «перевоплощения» поражала меня. Все мы, конечно, подчинялись принятым решениям, но все же с бльшим рвением выполняли обычно те решения, которые нам казались правильными, чем те, которые противоречили нашим взглядам. Для Громыко это было исключено.

Но со временем, по мере накопления очевидных свидетельств ошибочности принятого решения, удавалось побудить его, не говоря опять-таки прямо о допущенной ошибке, попытаться

обосновать перед ЦК необходимость принятия нового решения «ввиду изменившихся обстоятельств». Или, если сумеешь изобразить дело так, будто новое решение потребовалось потому, что прежнее «выполнило свою задачу», – это считалось особенно удачным. Сам он прекрасно понимал, конечно, истинный смысл такой словесной эквилибристики.

Громыко был не только убежденным сторонником разоруженческой линии в нашей политике, но и, пожалуй, главным генератором идей в этой области. Был напорист в проведении этой линии в общеполитическом плане. Вместе с тем, когда дело доходило до выработки конкретных позиций и если военные упорно сопротивлялись тому или иному предложению, он обычно не шел на конфликт с ними. За редкими исключениями он не одергивал, а скорее поощрительно относился к тому, что я и другие представители МИДа проявляли конструктивную активность при обсуждении с военными этих вопросов. И если, скажем, Гречко или потом Устинов жаловался ему, что «твои ребята давят на моих», то он, поинтересовавшись у нас, в чем там дело, чаще всего не пресекал наших попыток отстоять мидовскую точку зрения. И всегда был доволен, когда в результате такой предварительной проработки появлялись уже согласованные позиции.

Однако если выработать совместные позиции не удавалось и ему докладывались «разногласные» варианты, то обычно Громыко в конечном итоге соглашался с вариантом военных, мотивируя это тем, что на них лежит главная ответственность за оборону страны. Думаю, это объяснялось не только его нежеланием конфликтовать с военными коллегами; наверное, у него самого тоже проявлялся синдром военного поколения – горькая память о 1941 годе. Громыко не хотел, чтобы при каких-то обстоятельствах в будущем кто-то мог упрекнуть МИД в том, что он, мол, «разоружил» страну.

Неимоверные перегрузки, которые на протяжении десятилетий приходилось переносить Андрею Андреевичу, со временем стали сказываться на состоянии его здоровья. Достоянием широкой гласности стал случай, когда он потерял сознание во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, но такое случалось не однажды. Он старался не показывать своего плохого самочувствия и, когда требовали обстоятельства, работал с прежней энергией и отдачей. Но мне было известно, хотя и не от него самого, что со времени кончины Брежнева в ноябре 1982 года Андрей Андреевич хотел бы занять пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть номинального главы государства, повседневные обязанности которого, однако,

не шли ни в какое сравнение с нагрузками министра иностранных дел. По причинам, о которых говорилось в главе 12, этого не получалось. Когда же на мартовском (1985 г.) пленуме ЦК КПСС с предложением об избрании Генеральным секретарем М. С. Горбачева выступил именно Громыко, мне сразу стало ясно, что теперь наконец осуществится его желание. Так оно и случилось.

Первые шаги Горбачева во внешних делах

Когда к руководству страной пришел молодой, по нашим канонам, энергичный деятель нового поколения, естественным было ожидать, что и в нашей внешней политике появятся больший динамизм, последовательность и масштабность.

В течение какого-то времени наши надежды вроде бы начали оправдываться. Кроме взятой линии на вывод советских войск из Афганистана, уже в апреле 1985 года было принято ранее отвергавшееся предложение Генштаба о прекращении дальнейшего развертывания ракет СС-20 (в этом деле, как говорилось в главе 11, был допущен «перебор»), а несколько позже было объявлено о снятии с боевого дежурства ракет СС-20, установленных с июня 1984 года. Впервые было заявлено о готовности СССР пойти на 50-процентное взаимное сокращение ядерных вооружений, достигающих соответственно территории США и СССР, при условии запрета космического оружия.

Наряду с нашими односторонними действиями в военной области, для того чтобы дать новый импульс застопорившимся советско-американским переговорам в Женеве по вопросам ядерных и космических вооружений, была организована встреча Горбачева с президентом США Рейганом в Женеве 19–21 ноября 1985 года.

Надо сказать, что стремление советского и американского руководителей к личной встрече было обоюдным, и движение к ней началось практически сразу после прихода М. С. Горбачева к руководству.

Уже в первом письме Р. Рейгана, которое передал вице-президент Дж. Буш, прибывший на похороны К. У. Черненко, содержалось приглашение М. С. Горбачеву посетить Вашингтон так скоро, как это окажется для него удобным.

В ответном письме М. С. Горбачева, направленном Р. Рейгану через пару недель, было выражено однозначно положительное отношение к мысли о проведении личной встречи, но к вопросу о месте ее проведения, как и о сроке, было предложено вернуться

дополнительно. Надо сказать, что по формально-протокольным мотивам у американской стороны были основания ставить вопрос о проведении встречи на территории США, поскольку, хотя последняя до этого советско-американская встреча в верхах в 1979 году состоялась на территории третьей страны (Вена), две предыдущие встречи в 1974 году (одна с Никсоном, другая с Фордом) проходили на советской территории.

Но при том состоянии советско-американских отношений, в котором они находились в указанный момент, считалось неприемлемым нашему руководителю ехать в Вашингтон, о чем через некоторое время и было довольно прямо сказано Рейгану, который не стал делать из этого проблемы, и к середине года было уже согласовано, что встреча состоится во второй половине ноября в Женеве.

С самого начала представлялось ясным, что разговор в Женеве будет нелегким и что при всем нашем желании рассчитывать на достижение там крупных конкретных решений, прежде всего по центральной проблеме – по ядерным и космическим вооружениям, вряд ли приходилось. С учетом этого подготовка к встрече велась по двум направлениям.

Во-первых, в концептуальном плане ставилась цель достичь четкого взаимопонимания о недопустимости ядерной войны, о том, что в ней не может быть победителей и что ни одна из сторон не будет стремиться к военному превосходству и не будет пытаться ущемить законные интересы безопасности другой стороны. Имелось в виду, что достижение такого взаимопонимания было бы политически важно в любом случае, а тем более если бы подобное взаимопонимание удалось дополнить подтверждением готовности сторон предпринять действия материального характера в плане ограничения и сокращения вооружений, прекращения гонки вооружений на Земле и недопущения ее в космосе, то есть подтвердить на высшем уровне январскую договоренность министров.

Во-вторых, даже при отсутствии больших шансов на успех представлялось целесообразным постараться все же договориться хотя бы по некоторым ключевым конкретным вопросам, прежде всего таким, как запрет космического ударного оружия в сочетании с 50-процентным сокращением ядерных средств СССР и США, достигающих территории друг друга, причем общее число ядерных зарядов на них у каждой из сторон было бы ограничено числом в 6 тысяч единиц.

Этими целевыми установками руководствовалась советская сторона и в контактах с американской стороной в ходе подготовки встречи, и на самой встрече.

Беседы Горбачева с Рейганом один на один, как и переговоры делегаций в полном составе, велись по-деловому, корректно и в то же время без сглаживания углов, а подчас приобретали и довольно острый характер. Потом Д. Риган – «начальник штаба» Белого дома – в неофициальной беседе сказал, что с Рейганом еще никто не разговаривал так прямолинейно и с таким нажимом, как Горбачев.

Наиболее крутым, как и ожидалось, был разговор в связи с американской программой «звездных войн». Рейгану было обстоятельно разъяснено, что решительная оппозиция СССР этой программе – это не пропаганда и не следствие какого-то недопонимания или боязни «технологического отставания». Это результат тщательного анализа, который говорит о том, что так называемый оборонительный «космический щит» может понадобиться только той стороне, которая замышляла бы нанести первый, обезоруживающий удар по другой стороне. У стороны, которая не стремится обладать способностью для нанесения такого удара, не должно возникать желания обзавестись космической системой ПРО. В случае же создания такой системы одной из сторон, что было бы прямым и грубым нарушением Договора по ПРО, подписанного в 1972 году, другая сторона неизбежно должна будет наращивать свои стратегические наступательные вооружения, а также принимать иные ответные меры. Следовательно, будет сохраняться порочный круг гонки вооружений с выводом ее на все более опасные витки.

В связи с утверждениями Рейгана об отсутствии у США намерений стремиться к приобретению способности нанести первыми удар было подчеркнуто, что в делах, затрагивающих сердцевину национальной безопасности, ни одна сторона не может и не станет полагаться только на заверения в добрых намерениях. О намерениях стороны и возможностях любой системы оружия судят по реальной политике и по боевым возможностям этого оружия, а не по заявлениям.

Кстати, позже Рейган признался, что на него произвела впечатление убежденность Горбачева в том, что американская программа СОИ рассчитана на получение стратегического преимущества и даже на обеспечение способности нанесения первого удара. Признал он и то, что в таких вопросах нельзя основываться на словесных заверениях. Однако необходимых практических выводов из этих признаний американская сторона не сделала – ни в Женеве, ни после нее.

Итак, как и предполагалось, договориться в Женеве по конкретным вопросам, касающимся ядерных и космических вооружений, не удалось. Но наша программа-минимум оказалась

выполненной. В совместном советско-американском заявлении по итогам встречи было констатировано, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Признав, что любой конфликт между Советским Союзом и Соединенными Штатами мог бы иметь катастрофические последствия, стороны также подчеркнули важность предотвращения любой войны между ними – ядерной или обычной – и заявили, что не будут стремиться к достижению военного превосходства.

После длительных дискуссий, затянувшихся далеко за полночь, американская сторона согласилась включить в совместное заявление и положение, воспроизводящее советско-американское заявление от 8 января 1985 года относительно предмета и целей женевских переговоров: предотвратить гонку вооружений в космосе и прекратить ее на Земле, ограничить и сократить ядерные вооружения и укрепить стратегическую стабильность.

Политически значимым было также подтверждение приверженности СССР и США режиму нераспространения ядерного оружия и задаче полного запрещения и уничтожения еще одного вида оружия массового уничтожения – химического.

Не преувеличивая значения такого рода декларативных заявлений в условиях отсутствия договоренностей по конкретным вопросам ядерных и космических вооружений, вместе с тем имелось основание дать в целом положительную оценку итогам женевской встречи.

Помимо содержательной стороны встречи в Женеве, хотелось бы отметить, что тогда было приятно видеть в деле нового советского руководителя – хорошо владеющего, в отличие от «позднего» Брежнева, предметом переговоров, четко представляющего, чего он хочет добиться от собеседника, и умеющего заставить его поверить в искренность своих слов, если и не согласиться с ними.

Все это было тем более очевидно, поскольку другую сторону на этот раз представлял человек, во многом напоминавший Брежнева последних лет его жизни. Рейган говорил с помощью колоды заготовленных карточек, оказываясь беспомощным, если нить разговора заставляла его отрываться от заготовок. Он становился раскованным и говорил свободно только тогда, когда начинал рассказывать – иногда к месту, а чаще нет – какие-нибудь истории и анекдоты.

А главное, всех, кто, как Горбачев, впервые имел дело с Рейганом, не могла не поражать его неинформированность и узость мышления. Начав изложение своего подхода к отношениям

с СССР с выражения уверенности в том, что все беды в этих отношениях в послевоенное время проистекают из недоверия, он в качестве исходной причины такого недоверия изобразил нечто совершенно не соответствующее фактическому положению вещей.

По его утверждению, все началось с того, что в ходе войны против гитлеровской Германии США обратились к СССР с просьбой разрешить американским самолетам, совершавшим бомбовые налеты на Германию, садиться на территории СССР, а последний так до конца войны и не разрешил якобы делать это, из-за чего, дескать, гибли многие американские летчики.

Между тем дело обстояло совсем иначе. В ходе встречи в Тегеране в конце ноября – начале декабря 1943 года Рузвельт передал Сталину меморандум, в котором содержалась просьба разрешить американским бомбардировщикам, вылетавшим с Британских островов для бомбежки Германии, делать посадки на советской территории для заправки горючим, пополнения боеприпасов и необходимого ремонта. И там же, в Тегеране, как свидетельствует в своей книге и помощник Рузвельта Шервуд, Сталин «дал согласие на такие посадки американских самолетов, совершавших боевые налеты на Германию не только с баз в Соединенном Королевстве, но и с баз в Италии».

И в 1944 году, как только была освобождена подходящая часть территории СССР, куда могли долетать для посадки американские бомбардировщики, для этой цели был выделен крупный аэродром на Украине, вблизи Полтавы. О тегеранской договоренности я узнал много лет спустя, но о существовании указанного аэродрома знал достоверно, поскольку в 1944 году служил в Полтаве и там мне приходилось встречаться с американскими летчиками.

Когда Горбачев и Рейган с нашим переводчиком Виктором Суходревом уединились от других участников переговоров для беседы с глазу на глаз, я прямо спросил госсекретаря Шульца и помощника президента по национальной безопасности Мафарлейна, как же может президент США в таком серьезном вопросе, как определение причин плохого состояния советско-американских отношений после войны, исходить из столь ложной посылки. И не свидетельствует ли это о том, что и другие близкие его сердцу концепции вроде «звездных войн» строятся на таких же ложных посылках?

Сколько-нибудь вразумительного ответа не последовало. По словам Макфарлейна, историю о якобы отказе Сталина разрешить посадку в СССР американских бомбардировщиков Рейгану когда-то давно рассказал его старый друг из ВВС США, «которому он верит, а в таких случаях бесполезно пытаться переубедить

Рейгана». В этом отношении Макфарлейн, пожалуй, был прав, ибо, как бы анекдотично это ни прозвучало, год спустя при встрече с Горбачевым в Рейкьявике Рейган начал вспоминать историю советско-американских отношений опять-таки с байки об отказе Сталина разрешить американским самолетам садиться на территории СССР как об исходной причине недоверия между двумя державами в послевоенный период.

Вот таким оказался партнер нашего нового руководителя в Женеве в 1985 году. Когда мы вернулись в свою резиденцию после первой беседы с Рейганом, свое впечатление о нем Горбачев выразил кратко: «Пещерный политик, каменный век». Однако – и это было важно – Горбачев ни на минуту не проявил колебаний насчет того, что надо, исходя из интересов дела, а не из личных симпатий или антипатий, попытаться поладить с американским президентом, каков бы он ни был, не дожидаясь прихода нового, как рассуждал кое-кто.

Отступая от основной темы, замечу, что женевская встреча Горбачева с Рейганом в 1985 году запомнилась мне еще одним обстоятельством. Мне показалось – и будущее подтвердило это, – что на Горбачева и особенно на его супругу произвело большое впечатление то, что президент Рейган, безотносительно к его личным качествам, выглядел не просто доминирующей фигурой в американской команде в Женеве, а как бы единственным, сольным, «игроком», а все остальные члены команды «при сем присутствовали». Это явно импонировало эгоцентризму самого Горбачева. И уже вскоре после Женевы я высказал своему коллеге и другу А. Ф. Добрынину предположение, что Горбачев постепенно поведет дело к концентрации в своих руках всей полноты государственной власти, стремясь уподобиться американскому президенту.

Военно-политическая сфера

После Женевы пришел «звездный час» для идеи, которая давно не давала покоя мне, а с некоторых пор, как оказалось, и маршалу Ахромееву, в то время начальнику Генерального штаба.

В общеполитическом плане Советский Союз последовательно, начиная с 1945 года, высказывался за запрещение и уничтожение атомного оружия. Неоднократно за послевоенные годы вносил СССР свои предложения на этот счет и в ООН. Но, надо прямо сказать, эти предложения носили скорее характер благих пожеланий, а не конкретных реалистических программ. Как и подобные предложения со стороны Запада, вроде «плана Баруха»,

они преследовали больше политико-пропагандиские цели и во всяком случае не могли рассчитывать на принятие их другой стороной.

В 70-е годы, после достижения первых соглашений с США об ограничении стратегических вооружений я все чаще стал задумываться над тем, нельзя ли, как говорится, «на полном серьезе» поставить задачу избавиться от ядерного оружия во всем мире. Однако мои попытки по-серьезному обсудить эту мысль со своими коллегами в Генеральном штабе и совместно разработать соответствующие практические предложения положительного отклика в ту пору не находили. Но я продолжал считать, что homo sapiens не может и не должен смириться с постоянно висящей над ним угрозой ядерной катастрофы. Этой убежденностью я руководствовался, когда в январе 1985 года приложил руку к тому, чтобы в совместном советско-американском заявлении по итогам встречи Громыко и Шульца впервые было зафиксировано, что конечной целью усилий должна быть ликвидация ядерного оружия полностью и повсюду.

И когда весной 1985 года маршал Ахромеев посвятил меня в свою «тайну», сказав, что он уже больше года работает над настоящим серьезным планом ядерного разоружения, я, естественно, от всей души поддержал его замысел.

Об истории зарождения и развития этого плана Ахромеев рассказал в нашей совместной книге «Глазами маршала и дипломата», увидевшей свет уже после его трагической смерти в августе 1991 года. Позволю себе воспроизвести здесь этот его рассказ:

«В данном случае зародилась и обдумывалась не какая-то частная новая идея или запасная позиция, а действительно радикальная идея ликвидации ядерного оружия. Много десятков часов она обдумывалась и обсуждалась мною сначала с начальником управления Генштаба генералом Н. Ф. Червовым. Позже провели не одно совещание с руководством Генерального штаба, с начальниками Главных штабов видов Вооруженных сил, учеными. Много было дискуссий и научных проработок, которые позволили убедиться в том, что эта идея реалистична и что ее претворение в жизнь было бы не только допустимо и желательно с точки зрения интересов обороноспособности Советского Союза, но и позволило бы радикальным образом укрепить международную безопасность, исключив возможность возникновения ядерной войны.

К середине 1985 года это была уже не просто идея, а детально проработанный проект программы полной ликвидации ядерного оружия во всем мире в течение 15 лет. Но Генштаб не

спешил не только с представлением своих предложений политическому руководству государства, но и с докладом их министру обороны, а тем более с совместной экспертной проработкой их с Министерством иностранных дел. В неофициальном порядке посвящен в эту работу Генштаба был только Г. М. Корниенко.

Это определялось следующими соображениями. Намеченная на ноябрь 1985 года встреча Горбачева с Рейганом была первой после непрерывной шестилетней конфронтации, сопровождавшейся форсированной гонкой вооружений. Эта встреча, как думали военные, будет своего рода разведкой. Вносить на этой встрече, не подготовив для этого почву, такое серьезное предложение казалось рискованным. Поэтому от доклада его руководству перед Женевой Генштаб воздержался.

Только после встречи в Женеве, когда руководством было принято решение выступить еще до XXVII съезда КПСС, намеченного на конец февраля – начало марта 1986 года, с крупными предложениями в области разоружения, Генштаб доложил свои предложения вначале министру обороны С. Л. Соколову.

Нередко и тогда, в начале 1986 года, и в последующем задавали вопрос: насколько вообще-то реалистична идея полной ликвидации ядерного оружия? Не утопия ли это?

Думаю, читатель, даже и не очень посвященный в детали военной службы, понимает, что в Генеральном штабе служат реалисты, имеющие дело с проблемами обороны государства. Им не до фантазий. Почему же именно Генштаб стал инициатором разработки плана полной ликвидации ядерных потенциалов?

Во-первых, именно Генштаб наиболее отчетливо понимает всю опасность накопления огромного ядерного потенциала в условиях многолетнего противостояния военных блоков. На боевом дежурстве в этих военных союзах с готовностью применения, измеряемой несколькими минутами, находятся тысячи стратегических носителей и десятки тысяч боезарядов. Эта невообразимая ядерная мощь, если будет применена, в течение десятков минут может испепелить все живое на Земле.

Во-вторых, Генштабу было ясно, что эту опасность понимали не только у нас, но и на Западе. Мы рассчитывали, что к призыву руководства нашего государства не останется безучастной как администрация США, так и другие страны блока НАТО.

В-третьих, мы надеялись, что если и не удастся за предлагаемый срок полностью ликвидировать ядерное оружия не Земле, то можно будет значительно сократить его количество и уменьшить опасность ядерного противостояния, что тоже имело

бы значение.

Таков был ход мыслей и расчеты Генерального штаба. Думаю, что в этом смысле разработанный план был реалистичен и имел под собой серьезные основания. Министр обороны с учетом этих соображений одобрил его и дал согласие на представление проекта программы полной ликвидации ядерного оружия совместно с Министерством иностранных дел высшему руководству. Для предварительного доклада Горбачеву, который находился в то время за пределами Москвы, к нему вылетел генерал Червов. Одновременно второй экземпляр проекта программы взял Корниенко для доклада Шеварднадзе».

Проштудировав полученный от маршала Ахромеева в первых числах января 1986 года документ, я убедился, что в моих руках находится тщательно разработанная программа поэтапной ликвидации ядерного оружия до конца XX столетия. В отличие от прежних предложений общего порядка это была действительно рабочая программа, составленная с учетом различия ядерных потенциалов пяти ядерных держав и многих других факторов. Осуществлять ликвидацию ядерного оружия – по видам вооружений и по странам – предлагалось таким образом, чтобы ни в какой момент не ослаблялась ничья и в то же время укреплялась всеобщая безопасность. Документ нуждался лишь в определенной дипломатической «доводке», что и было сделано.

Шеварднадзе, которому был доложен мною этот документ с необходимыми пояснениями об истории вопроса, воспринял его с интересом и, я бы сказал, с энтузиазмом. Правда, его энтузиазм несколько поубавился, когда некоторые из моих коллег, к мнению которых министр к тому времени стал все больше прислушиваться, отнеслись к программе ядерного разоружения скептически, а кое-кто принял ее вообще в штыки, как «очередную пропагандистскую затею», каковой она вовсе не являлась. Но, слава богу, тут поступил сигнал от Горбачева, который, рассмотрев доложенный и подробно растолкованный ему генералом Червовым материал (по словам Червова, Горбачев тоже не сразу понял его глубину и отличие от прежних наших предложений), самым положительным образом оценил программу и велел сделать ее центральной частью готовившегося заявления от его имени по вопросам разоружения. Всякие сомнения и колебания исчезли и у Шеварднадзе, и у тех, кто еще вчера критиковал программу.

Так появился документ, который вскоре мир узнал как Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева от 15 января 1986 года с программой ядерного разоружения в качестве его основы.

Мы с Ахромеевым, как это видно и из его рассказа об истории появления указанного документа, не были столь наивными, чтобы питать уверенность в том, что удастся полностью реализовать план ликвидации ядерного оружия во всем мире до конца XX века. А теперь, когда в связи с развалом Советского Союза и претензиями США на положение вершителя судеб мира Россия вынуждена вполне обоснованно вновь сделать акцент на роли ее ядерного потенциала как средства сдерживания возможного агрессора, кое-кому может показаться неуместным даже вспоминать о выдвинутом в1986 году плане полной ликвидации ядерного оружия.

Однако я глубоко убежден в том, что затраченные тогда усилия не пропадут зря – придет время, когда тот план будет в той или иной форме востребован. Его авторам и в страшном сне не могло, конечно, присниться то, что произошло всего через шесть лет с Советским Союзом. Но это не лишает смысла и ценности ту огромную, многомесячную работу, о которой рассказано выше и которая позволила Генеральному штабу прийти к вполне определенному и реалистичному выводу: человечество может и должно жить без ядерного оружия, если оно не хочет погубить себя.

К данной проблеме примыкает и вопрос о неприменении первыми ядерного оружия. Вполне объяснимо то, что Россия вынуждена была отказаться от взятого на себя Советским Союзом одностороннего обязательства не применять первым ядерное оружие против какого-либо государства, даже если оно нападет на него, но с применением лишь обычных вооружений. Со стороны России этот шаг был резонен не только потому, что другие ядерные государства не последовали примеру СССР, а и потому, что в современных условиях, когда Вооруженные силы России могут оказаться не в состоянии дать должный отпор агрессору в аналогичной ситуации с помощью только обычных вооружений, оставлять свои руки связанными прежним обязательством – означало бы делать потенциальную агрессию против себя более вероятной.

В то же время отказ России от обязательства 1982 года никак не может рассматриваться как наличие у нее намерения применить ядерное оружие против какого-либо государства, если только не сложится критическая для ее национальной безопасности ситуация в результате крупномасштабной агрессии со стороны этого государства с применением даже только обычного оружия. Публичное взятие Советским Союзом упомянутого обязательства в 1982 году тоже вовсе не означало, что до этого у него были планы применения ядерного оружия

первым в случае агрессии против него с использованием только обычных вооружений. Да, до 1982 года юридически он оставлял себе руки развязанными на такой случай, но в действительности подобных планов у него не было – в отличие от нынешней России Советский Союз тогда мог положиться на свою способность дать должный отпор такому агрессору с помощью тоже только обычных вооружений.

О том, что советская военная доктрина и до 1982 года не предусматривала применение ядерного оружия первым, было известно западным правительствам, по крайней мере, с середины 70-х годов, из закрытых источников, в частности из попавших в руки западных спецслужб секретных лекций, прочитанных в Академии Генерального штаба. Правда, у западных экспертов не было единого мнения: означает ли это, что Советский Союз не станет применять ядерное оружие в таких военных конфликтах только тогда, когда будет совершенно очевидным отсутствие у другой стороны готовности прибегнуть к ядерному оружию, или же он будет придерживаться этого принципа даже при наличии у него подозрений об обратном, вплоть до тех пор, пока другая сторона не нанесет по его территории хотя бы один ядерный удар.

В этой связи, прежде чем я коснусь вопроса о пересмотре советской военной доктрины в более широком плане при Горбачеве (к чему я тоже имел определенное касательство), хотелось бы рассказать о том, что мне было известно по упомянутой выше проблеме, поскольку за последние годы и в нашей печати появилось немало противоречивых публикаций на этот счет.

Со времени появления и у Соединенных Штатов, и у Советского Союза ракетно-ядерного оружия, способного поражать территорию друг друга, теоретически существовало три варианта стратегической защиты государства:

упреждающий ракетно-ядерный удар по территории изготовившегося к ракетно-ядерному нападению агрессора;

ответно-встречный ракетно-ядерный удар по агрессору, предпринявшему ракетно-ядерное нападение, но до прихода его боеголовок на нашу территорию;

придание нашим ракетно-ядерным силам способности нанесения гарантированного ответного ракетно-ядерного возмездия по агрессору при самых неблагоприятных для нас последствиях его ракетно-ядерного нападения.

Американская официальная доктрина всегда

предусматривала и по сей день предусматривает первый вариант: нанесение массированного упреждающего удара в случае, если американское руководство придет к выводу, пусть и ошибочному, что другая сторона готовится нанести ядерный удар по США.

В отличие от американской, советская военная доктрина не предусматривала подобного **превентивного** удара. Думается, не только из-за опасения просчета и по моральным соображениям, но и по чисто рациональным. При наличии у США, помимо наземных защищенных ракетных комплексов, двух других мощных компонентов ядерной триады – морского и воздушного базирования наш упреждающий удар не выполнил бы задачу предотвращения или хотя бы серьезного ослабления ядерного удара по нашей территории. Обмен ударами все равно привел бы к взаимному уничтожению друг друга.

Что касается второго варианта, то ответно-встречный удар по агрессору, уже запустившему свои ракеты, тоже по определению не решает задачи стратегической защиты государства. Результат будет тот же. Тем не менее в период до достижения **примерного** стратегического паритета с США, то есть пока была слишком велика угроза уничтожения первым ударом противника всех наших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, советское военное руководство де-факто, без официальных решений на уровне высшего руководства государства, не исключало возможности нанесения ответно-встречного удара, то есть пуска ракет по территории агрессора в случае обнаружения летящих в направлении СССР ракет, не дожидаясь, когда они поразят его территорию. Логика военных заключалась не просто в принципе «погибать, так всем», но и в надежде, что если руководство США будет знать о нашей возможной готовности нанести ответно-встречный удар в случае ракетно-ядерного нападения на СССР, то это будет дополнительным сдерживающим фактором.

К концу 60-х годов, когда обозначился примерный стратегический паритет между США и СССР, у нас появилась возможность путем повышения прочности наземных стартов и создания мобильных ракетных комплексов воплотить в жизнь третий вариант: придать нашим ракетно-ядерным силам способности при любых условиях нанести гарантированный ответный удар по агрессору, совершившему ядерное нападение на СССР. Достижение такой способности становилось самым действенным фактором сдерживания потенциального агрессора – более действенным, чем страх перед ответно-встречным ударом.

Концепция гарантированного ответного удара была одобрена Советом обороны СССР в конце июля 1969 года вопреки

возражениям тогдашнего министра обороны Гречко, который был сторонником концепции ответно-встречного удара как более простой и дешевой. Один из участников того заседания Совета обороны резюмировал исход состоявшейся там жаркой дискуссии следующим образом: «Отныне основанием для нанесения ракетно-ядерного удара по противнику может быть только одно – ядерные взрывы ракет противника на территории СССР».

Правда, военные и в дальнейшем иногда возвращались к этому вопросу (что само по себе неудивительно в условиях, когда США продолжали придерживаться концепции упреждающего удара), но высшим руководством эти разговоры пресекались. Так, из воспоминаний очевидцев известно, что, когда на одном из последующих заседаний Совета обороны главком Ракетных войск Крылов обронил: «Не собираемся же мы сидеть и ждать, пока нам ударят по голове», он получил резкую отповедь Косыгина. А в 1983 году я сам был свидетелем, как Андропов, в то время Генеральный секретарь ЦК, в ответ на замечание Устинова относительно того, что «технически мы способны при необходимости нанести ответно-встречный удар», тоже довольно резко оборвал его: «Ты брось, Дмитрий. Это не технический, а сугубо политический вопрос».

А самым весомым доказательством того, что начиная с конца 60-х годов Советский Союз на деле исходил из концепции гарантированного ответного удара, а не ответно-встречного, является тот факт, что он расходовал огромные средства на создание упрочненных, способных выдержать ядерный удар, стационарных, а также мобильных стартов. Делать это было бы совершенно бессмысленно и с экономической, и с практической точки зрения, если бы он придерживался концепции ответно-встречного удара. А если в некоторых публикациях военных авторов по-прежнему можно было вычитать между строк намеки на нашу способность нанести при необходимости и ответно-встречный удар, то делалось это для острастки, чтобы кто-то не рассчитывал обезоружить нас упреждающим ударом.

В некоторых публикациях – и зарубежных, и наших – в порядке обоснования утверждений, будто советская сторона придерживалась концепции ответно-встречного удара до начала 90-х годов, содержатся ссылки на то, что при создании систем раннего предупреждения о ракетном нападении им придавалась способность обнаруживать запуск ракет противника и оповещать об этом Верховное главнокомандование в течение 3–4 минут. Но эти ссылки и логически, и фактически несостоятельны – для эффективного обеспечения гарантированного ответного удара максимально раннее оповещение о ракетном нападении имеет

отнюдь не меньшее значение, чем для нанесения ответно-встречного удара.

При всей важности ракетно-ядерного компонента военных доктрин СССР и США не менее важное значение имел общий характер этих доктрин. В своей военно-политической части и советская, и американская доктрины были оборонительными в том смысле, что ни в одной из них не провозглашались агрессивные цели. Однако в своей военно-технической части, определяющей структуру вооруженных сил, их дислокацию и подготовку, они – опять-таки одинаково – исходили из принципа «лучшая оборона – это наступление». Другими словами, вооруженные силы обеих сторон строились, вооружались, обучались, размещались так, чтобы быть в постоянной готовности перейти в мощное контрнаступление сразу же в случае нападения другой стороны. А это означало, что ни одна из сторон не могла быть уверенной в том, что другая сторона не использует свой мощный наступательный потенциал при каких-то обстоятельствах в агрессивных целях, а не в целях самообороны. Тем самым заколдованный круг на концептуальном уровне – взаимная подозрительность в отношении глобальных целей друг друга – воспроизводился на военно-материальном уровне.

Поэтому естественно, что в связи с провозглашением «нового мышления», ядром которого Горбачев первоначально назвал «приоритет выживания человечества», перед Генеральным штабом не могла не встать задача попытаться разорвать этот заколдованный круг. И Генштаб **по своей инициативе** еще в конце 1985 года (я знал об этом от маршала Ахромеева в приватном порядке) начал работать над обновлением советской военной доктрины. Тот, кто заинтересуется тем, как рождалась существенно новая военная доктрина, может узнать это из первых рук – Ахромеев подробно описал этот мучительный процесс в упомянутой выше книге «Глазами маршала и дипломата».

Я же, участвовавший в «дипломатической доводке» новой военной доктрины, остановлюсь здесь кратко только на двух ее важнейших элементах, имевших прямое отношение к «новому мышлению» и в позитивном, и в негативном значении этих слов.

Первое. Прежняя военная доктрина по своему содержанию охватывала сумму вопросов, которые требовали решения и воплощения в жизнь **на тот случай, если войну не удастся предотвратить**. Предотвращение же войны было коренной задачей внешней политики Советского государства. Теперь задача предотвращения войны становилась также неотъемлемой частью военной доктрины, что влекло за собой определенное изменение акцентов и в вопросах военного строительства.

Второе. В отличие от прежней военной доктрины, разработанной *Г. К.* Жуковым и его соратниками с учетом уроков Великой Отечественной войны и предусматривавшей, что в случае агрессии Вооруженные Силы СССР и его союзников должны не только остановить противника, но сразу же перейти в наступление, в новой доктрине – и в этом была главная ее новизна – предусматривалось, что в случае агрессии против СССР его вооруженные силы будут отражать нападение исключительно оборонительными операциями. Одновременно должны предприниматься политические меры для прекращения конфликта. И только если бы в течение нескольких недель войну остановить не удалось, тогда уже развертывались бы широкомасштабные действия по нанесению поражения агрессору. Это было действительно радикальное изменение военно-технической части советской военной доктрины, потребовавшее коренной ломки армии и флота, переосмысления многих стратегических и тактических истин, переподготовки командных кадров.

И все это было бы хорошо, **если бы** аналогичному пересмотру подверглась также военная доктрина США и в целом блока НАТО, которая в своей военно-технической части, как уже говорилось, была зеркальным отображением нашей.

Однако этого-то и не произошло. Если военная доктрина НАТО и претерпела какие-то изменения, то никак не в сторону большей оборонительности, а совсем наоборот. Свидетельств этому более чем достаточно: здесь и война в Персидском заливе, и агрессия на Балканах, и расширение НАТО на Восток.

Расцвет «нового мышления»

Отсутствие адекватных шагов со стороны НАТО в ответ на столь далеко идущие изменения в советской военной доктрине и в целом на «новое мышление» нисколько не вразумило Горбачева и Шеварднадзе. К нашей большой беде, «новое мышление» в редакции Горбачева – Шеварднадзе, как и перестройка в наших внутренних делах, чем дальше, тем больше превращалось в концептуальном плане в нечто, лишенное всякой логики, а в практическом – в фактическое предательство государственных интересов Советского Союза. Увлекшись рассуждениями о примате общечеловеческих ценностей и интересов, они перестали видеть и принимать в расчет все другие интересы, в том числе и прежде всего национальные. Выдавая желаемое за действительное, они повели себя так, будто весь мир, за

исключением нас, живет уже по общечеловеческим заповедям.

Со стороны Шеварднадзе предпринимались даже попытки подвести «теоретическую базу» под стремление выдавать желаемое за действительное. Так, в 1988 году его главный споуксмен в ответ на вопросы журналистов, на чем основывается оптимизм министра относительно скорого заключения Договора СНВ-1 (на деле до его заключения прошло еще три года), вполне серьезно заявил: «В такого рода ситуациях оптимизм – вещь хорошая. Он приводит в действие механизм самоисполняющегося предсказания». Над подобными «самоисполняющимися предсказаниями» можно было бы, конечно, просто посмеяться, если бы речь шла не о столь серьезных делах.

Ведь в реальной жизни иллюзиям Горбачева – Шеварднадзе насчет того, будто новый мировой порядок, основанный на общечеловеческих ценностях, если еще и не наступил, то находится где-то за первым поворотом, противостояла твердая неизменная линия США и других государств на отстаивание прежде всего и главным образом своих собственных интересов, сохранение и по возможности расширение сфер своего влияния в мире.

В этом отношении ни к 1985, ни к 2000 годам в политике США ни на йоту не изменилась установка, которую в 1965 году тогдашний государственный секретарь Раск цинично и четко сформулировал в своей директиве американским послам: «В политику США входят удержание и оказание помощи всем демократическим странам Запада в деле сохранения сфер влияния. Для осуществления этого иногда недостаточно играть в политику и демократию. Временами необходимо прибегать к применению силы. Правительство США неоднократно подвергалось критике за внешнюю политику, особенно в отношении Конго, Вьетнама и Южной Африки. Это объясняется тем, что именно в этих районах не было возможности для игры в политику и дипломатию. В целях сохранения своего международного престижа и противодействия Советской России и красному Китаю правительство США вынуждено было не обращать внимания на международные отклики, хотя некоторые **его акции носили характер явной агрессии** (выделено мною. – *Г. К.*)».

Установка осталась прежней, причем расширилась география ее практического применения. Если в1965 году Раск сделал акцент на странах Африки и Азии, то в последующие годы США не раз переходили от «игры в политику и дипломатию» к «акциям, носящим характер явной агрессии», и в других регионах мира, включая Европу. А чем отличается от того, что писал Раск

американским послам в 1965 году, скажем, следующее публичное заявление государственного секретаря Шульца в 1988 году: «Никарагуа – это не проблема в отношениях между США и Советским Союзом. Это наше, а не их полушарие. Мы не намерены оказываться в положении, когда на переговорах с Советским Союзом мы будем определять судьбу того, что происходит у нас по соседству». Видите ли, на карте мира нет района, который США не считали бы сферой своих интересов, в том числе все районы в непосредственной близости от СССР, а СССР, значит, не должен проявлять интереса к какой-либо проблеме, касающейся страны поблизости от США!

Между тем Горбачев и Шеварднадзе не просто тешили сами себя иллюзиями насчет нового мирового порядка. Нет, исходя из этих иллюзий, они проявляли поразительную покладистость, очень мягко говоря, при решении практических вопросов, в том числе затрагивавших коренные интересы Советского государства. Похоже было, они рассуждали до примитивности простенько: зачем «мелочиться», зачем «торговаться» – отстаивать ту или иную нашу позицию, если завтра мы все будем жить в «общеевропейском доме», а послезавтра вообще наступит «всеобщее благолепие».

О том, что Горбачев рассуждал примерно так, признал его помощник Черняев. Полемизируя со мной и американскими авторами, которые приводили свидетельства, как руководители США постоянно обводили вокруг пальца Горбачева и Шеварднадзе, он уличал нас в непонимании того, что Горбачев «шел к высокой цели», а «в игры не играл, хотя и видел все ходы и уловки американцев». Вот ведь как закрутил: американцы с ним **играли**, а он с ними **не играл**. Если перевести это на более понятный язык, то речь идет об «**игре в поддавки**». В норме это тоже небезынтересная и непростая игра, но лишь в том случае, если **обе** стороны стремятся как можно быстрее отдать друг другу свои фишки (т. е. позиции). Если же одна из сторон все время подставляет другой свои фишки, а та с удовольствием берет их, но вовсе не подставляет свои, то это действительно не игра, а просто добровольная сдача позиций.

Невозможно без стыда за наше тогдашнее руководство читать, скажем, мемуары бывших государственных секретарей США Шульца и Бейкера, которые с издевкой описывают, как на каждой встрече в верхах и на министерском уровне с нашей стороны, по образному выражению одного из них, к их, американцев, ногам клались все новые и новые уступки, а им приходилось только «потрудиться», чтобы наклониться и взять оные. После первой же встречи с Шеварднадзе Бейкер говорил

своим коллегам, что «советский министр казался почти просителем» и что «Советы нуждаются лишь в небольшом поощрении, чтобы вести дела по существу на западных условиях». Неудивительно поэтому, что тот же Бейкер, не соглашаясь с мнением Тэтчер о целесообразности в порядке поддержки Горбачева «встретить его на полпути», цинично заявил своему британскому коллеге: «Он идет по пути к нам. Так пусть же идет и дальше».

Это были не просто словесные упражнения Бейкера. В официальном документе Совета национальной безопасности США от 13 марта 1989 года было тоже зафиксировано, что американская политика должна быть нацелена на то, чтобы «не помогать Горбачеву, а обращаться с Советским Союзом так, чтобы толкать его в желательном для нас направлении».

Ущербность внешней политики Горбачева – Шеварднадзе во многом, помимо иллюзий насчет реальной политики Запада, объяснялась их пренебрежительным отношением к профессионализму.

То, что новым министром иностранных дел Горбачев предпочтет иметь не профессионала-дипломата, а политического назначенца, можно было предполагать. Было ясно, что Горбачев захочет сказать свое собственное слово во внешней, равно как и во внутренней, политике, поэтому естественно было ожидать, что он поставит на МИД своего единомышленника-непрофессионала.

Но на ком именно он остановит свой выбор, до последней минуты было неясно. И то, что его избранником стал Шеварднадзе, действительно оказалось неожиданным, хотя я не могу сказать, что в тот момент это было неприятной неожиданностью. Раньше я не знал Шеварднадзе сколько-нибудь близко, но слышал о нем много хорошего как о неординарном, интересном человеке, экспериментирующем в Грузии. Несколько смущало, правда, то, что принадлежал он к числу тех, кто в свое время особенно отличался славословием в адрес Брежнева. Меня лично немного насторожило и то, что при первом появлении в министерстве в беседе с заместителями он сделал акцент на том, что нам всем надо будет «работать, прежде всего, на Генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева». Такая персонификация резанула слух – я никогда в жизни не считал, что работаю «на кого-то», думалось, что мы должны работать ради общего дела. Но хотелось списать все это на южный темперамент нового министра. Во всяком случае, Шеварднадзе не мог пожаловаться на то, что старожилы высотного здания на Смоленской площади встретили его в штыки.

Надо сказать, что технику дипломатии новый министр

освоил довольно быстро. Что, к сожалению, стало вскоре бросаться в глаза и что впоследствии станет все более характерным для Шеварднадзе, так это недооценка им настоящего профессионализма в дипломатии, игнорирование дипломатических знаний и опыта, если только они не служили его представлению о целесообразности или нецелесообразности какого-то действия в данный момент.

Похоже было, Шеварднадзе рассчитывал, что привносимые во внешнюю политику новизна и смелость сами по себе перекроют любые изъяны в профессионализме. Он пытался даже теоретически обосновать такой свой подход, заявляя, что самый высокий профессионализм не может заменить правильной политической установки. Хотя эта формула, как таковая не вызывает сомнений, в ней заложена только половина правды, а вторая ее половина состоит в том, что даже самая правильная политическая установка, не будучи претворяема в жизнь на высоком профессиональном уровне, обычно либо остается декларацией, либо искажается. В то же время с помощью высокого профессионализма иногда может быть «дотянута» до кондиции, подкорректирована даже в чем-то неполноценная политическая установка.

Представляется также очевидным, что более смелая внешняя политика нуждается не в менее, а в более профессиональном ее претворении ее в жизнь. Только в этом случае можно рассчитывать на максимальную отдачу и вместе с тем свести к минимуму возможные ошибки, риск которых по понятным причинам потенциально более велик именно при более смелой политике. Это довод не против смелой внешней политики, а в пользу высокопрофессионального ее проведения.

Показательным для отношения Шеварднадзе к профессионалам является и такой факт: к концу его пребывания на посту министра в числе 25 членов коллегии министерства не осталось ни одного заведующего территориальными отделами, которые составляют костяк всякого дипломатического ведомства. Так что дело здесь не в том, что новый министр иностранных дел сам не был профессионалом – это и в других государствах не редкость, а скорее даже правило. Никаких проблем не возникает, когда политический назначенец, сознавая свои не только сильные, но и слабые стороны, стремится должным образом компенсировать их с помощью профессиональных знаний и опыта других. Но совсем иное дело, когда он предпочитает считать свою слабость чуть ли не добродетелью.

Так, в одном из своих выступлений в США Шеварднадзе, сославшись на безымянного советского деятеля культуры,

заявившего, что «искусству нужны дилетанты», в свою очередь выразил уверенность в том, что и делу дипломатии оказывают неоценимую услугу «люди, привносящие в профессиональное искусство, в том числе и в искусство политики, свежесть, непредвзятость, оригинальность суждений и взглядов». И сказано это было не в шутку и не между прочим – один присутствовавший при этом американский дипломат назвал всю речь Шеварднадзе «гимном дилетантам».

По правде говоря, мне лично кажется более резонной точка зрения другого деятеля культуры Станислава Рассадина, который, имея в виду воинствующих дилетантов в литературе, писал: «Непрофессионализм – не простая нехватка знаний и умения. Он, если угодно, позиция, которую с боем завоевывают и без боя не отдают. Потому что он – это возможность обходиться без правил и норм, которых строго придерживается профессионал, это род вседозволенности, наихудшей из свобод. Свободы от многого, в частности – от необходимости доказывать свою правоту». К искусству дипломатии сказанное Рассадиным относится, думаю, никак не меньше, чем к любому другому искусству. Пренебрежение профессиональной стороной дипломатии не может не приводить раньше или позже к существенным огрехам в политике.

К чему привело «новое мышление» в области разоружения

Вполне закономерно, что отрыв Горбачева и Шеварднадзе от реалий во внешней политике, прежде всего, сказался в недооценке ими того, что в современном мире военный фактор, военная мощь все еще играют важную роль и что уменьшать его удельный вес в международных делах можно и нужно совместными усилиями государств при обеспечении одинаковой безопасности для всех.

Дело дошло до того, что «новомышленцы» поставили под сомнение значимость достижения военно-стратегического паритета между СССР и США, хотя даже на Западе признавалось, что этот паритет сыграл стабилизирующую роль в деле предотвращения ядерной войны. В 1988 году на пленуме ЦК КПСС, на котором обсуждались тезисы к XIX партийной конференции, я выступил с критикой содержавшейся в этом документе негативной формулировки относительно паритета. В результате формулировка была несколько подправлена, но, как мне рассказывали другие члены Политбюро, мое выступление вызвало бурное негодование у Горбачева и Шеварднадзе и

предопределило мою отставку осенью того же года. А тот же Черняев в полемике со мной восклицал: «И вообще, – зачем он [паритет] нам нужен? Чтоб демонстрировать сверхдержавие, ублажать свои сверхдержавные амбиции, без чего наши люди ну просто спать спокойно не могут?» Надеюсь, если не ему, то другим сегодня уж точно понятно, что не будь у нас того самого паритета, нам бы устроили не одно Косово, в том числе и на нашей собственной территории.

Из подобного наплевательского отношения к военно-стратегическому паритету логично вытекала сверхуступчивость Горбачева и Шеварднадзе в вопросах разоружения. Весьма меткая суммарная оценка линии поведения Шеварднадзе в вопросах разоружения была дана газетой «Нью-Йорк таймс» вскоре после его ухода с поста министра иностранных дел. «Американские переговорщики, – писала газета, – признают, что их избаловали в те дни, когда очень услужливый г-н Шеварднадзе был министром иностранных дел и каждый спорный вопрос, похоже, решался так, что Советы уступали 80 %, а американцы – 20».

На деле же были случаи, когда это соотношение доходило и до 100: 0. К этому разряду относится, кроме «подаренной» американцам ракеты «Ока», о чем рассказывалось в главе 11, и история с Красноярской РЛС. В своем выступлении в Верховном Совете СССР в октябре 1989 года Шеварднадзе, коснувшись вопроса о Красноярской РЛС, заявил: «Четыре года мы разбирались с этой станцией. Нас обвинили в том, что она является нарушением Договора по противоракетной обороне. Не сразу руководству страны стала известна вся истина».

Не говоря уже о том, что он выставил себя и все руководство страны в неприглядном свете, утверждая, что потребовалось четыре года, чтобы разобраться в столь несложном вопросе, Шеварднадзе просто сказал неправду. Я сам докладывал ему истинную историю с Красноярской РЛС еще в сентябре 1985 года перед поездкой в США, назвав при этом помощнику министра номер официального документа за 1979 год по этому вопросу, для получения которого из ЦК было достаточно 30 – 40 минут. А те члены руководства, которые работали в здании ЦК, могли держать в своих руках этот документ уже через 5 – 10 минут после запроса.

Истина же заключалась в том, что решение о строительстве РЛС – системы предупреждения о ракетном нападении в районе Красноярска, а не гораздо севернее, в районе Норильска (что соответствовало бы Договору по ПРО), было принято руководством страны по соображениям экономии средств на ее строительство и эксплуатацию. При этом было проигнорировано

мнение руководства Генштаба, зафиксированное в упомянутом документе, о том, что строительство этой РЛС в районе Красноярска даст США формальные основания обвинять СССР в нарушении договора по ПРО. Другими словами, никто не вводил в заблуждение ни старое, ни новое руководство страны. Так что байка насчет четырехлетнего разбирательства в истинной истории Красноярской РЛС остается на совести Шеварднадзе.

Одним из важных аргументов сторонников принятия такого решения было и то, что США тоже действовали в нарушение Договора, развертывая аналогичные РЛС в Гренландии и Великобритании, то есть вообще вне своей национальной территории. В этой связи между представителями военных ведомств СССР и США на переговорах в Женеве было даже достигнуто сугубо неофициальное, джентльменское взаимопонимание «закрыть глаза» на эти обоюдные формально-юридические нарушения Договора по ПРО, как не затрагивавшие его сути.

Оставляя в стороне вопрос о том, было ли разумно в свое время принимать решение о строительстве Красноярской РЛС, основываясь на столь зыбкой почве, несомненным представляется то, что, когда США стали возражать против строительства Красноярской РЛС, решать вопрос о ее судьбе необходимо было только в совокупности с вопросом о судьбе аналогичных американских РЛС в Гренландии и Великобритании.

При достаточной настойчивости с нашей стороны можно было бы найти такое решение этой двуединой проблемы, которое позволило бы сторонам получить уверенность в том, что все упомянутые РЛС не будут иметь потенциал, не совместимый с целями Договора по ПРО, и будут действовать исключительно в интересах системы предупреждения о ракетном нападении. Основанием рассчитывать на возможность взаимоприемлемого решения служило то, что при отсутствии агрессивных намерений каждая сторона была объективно заинтересована в том, чтобы у другой стороны имелась максимально эффективно действующая система предупреждения о ракетном нападении. В противном случае существенно повышалась бы возможность возникновения неясных ситуаций, способных спровоцировать одну из сторон на опрометчивые действия с тяжелыми последствиями для обеих. Именно этим грозит отсутствие Красноярской РЛС, предназначавшейся для «просматривания» северо-восточного сектора, не перекрываемого другими нашими РЛС.

Однако в поисках наиболее легкого решения Горбачев и Шеварднадзе просто пожертвовали Красноярской РЛС, пообещав демонтировать ее и не обусловив этого аналогичными

действиями США в отношении их РЛС в Гренландии и Великобритании.

В Вашингтоне так привыкли к односторонним уступкам советских руководителей в вопросах разоружения, что, когда перед одним из приездов Шеварднадзе в США кое у кого там возник вопрос, не стоит ли пойти на некоторые компромиссы ради завершения работы над Договором СНВ-1, Бейкер решительно воспротивился этому, указав на то, что «на все недавние встречи Советы прибывали со своими собственными уступками в области контроля над вооружениями, так почему не позволить им сделать то же самое снова?» И он не ошибся: Шеварднадзе привез письмо Горбачева Бушу, «свидетельствовавшее о готовности Советов сделать новые уступки».

Неудивительно поэтому, что Договор СНВ-1 получился более выгодным для США, чем для СССР. В нем за равными цифрами для сторон скрывалось серьезное отступление от принципа равной безопасности сторон, который твердо отстаивался Советским Союзом до 1985 года. И что не менее важно – он оказался фактически оторванным от проблемы соблюдения сторонами Договора по ПРО. Горбачев и Шеварднадзе не добились включения соответствующей увязки в текст Договора СНВ-1. Более того, при его подписании не было даже сделано, как первоначально предусматривалось, нашего одностороннего заявления на высшем уровне о том, что в случае выхода США из Договора по ПРО или серьезного нарушения ими этого договора СССР будет считать себя свободным от обязательств по Договору СНВ-1. Дело ограничилось тем, что подобное заявление было сделано лишь на уровне рабочей делегации, причем в довольно слабой форме.

Это явилось логичным результатом того, что в процессе выработки Договора СНВ-1 неоднократно возникали по вине Шеварднадзе и его команды коллизии, подрывавшие нашу линию на обязательную увязку этого договора с вопросом о строгом соблюдении Договора по ПРО. Так, в ходе визита Горбачева в США в декабре 1987 года только благодаря твердой позиции маршала Ахромеева, тогда еще начальника Генштаба, Шеварднадзе не удалось склонить Горбачева (как и год тому назад в Рейкьявике) пойти на уступку американцам, возражавшим до последнего момента против внесения в заключительный документ встречи положения о «соблюдении Договора по ПРО **в том виде, как он был подписан в 1972 году**, в процессе осуществления исследований, разработок и при необходимости испытания, которые разрешаются Договором по ПРО». В конечном

итоге они согласились на такую формулировку в обмен на приемлемое для советской стороны изменение одной из цифр в проекте Договора СНВ-1.

Исходя из русского текста приведенной выше формулировки, Горбачев, сделавший по пути из Вашингтона в Москву остановку в Берлине, где собрались руководители стран Варшавского договора, заверил их, что ему в Вашингтоне удалось отстоять традиционное толкование Договора по ПРО и что это должно затормозить осуществление американской программы «звездных войн». В подобном же победном тоне была выдержана и информация об итогах вашингтонской встречи в этой части, разосланная МИДом по всему миру после возвращения делегации из Берлина в Москву.

Однако, как выяснилось буквально на следующий день, американцы, воспользовавшись снизившимся при Шеварднадзе профессиональным уровнем наших переговорщиков, пошли на очередную хитрость. Английский текст этой формулировки был составлен так, что грамматически точный перевод ее на русский язык должен был бы звучать не «испытания, **которые** разрешаются по Договору по ПРО», а «испытания, **каковые** разрешаются по Договору по ПРО». Иными словами, по-английски получилось, будто любые испытания, **как таковые**, то есть и в рамках программы СОИ, разрешаются Договором по ПРО.

Этой хитрости Шульца и Нитце, естественно не мог заметить Ахромеев, участвовавший в переговорах, но не владевший английским языком, а мидовские участники переговоров, которые были обязаны проследить за аутентичностью русского и английского текстов, то ли действительно тоже не заметили ее, то ли сделали вид, что не заметили в стремлении потрафить начальству ради благополучного завершения встречи.

Однако хитрость Шульца и Нитце оказалась шита белыми нитками: как только Рейган, основываясь на английском тексте упомянутой формулировки, публично заявил, будто Горбачев согласился в Вашингтоне с «расширительным» толкованием Договора по ПРО и тем самым сняты разногласия по вопросу СОИ, со стороны Горбачева последовало опровержение таких утверждений. И на возобновившихся вскоре переговорах в Женеве снова возник тупик в этом вопросе.

Тэлбот справедливо писал в этой связи: «Хотя, казалось, благодаря хитроумной уловке Шульцу и Нитце удалось исполнить хореографический менуэт для двух лидеров на встрече в верхах, это изящество вновь оборачивалось тупиком». По свидетельству Тэлбота, тогдашний председатель Комитета начальников штабов США адмирал Крау вполне резонно

«рассматривал эту загадочную, но критически важную фразу насчет СОИ и Договора по ПРО как уловку, пригодную, возможно, в качестве операции по взаимному спасению лица во время самой встречи в верхах, но не в качестве основы для возможного договора по контролю над вооружениями, который оказал бы сдерживающее воздействие на американские военные программы». На совещании со своими сотрудниками Крау предостерег их, что было бы «безумием делать эту формулировку из коммюнике основой договора по вопросам обороны и космоса».

А вот еще один пример того, как у мидовских переговорщиков, над которыми довлело желание начальства договориться с американцами как можно скорее, притуплялось профессиональное чутье. В интересах укрепления режима Договора по ПРО советскими военными было предложено согласовать перечень конкретных устройств, вывод которых в космос противоречил бы этому договору, если их технические критерии (параметры) превышают определенные величины. Названные нами при этом величины были определены таким образом, чтобы подобные же устройства, но с параметрами ниже этих величин не могли быть использованы в целях ПРО – только поэтому их можно было бы выводить в космос.

В ходе состоявшейся в сентябре 1987 года встречи министров в Вашингтоне американцы, не давая согласия даже на обсуждение этого нашего предложения, в то же время под предлогом его «уяснения» подвели своих собеседников к тому, что при изложении в совместном рабочем документе советской позиции по данному вопросу наши представители с благословения Шеварднадзе согласились с тем, чтобы она была сформулирована так, будто устройства с параметрами ниже установленных порогов можно было бы выводить в космос «в любых целях независимо от того, связаны они с ПРО или нет».

Это было подобно тому, как если бы в законе, запрещающем хранить и использовать – без специального на то разрешения – огнестрельное оружие крупнее определенного калибра, было добавлено, что оружие меньшего калибра «можно использовать в любых целях, в том числе для убийства человека». Когда я предложил одному из наших переговорщиков, допустивших указанный «ляп», подписаться под такой формулировкой, у него не поднялась рука сделать это. А применительно к Договору по ПРО поднялась.

Американцы, продолжая отказываться обсуждать наше предложение по существу, вместе с тем тут же использовали оплошность своих собеседников, не без основания заявив, что

рассматривают их согласие с приведенной формулировкой как «движение в направлении широкого толкования Договора по ПРО».

Подобные «проколы», конечно, подрывали нашу прежнюю позицию, не допускавшую никаких двусмысленностей в отношении Договора по ПРО.

На беду России ее новые творцы внешней политики в лице Ельцина и Козырева в вопросах разоружения пошли по стопам Горбачева и Шеварднадзе. В подписанном в 1993 году Договоре СНВ-2 практически уже и не пахло принципом равной безопасности. Более того, США навязали России то, чего они безуспешно пытались добиваться от Советского Союза на протяжении всех переговоров по стратегическим вооружениям начиная с 1969 года: ломку исторически сложившейся и наиболее целесообразной для нашего государства с учетом многих факторов структуры его стратегических сил.

И подобно Договору СНВ-1, Договор СНВ-2 был подписан без необходимой увязки со строгим соблюдением Договора по ПРО. Лишь в 1997 году, в бытность министром иностранных дел Е. М. Примакова, удалось в известной мере подправить ситуацию, когда в одном из совместных российско-американских документов была подтверждена «приверженность сторон Договору по ПРО, являющемуся краеугольным камнем стратегической стабильности». Определенное положительное значение имеет и то, что в Федеральном законе от 14 апреля 2000 года о ратификации Договора СНВ-2 зафиксирована обусловленность реализации российских обязательств по этому договору строгим соблюдением обеими сторонами Договора по ПРО. Хорошо и то, что в этом же законе, а также в постановлении Государственной думы «Об обеспечении поддержания боевой готовности и развития стратегических сил Российской Федерации» предусматриваются кое-какие меры, которые в случае их реализации смогли бы хоть в какой-то степени нейтрализовать ущербность Договора СНВ-2 для России. Однако перспективы ратификации Соединенными Штатами Договора СНВ-2 и связанного с ним пакета документов 1997 года остаются довольно туманными.

А тем временем в США снова возрождаются планы создания национальной системы ПРО и в этой связи предпринимаются попытки уговорить российскую сторону «модернизировать» соответствующим образом Договор по ПРО, угрожая в противном случае односторонним выходом США из договора.

То, что руководство России не поддается этим уговорам и

угрозам, отрадно. Но настораживает, что в России раздаются и голоса, рассуждающие так: все равно, мол, американцы не отступятся от своих планов, а поэтому нам надо идти на компромисс, «пока не спущен курок». Точно так же рассуждали те, кто в 1986 году в Рейкьявике, а в 1987 году в Вашингтоне подталкивали Горбачева пойти навстречу Рейгану, доказывая, что он все равно не откажется от «расширительного» толкования Договора по ПРО и от своей программы «звездных войн». А ведь вынужден был отказаться! Пусть не столько из-за позиции Москвы, которая не всегда была достаточно четкой и последовательной, а из-за внутренней оппозиции. Но все же сторонникам сохранения Договора по ПРО было бы гораздо сложнее одержать верх над его противниками, если бы Горбачев поддался уговорам и благословил план Рейгана.

Не выдерживает критики и другая аргументация тех, кто ратует за «модернизацию» Договора по ПРО, которая позволила бы США развернуть национальную систему ПРО. В качестве контрдовода тезису о том, что строгое соблюдение Договора по ПРО является критически важным для поддержания стратегической стабильности, выдвигается тезис, будто стратегическая стабильность зиждется просто на «паритете взаимного уничтожения», а «Договор по ПРО – лишь один из элементов, фиксирующих данную реальность». Авторы этого тезиса либо сознательно затуманивают мозги другим, либо действительно сами не понимают, что без Договора по ПРО **в его нынешнем виде** не станет и существующего стратегического паритета, обеспечивающего эффект взаимного уничтожения. В случае развертывания американцами национальной системы ПРО этот паритет будет радикально нарушен в силу тех же законов логики, о которых говорилось раньше и которые подвигли руководителей СССР и США на заключение Договора в 1972 году как **бессрочного**.

И то, что спустя 25 лет после заключения Договора по ПРО, в сентябре 1997 года Россия и США подтвердили, что договор «является краеугольным камнем стратегической стабильности», служит лишним свидетельством того, что за четверть века законы логики не изменились. За последующие три года с тех пор тоже не произошло ничего такого, что могло бы превратить «краеугольный камень» в «лишь один из элементов». Если можно понять, почему кое-кому в США хочется сломать Договор по ПРО, то мотивы наших доброхотов, желающих помочь им в этом, не поддаются рациональному объяснению.

Возвращаясь к бесхребетной линии Горбачева – Шеварднадзе

в вопросах разоружения, необходимо подчеркнуть, что она не только привела к неоправданным перекосам в решении конкретных вопросов в ущерб интересам Советского Союза, но и деформировала саму основу равенства, которая была создана усилиями нашего народа и позволяла закончить «холодную войну» достойно, к взаимной выгоде сторон.

Германская дилемма

С этих же позиций я подхожу и к оценке того, как произошло объединение двух германских государств – ФРГ и ГДР, а точнее говоря, включение второго в состав первого, что юридически состоялось 3 октября 1990 года.

Я не ставил и не ставлю под сомнение право немецкого народа жить в едином государстве, если такова его воля. Это так или иначе должно было когда-нибудь произойти. Но Советское государство имело и исторические, и моральные, и международно-правовые основания сказать свое весомое слово в том, что касалось путей объединения двух германских государств и статуса объединенной Германии. Это его право вытекало не только из Потсдамских соглашений, но и из статьи 107 Устава ООН.

Была здесь определенная почва и для политического взаимодействия СССР с Англией и Францией в плане более полного учета законных интересов трех стран при объединении Германии. О том, что в Западной Европе вообще не всех радовала перспектива объединения Германии, свидетельствовало, например, следующее заявление известного итальянского деятеля Андреотти: «Мы все согласны с тем, что должны существовать хорошие отношения между двумя Германиями. Но не следует перегибать палку в этом направлении. От пангерманизма следует отказаться. Существуют два германских государства, и эти два государства следует сохранить».

К несчастью, когда к концу 1989 года этот вопрос встал в повестку дня международной жизни, Горбачев и Шеварднадзе оказались абсолютно неспособными правильно оценить складывавшуюся ситуацию, своевременно разработать с помощью профессионалов и последовательно осуществлять нашу линию в германских делах. У Горбачева не было позиции по Германии ни при встрече с Миттераном в ноябре 1989 года в Киеве, куда тот прилетал специально обсудить этот вопрос, ни при встрече с Бушем в декабре того же года на Мальте. В изложении Горбачева советская позиция по вопросу объединения Германии в ту пору

сводилась к общим фразам насчет того, что при этом должны учитываться интересы безопасности других государств. Каким образом они должны учитываться, не расшифровывалось. Не говорилось, что вхождение объединенной Германии в НАТО было бы несовместимо с интересами безопасности Советского Союза.

И уж совсем непростительно, что даже к встрече с канцлером ФРГ Колем в начале февраля 1990 года в Москве у Горбачева все еще не было четко разработанной и коллективно одобренной советским руководством позиции на этот счет. Буквально накануне переговоров с Колем, намеченных на 10 февраля, Горбачев в беседе с госсекретарем США Бейкером сам сказал ему, что он еще только собирался провести «семинар» по Германии в поисках идей для решения этой проблемы. Улетая из Москвы, Бейкер оставил в посольстве ФРГ для Коля письмо, в котором сориентировал его, сообщив об отсутствии у советского руководителя позиции по германским делам.

В беседе с Колем Горбачев стал импровизировать, причем, к удивлению самого Коля, из этих импровизаций вытекало, как напишет потом в своей книге помощник канцлера Тельчик, что «канцлер может взять дело объединения Германии в свои собственные руки». И далее: «Моя рука встрепенулась, чтобы точно записать каждое слово, ничего не прослушать и не упустить, что было существенно или могло привести к недопониманию. Внутри все ликовало. Это триумф! Триумф для Коля, который войдет в историю, как канцлер германского единства».

Будучи вдохновлен таким поворотом в разговоре, Коль решил ковать железо, пока оно горячо, и спросил Горбачева и Шеварднадзе, как они отнесутся к вхождению объединенной Германии в НАТО. И его окончательно воодушевило то, что он не услышал от них ясного отрицательного ответа – они отделались туманными, двусмысленными рассуждениями.

После этого – **и только после этого** – при встрече Буша и Коля 24–25 февраля 1990 года в Вашингтоне ими было решено твердо настаивать на полноформатном вхождении объединенной Германии в НАТО. Об этом откровенно скажет Буш: «Пять месяцев назад, в феврале, канцлер Коль и я пришли к единому мнению относительно того, что объединенной Германии следует сохранить полное членство в Организации Североатлантического договора, включая ее военную структуру».

Между тем раньше, до визита Коля в Москву, руководство США, как и руководство ФРГ, по словам Тэлбота, «не исключало возможности того, что Германия сможет в конечном счете иметь несколько более аморфные связи с Североатлантическим союзом,

чем полное членство, возможно, по примеру Франции, которая связана с НАТО политически, но не в военном плане».

Однако даже такая реально существовавшая, как мы видим, возможность была упущена нашими тогдашними руководителями. Только в марте 1990 года, то есть уже после того как западные державы, видя бесхребетность Горбачева, утвердились в своей решимости включить объединенную Германию в НАТО, из Москвы стали исходить заявления о неприемлемости этого для Советского Союза. И только 14 марта была изложена в форме Заявления МИД СССР более или менее разработанная советская позиция по вопросам, связанным с объединением Германии.

Но было слишком поздно, тем более что после состоявшихся 18 марта выборов, в результате которых к власти в ГДР пришло новое правительство во главе с Мезьером, переговоры по германским делам по формуле «4 + 2» (СССР, США, Англия, Франция + ФРГ и ГДР) очень скоро превратились в переговоры «5 – 1», то есть СССР остался на них в полном одиночестве. Не могли помочь делу и начавшиеся импровизации с нашей стороны в диапазоне от «нейтрализации» Германии (что было, конечно, нереалистично) до включения ее в оба союза – НАТО и ОВД (что было просто глупо, тем более в условиях, когда дни ОВД были сочтены).

Не услышав в нужный момент от советских руководителей «нет» включению объединенной Германии в НАТО, западные лидеры теперь планомерно дожимали Горбачева и Шеварднадзе, чтобы получить от них ясное «да». Очередной нажим в этом плане был оказан Бушем на Горбачева во время визита последнего в США в конце мая – начале июня 1990 года. Не говоря по-прежнему твердо «нет» и не решаясь еще сказать прямо «да», Горбачев начал опять импровизировать. И опять не слишком умно, задав в какой-то момент риторический вопрос: «А не предоставить ли немецкому народу возможность самому решить, быть ему или не быть в НАТО?» Поймав Горбачева на слове, Буш тут же спросил, готов ли он повторить только что сказанное публично. И Горбачев в знак согласия кивнул головой. Только благодаря тому, что против этого запротестовал присутствовавший на беседе В. М. Фалин, точка над «i» тогда не была поставлена – Горбачев предложил, чтобы этот вопрос дополнительно обсудили Шеварднадзе и Бейкер.

А дальше случилось то, что всегда случается, когда, как говорится, стеречь капусту ставят козла. Уже через неделю при встрече с Бейкером в Копенгагене 5 июня Шеварднадзе, по свидетельству очевидца, «сделал еще один гигантский шаг в

направлении согласия Советского Союза с объединением Германии в рамках НАТО, заявив, что объединенная Германия будет, конечно, свободна выбирать себе союзы». Согласно тому же свидетелю, «Бейкеру с трудом удалось сдержать свое ликование». Сразу же после этого разговора с Шеварднадзе, кончившегося поздно вечером, Бейкер позвонил Геншеру и, хотя тот уже спал, попросил разбудить его, чтобы обрадовать такой приятной новостью. Вслед за этим он обрадовал и своего президента Буша.

А когда Шеварднадзе при очередной встрече с Бейкером в Берлине 22 июня попытался немного отойти от сказанного им в Копенгагене, тот тут же его отчитал: «Я сказал своему боссу, что вы, ребята, уже согласны, а теперь вы даете задний ход». В ответ Шеварднадзе извиняющимся тоном, «почти как ягненок», стал оправдываться, говоря, что изложенная им на сей раз позиция – это «не мое и не Горбачева заявление, а предписание Политбюро».

Но и этим зигзагам скоро пришел конец, когда во время пребывания Коля в июле 1990 года в СССР Горбачев самолично дал официальное добро на полноформатное вхождение объединенной Германии в НАТО. Узнав об этом, известный западногерманский деятель Эгон Бар с удивлением воскликнул: «Откровенно говоря, я поражен согласием Горбачева на включение Германии в НАТО… Можно сказать, что Североатлантическим союзом одержан величайший триумф».

Вряд ли поэтому можно удивляться, что один из журналистов, сопровождавший Коля на обратном пути в Бонн, писал: «Сказать, что Коль был доволен переговорами, – значит не сказать ничего. Коль светился от удовольствия». Неудивительно и то, что Буш считал самым важным своим свершением в ведении дел с Советским Союзом то, что он «завлек и нацелил Горбачева на преодоление его собственного нежелания видеть Германию в НАТО и сильной оппозиции такому решению внутри СССР».

Факт согласия Горбачева на то, что еще незадолго до этого он называл «нарушением баланса в стратегической зоне мировой политики», наши «новомышленцы» пытались объяснить в основном двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что ФРГ в лице Коля взяла обязательство не размещать на территории бывшей ГДР иностранные войска и соответственно не допускать туда ядерное оружие. Во-вторых, тем, что Коль пообещал, что общая численность бундесвера не будет превышать 370 тысяч человек, а это, дескать, почти в два раза меньше общей численности вооруженных сил ФРГ и ГДР до их объединения.

Неразмещение иностранных войск и ядерного оружия на территории Восточной Германии – это, допустим, хорошо. Но в условиях самороспуска ОВД и ухода советских войск не только из

Восточной Германии, но также из Венгрии, Польши, Чехии и Словакии не мог не возникать вопрос: почему, собственно, при этом должны оставаться иностранные войска и тем более ядерное оружие на территории Западной Германии?

Что касается того, что численность бундесвера будет ограничена 370 тысячами человек и что это якобы означает сокращение чуть ли не вдвое суммарной численности армий ФРГ и ГДР до их объединения, то этот аргумент вообще логически несостоятелен. Ведь раньше-то эти две армии находились по разные стороны баррикады. Следовательно, суммировать их неправомерно. Логика скорее требует, чтобы из прежней численности бундесвера (495 тысяч человек) была вычтена численность прежней армии ГДР (173 тысячи человек). Стало быть, у бундесвера должно было бы остаться не более 322 тысяч, а не 370 тысяч человек.

Таким образом, представляется несомненным, что в критически важный момент Горбачев и Шеварднадзе оказались без тщательно взвешенной, достаточно гибкой и вместе с тем твердой последовательной позиции в германских делах. А это не только повлекло за собой многие практические негативные последствия, связанные, в частности, с необходимостью в сжатые сроки вывести советские войска из Германии, но и действительно нарушило баланс в стратегически важном звене мировой политики.

Сами по себе внутренние перемены в ГДР и в других странах Восточной Европы, начавшиеся вслед за перестройкой в Советском Союзе, пошли более быстрыми темпами, чем в СССР, по пути реставрации капитализма.

Конечно, многое объясняла не такая уж долгая история возникновения и становления в этих странах социалистического строя. То, что страны Восточной Европы были освобождены от немецкой оккупации войсками Советского государства, выдержавшего испытание на прочность во Второй мировой войне, несомненно, объективно привело к укреплению и расширению просоциалистических сил и настроений в этих странах. Но, оглядываясь назад на послевоенное развитие восточноевропейских стран, приходилось делать вывод, что для большинства их населения социалистический выбор в свое время стал в лучшем случае «осознанной необходимостью» в сложившихся тогда исторических обстоятельствах. Он не был велением ума и сердца.

В то же время, анализируя ход событий в Советском Союзе и в странах Восточной Европы начиная с 1985 года, нельзя не

заключить, что не меньшее, а быть может, еще большее значение для не лучших с нашей точки зрения перемен в Восточной Европе имело то, как развертывалась перестройка в Советском Союзе.

Одно дело, если бы народы Восточной Европы видели, что советские коммунисты, провозгласив перестройку, планомерно идут по пути действительного обновления социализма и что у них это, хотя и не без сложностей, получается и в политической, и в экономической областях. Что все плохое, с чем ассоциировалась советская модель социализма, постепенно уходит, а тем временем становятся ощутимыми, пусть для начала небольшие, сдвиги к лучшему в повседневной жизни советских людей как в духовной, так и в материальной сферах. Наверное в этом случае, и только в этом, были бы какие-то шансы на то, что народы Восточной Европы предпочли бы пойти по такому же пути, не отвергая, а сохраняя то положительное, что все же было в их послевоенной жизни.

И совсем другое дело, когда люди в соседних странах увидели, что среди самих советских коммунистов начались разброд и шатания. Одни говорили о перестройке в рамках социалистического выбора, но сами не могли даже на словах объяснить, что это такое, и тем более не знали, как сделать это на практике. Другие же фактически стали отрекаться от своего прежнего мировоззрения и все более открыто переходили на позиции реставрации капиталистического строя. И главное – жизнь советских людей тем временем становилась все хуже и хуже практически во всех отношениях, кроме одного – возможности говорить и писать все, что придет в голову.

Не приходилось удивляться тому, что, имея перед глазами такую перестройку в Советском Союзе, среди восточноевропейцев возобладали настроения в пользу того, чтобы не экспериментировать дальше, а повернуть назад – к тому образу жизни, который еще не выветрился из их памяти, да и все время оставался у них под боком, особенно у жителей Восточной Германии. Стало быть, если говорить о произошедших переменах в политической и социально-экономической системах стран Восточной Европы, то – нравится это кому-то или нет – предотвратить их Советский Союз не только не имел ни формального, ни морального права, но и объективно не мог при том положении, в котором он сам оказался в результате своей собственной перестройки.

О Персидском заливе и не только о нем

Еще одной важной областью мировой политики, где линия Горбачева – Шеварднадзе привела к далеко идущим негативным последствиям для нашего государства, явились вопросы, касающиеся «третьего мира». Лично я всегда считал, что Советский Союз во многих случаях зря втягивался в соперничество с США в странах «третьего мира», а подчас и во внутриполитическую борьбу в этих странах. Но Горбачев и Шеварднадзе кинулись в другую крайность, дав Соединенным Штатам карт-бланш для действий в «третьем мире» в качестве мирового жандарма, да еще превратили СССР в их помощника, если говорить, например, о событиях в районе Персидского залива.

В связи с событиями там еще в 1988 году, а затем в конце 1990 – начале 1991 года стоит снова вернуться к вопросу о профессионализме в политике. В своем докладе на научно-практической конференции в МИД СССР 25 июля 1988 года Шеварднадзе, говоря о продолжавшейся тогда ирако-иранской войне и о появлении в этой связи в Персидском заливе военно-морской армады США, сказал: «Выстраивались возможные варианты развития событий, но ни один из них не прогнозировал массированного американского присутствия в Персидском заливе. Просчет? Несомненно».

Просчет действительно был, но состоял он вовсе не в том, что никто не прогнозировал тогда, в 1988 году, массированного военно-морского присутствия США в Персидском заливе. Это не так. Просчет, причем серьезный, состоял в том, что наши собственные неразумные действия если не явились причиной, то во всяком случае существенно содействовали тогда такому развитию событий.

Последовательность событий была такова. В связи с тем что Иран препятствовал транспортировке нефти из Кувейта, правительство последнего обратилось вначале к правительству США с просьбой обеспечить ее транспортировку под охраной американских военных кораблей. Прозондировав позиции руководителей конгресса, Белый дом уклонился от такого рискованного шага. После этого кувейтцы обратились с аналогичным предложением к Советскому правительству.

С коммерческой точки зрения, предложение было весьма заманчивым, за что и ухватились наши хозяйственники. Вот здесь-то и должно было бы сказать свое веское слово внешнеполитическое ведомство. Профессионалам было абсолютно ясно, что США не потерпят нашего одностороннего военно-морского присутствия в Персидском заливе и пересмотрят свое прежнее решение. Во всяком случае я высказывал такие

предостережения, и они доводились до сведения Шеварднадзе через его заместителя, но были им проигнорированы. А дальше произошло то, что не могло не произойти.

Но впереди были еще более серьезные просчеты, на этот раз в связи с агрессией Ирака против Кувейта в августе 1990 года. Первый из них состоял в том, что, когда до вторжения иракских войск в Кувейт оставались лишь часы, о вероятности чего советского министра предупредил государственный секретарь США Бейкер при встрече с ним 2 августа в Иркутске, Шеварднадзе, по его собственному признанию, «почти исключил дальнейшие осложнения». Он, по его словам, не ожидал, что иракцы пойдут на открытую агрессию в отношении беззащитной миролюбивой страны.

Между тем в сложившейся к началу августа ситуации ни один из серьезных арабистов, которых в МИДе было немало, не стал бы исключать или «почти исключать» возможность агрессии Ирака против Кувейта. Стало быть, либо их знания и опыт вообще не были востребованы, либо их мнения были проигнорированы.

Когда агрессия стала свершившимся фактом, у меня не было сомнений в правильности того, что Советский Союз проголосовал за резолюцию Совета Безопасности 660 от 2 августа 1990 года, осуждавшую Ирак за вторжение в Кувейт и потребовавшую незамедлительного и безусловного вывода его войск из этой страны. Правильным, на мой взгляд, было и то, что СССР словом и делом поддержал последующие решения Совета Безопасности о применении экономических и иных невоенных санкций в отношении Ирака ввиду невыполнения им резолюции 660.

Сомнения в правильности нашей линии не могли не появиться тогда, когда возник вопрос о возможности применения против Ирака военной силы. Сразу же после захвата Ираком Кувейта США по просьбе правительства Саудовской Аравии, которой грозила та же участь, направили в эту страну свои войска и стали подтягивать в Персидский залив военно-морской флот. Однако при этом администрация Буша публично заверяла, что целью пребывания там американских вооруженных сил являлось обеспечение экономической блокады Ирака и недопущение с его стороны новых агрессивных акций, а не прямое использование этих сил для изгнания иракских войск из Кувейта и тем более нанесения удара по самому Ираку.

И в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября президент США не заикнулся о применении военной силы против Ирака. Наоборот, он подчеркнул, что «военная сила никогда не будет применена. Мы стремимся к мирному исходу, такому, который был бы достигнут

дипломатическими средствами». Такая линия администрации США в тот период объяснялась наличием в стране сильных опасений насчет того, как бы прямое вовлечение США в военные действия в зоне Персидского залива не привело к «новому Вьетнаму».

И вот в этой ситуации первым о возможности применения силы против Ирака заговорил с трибуны ООН тогдашний советский министр иностранных дел Шеварднадзе. Конечно, и без его подсказки США сами пришли бы вскоре к тому же. Но американские политики, считавшие целесообразным и возможным добиваться ухода Ирака из Кувейта путем продолжения и при необходимости наращивания экономических и иных санкций, но без использования вооруженных сил, прямо говорили мне, что заявления советского министра помогали не им, а скорее тем, кому не терпелось разделаться с Ираком, не останавливаясь перед войной.

И когда США, вопреки своим недавним заверениям об обратном, официально поставили вопрос о принятии Советом Безопасности резолюции, разрешающей использование военной силы против Ирака, Шеварднадзе стал их верным помощником в проталкивании такого решения. Дело дошло до того, что, когда в октябре в Вашингтон в качестве личного представителя Горбачева, который еще колебался в этом вопросе, вылетел Примаков, чтобы попытаться отговорить Буша от курса на войну против Ирака, Шеварднадзе по своим каналам дал знать Бейкеру о своем неодобрительном отношении к миссии Примакова. По грубому, но по сути верному выражению близкого к Бейкеру работника госдепартамента, они расценили полученный от Шеварднадзе сигнал как его рекомендацию «насрать на все, что будет говорить Примаков». Поведавшие эту закулисную историю журналисты, пишут: «Это был еще один рубеж в отношениях между двумя странами. Советский министр иностранных дел и государственный департамент учиняли заговор, чтобы подорвать миссию специального эмиссара Кремля». Пожалуй, это был действительно «еще один рубеж», но не в отношениях между нашими странами, а в «грехопадении» Шеварднадзе, не остановившегося пред шагом, который мог быть квалифицирован, по сути, как сговор с иностранным государством за спиной и против главы своего государства.

Можно ли было после этого удивляться тому, что миссия Примакова не увенчалась успехом и развитие событий пошло по руслу, угодному руководству США и его лучшему другу Шеварднадзе.

Конечно, ввиду упорного отказа Ирака уйти из Кувейта в

принципе возникала необходимость в оказании дополнительного давления на него, в частности путем принятия новой резолюции Совета Безопасности. Задача, однако, состояла в том, чтобы сделать резолюцию такой, которая, с одной стороны, служила бы серьезным дополнительным средством давления на Ирак, а с другой – не канализировала бы все усилия в военную плоскость, не делала бы применение вооруженных сил неизбежным. Другими словами, речь шла о создании ситуации, когда над Ираком был бы подвешен дамоклов меч, но не было бы необратимости и автоматизма в его использовании. Сказать это, разумеется, легче, чем сделать. Но в том и состоит непростое политическое и дипломатическое искусство, если не сводить его к высокопарной риторике.

Вместо этого, однако, Совет Безопасности по настоянию США и при личном участии Шеварднадзе принял резолюцию 678, главное смысловое положение которой гласило, что Совет Безопасности «уполномочивает государства – члены ОНН, сотрудничающие с правительством Кувейта, если Ирак на 15 января 1991 года или до этой даты полностью не выполнит, как предусматривается в пункте 1 выше, упомянутой резолюции, использовать **все необходимые средства,** с тем чтобы поддержать и выполнить резолюцию 660 (1990) и все последующие соответствующие резолюции и восстановить международный мир и безопасность в этом районе».

Уже одно то, что в резолюции устанавливался конкретный ультимативный срок (15 января), делало войну практически неизбежной. Так и произошло. Авторы резолюции (а в их числе оказался и СССР) сами себе связали руки в смысле ее предрешенности. Главное же – тот факт, что Совет Безопасности разрешил, вернее даже уполномочил государства антииракской коалиции использовать при этом **все необходимые средства**, означал предоставление им полной свободы рук в выборе таких средств.

Поскольку в резолюции не было обозначено никаких ограничений на этот счет, то, реши США применить ядерное или другое средство массового уничтожения, они и в данном случае формально были бы вправе говорить, будто это разрешено Советом Безопасности. Оставляя в стороне эту и другие гипотетические ситуации (хотя авторы резолюции обязаны были исключить малейшую возможность вольного ее толкования), а имея в виду то, что реально произошло после 15 января 1991 года, невозможно не прийти к выводу: масштабы и характер военных действий США и их союзников против Ирака вышли далеко за рамки задачи освобождения территории Кувейта.

В этом отношении трудно было не согласиться с характеристикой, которую дала западногерманская газета «Цайт»: «Что касается адекватности средств, то полагать, будто жертвы среди иракцев не были крупными, по меньшей мере наивно, все эти рассуждения не могут опровергнуть одного: степень жестокости по отношению к гражданскому населению, а затем – и к разбитой иракской армии превзошла все допустимые пределы, в ней не было нужды. Террор, который палачи Саддама насаждали в оккупированном Кувейте, – это факт. Но непреложным фактом остается также и террор воздушной войны, разыгравшейся на глазах багдадских детей. Половина нефтедобывающих объектов Ирака уничтожена бомбами, три четверти электростанций лежат в руинах, водоснабжение в городах не функционирует. Было ли это логичным и адекватном ответом? И допустимо ли было превращать в «поле смерти» возвышенность Мутла, по которой иракские войска отступали из Кувейта в Басру? Можно ли превращать битву в бойню? Была ли необходимость в столь резком наращивании мощи воздушных бомбардировок иракских городов именно в последние дни войны? Жертвы еще долго останутся на совести полевых генералов и командиров авиации союзников».

Единственное, с чем здесь нельзя согласиться, так это с тем, будто ответственность за содеянное лежит только на полевых командирах. Для того чтобы удостовериться в этом и вообще лучше понять замысел военных действий США против Ирака, достаточно послушать тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Скаукрофта, который откровенно заявил следующее: «Нынешняя война была исключительно удобной для использования мощи, которую мы создали для другой войны, войны в Западной Европе. Она позволила нам испытать нашу технику, наши концепции войны с воздуха и на суше и т. д.». Сказано цинично, но правдиво.

А все упреки относительно того, что их действия вышли за рамки мандата Совета Безопасности, США не без формальных оснований отводили ссылками на по существу «безразмерные» формулировки резолюции 678. И действительно, сами рамки мандата были определены настолько широко и нарочито расплывчато, что США и их союзники получили возможность помещать в эти рамки все, что им заблагорассудится. С этой точки зрения указанная резолюция вполне заслуживала включения в учебники по дипломатии в качестве образца того, как не должны формулироваться столь ответственные документы.

Приводились доводы насчет того, что, не дай мы согласия на такую резолюцию Совета Безопасности, США все равно

предприняли бы военные действия против Ирака, но сделали бы это не под эгидой ООН, что было бы, дескать, еще хуже, поскольку у них была бы полная свобода рук. Довод, казалось бы, резонный, но он не бесспорный. Достаточно вспомнить, каких трудов стоило Бушу, уже имея карт-бланш от ООН, добиться согласия от конгресса США на использование вооруженных сил в районе Персидского залива; он получил его только 12 января 1991 года, за три дня до истечения предъявленного Ираку ультимативного срока, причем в сенате за предоставление президенту такого права проголосовало немногим более половины его состава (52 против 47 сенаторов). Ясно, что получить согласие конгресса на начало военных действий не по мандату Совета Безопасности, а самочинно Бушу было бы гораздо труднее, если бы вообще удалось его получить. Что же касается свободы рук в ведении военных действий, то, как все видели, она оказалась у США практически полной и при той резолюции Совета Безопасности, добиться которой им помог Шеварднадзе.

Поначалу я, по правде говоря, думал, что, соглашаясь на включение в резолюцию Совета Безопасности формулировки «использовать все необходимые средства», Шеварднадзе не отдавал себе отчета в том, как ею могут воспользоваться Соединенные Штаты, иначе, казалось, он не стал бы брать грех на душу. Но, как выяснилось, дело обстояло не совсем так. В ходе встречи с Бейкером в Париже 18 ноября 1990 года, когда последний впервые предложил эту формулировку, Шеварднадзе тут же согласился с ней. А когда Бейкер, поразмыслив, засомневался, не слишком ли она неопределенна и не стоит ли ее конкретизировать, Шеварднадзе многозначительно сказал: «США знают, что означает «все необходимые средства».

Вслед за этим он передал Горбачеву конфиденциальную записку, в которой обосновывал важность того, чтобы СССР поддержал принятие Советом Безопасности резолюции с указанной формулировкой. Заручившись одобрением Горбачева, Шеварднадзе вылетел в Нью-Йорк, чтобы принять личное участие в проталкивании этой резолюции.

Шеварднадзе и сам в своей книге, вышедшей в 1991 году, писал, что, голосуя за резолюцию 678, он «очень хорошо представлял», что «никаких ограничений на применение силы против Ирака не будет, поскольку резолюция 678 не устанавливает их». И все происшедшее после ее принятия он считает совершенно правильным. Настолько правильным, что применительно к данной ситуации он даже не приемлет термин «война». Это, по его словам, была всего лишь «военная акция», санкционированная Советом Безопасности.

Правда, незадолго до этого в интервью японской газете «Асахи» на вопрос: «Что вы думаете о войне в Персидском заливе?» – Шеварднадзе ответил: «Война была оправдана до тех пор, пока она велась в рамках резолюций ООН». Как видим, он и войну называл войной, и признавал, что с каких-то пор она вышла за рамки резолюций ООН. Такая чересполосица в его суждениях и высказываниях была не редкостью.

Так или иначе, Шеварднадзе сам напрашивался на то, чтобы попасть в число тех, на чьей совести сотни тысяч иракцев, погибших в результате того, что в Вашингтоне решили не ограничиться выдворением Ирака из Кувейта, а использовать Ирак в качестве полигона для испытания новейших видов оружия и концепций ведения войны, разработанных, по признанию Скаукрофта, «для другой войны, войны в Западной Европе». Пройдет несколько лет, и Соединенные Штаты не остановятся перед тем, чтобы избрать в качестве очередного полигона Балканы.

Тем самым Шеварднадзе, наряду с Горбачевым, взял на себя ответственность и за то, что означало такое подыгрывание Соединенным Штатам с точки зрения подрыва государственных интересов Советского Союза не только в данном регионе, но и ослабления его самостоятельной роли в мировых делах в целом.

О Курильских островах

Серьезный ущерб государственным интересам Советского Союза, а соответственно, России был нанесен Горбачевым и Шеварднадзе начавшимся при них «размягчением» дотоле твердой позиции в отношении притязаний Японии на четыре южные острова Курильской гряды. А Ельцин и Козырев продолжили их линию. Более того, Ельцин еще в начале 1990 года без всяких на то полномочий, в попытке обойти Горбачева в «новом мышлении», будучи в Токио, выдвинул свой собственный план решения несуществующего вопроса. По западным политическим меркам, это было вообще недопустимым шагом. В тех же Соединенных Штатах политики издавна придерживаются правила, согласно которому все свои расхождения по внешнеполитическим проблемам они оставляют «на берегу океана», то есть, находясь за рубежом, не позволяют себе «отсебятины» – высказываний, противоречащих официальной позиции государства.

Но главная беда заключалась в том, что именно сами тогдашние руководители государства без всякой нужды, ради

«новизны» стали делать заявления, по существу поощрявшие Японию к наращиванию давления на нас в вопросе о Южных Курилах, тем более что в Токио видели, как Горбачев и Шеварднадзе сдают позицию за позицией в других вопросах. Положение усугублялось и тем, что в нашей стране в эти годы появилось слишком много «знатоков» курильского вопроса, которые окончательно запутали людей.

Я не уверен, что раньше, до 1985 года, было достаточно ограничиваться отрицанием существования такого вопроса, поскольку он был уже решен в свое время. При всей правильности этой формулы важно было не просто повторять ее раз за разом, а **правильно и понятным языком** раскрывать ее смысл, не втягиваясь в то же время в бессмысленный спор по тем аспектам вопроса, которые не касаются его сути.

Это относится и к ныне ведущимся дискуссиям по поводу Курил. Так, например, возражающие против притязаний Японии на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – огромное внимание уделяют доказательствам того, что первооткрывателями этих, как и других Курильских островов, были русские, а не японцы. Судя по авторитетным исследованиям (не только русских, но и японских ученых), это действительно так. Но этот важный с исторической точки зрения факт на деле не имеет не только решающего, но вообще какого-либо значения – с точки зрения обоснованности нынешней принадлежности всех Курильских островов России. Ведь если бы первооткрывательство было положено в основу решения данного вопроса, то что будет, гипотетически рассуждая, если через какое-то время в результате обнаружения новых архивных, археологических или антропологических (вплоть до применения ДНК-анализа) данных окажется, что на каком-то из островов до русских побывали японцы, китайцы, корейцы или еще кто-нибудь? Начинай все сначала?

Не имеет в данном случае смысла и спор о том, по какому из российско-японских договоров до Второй мировой войны Курильские острова закреплялись за Россией, а по какому – за Японией, все ли острова или частично. Ведь в 1945 году все Курильские острова перешли к Советскому Союзу не по какому-то новому двустороннему договору в результате советско-японской войны. Это стало результатом большого геополитического катаклизма, каковым была Вторая мировая война. Подобно геофизическим катаклизмам, способным передвигать горы и менять русла рек (изменяя тем самым и границы государств), геополитический катаклизм такого масштаба не мог не повлечь за собой соответствующих последствий для главных виновников

войны – Германии и Японии.

Ведь часть Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область Российской Федерации) отошла к Советскому Союзу не потому, что руссы там были раньше, чем пруссы. Так же решался и вопрос о Курильских островах – **совершенно безотносительно к тому, кому и когда они принадлежали раньше**.

Достаточно внимательно прочитать Ялтинское соглашение трех великих держав от 11 февраля 1945 года, в котором вопрос о Курильских островах выделен в отдельный пункт и речь в нем идет о **передаче** Советскому Союзу этих островов в отличие от пункта, где говорится о **возвращении** Советскому Союзу Южного Сахалина. Смею заверить читателей, что употребление столь разных по значению терминов в политико-дипломатических документах того времени было отнюдь не случайным.

Заодно поясню, почему в Потсдамской декларации от 26 июня 1945 года говорится о том, что «японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем», но прямо не воспроизводится положение Ялтинского соглашения о передаче Курильских островов именно Советскому Союзу. Объяснялось это только тем, что на момент принятия в Потсдаме решения, подлежавшего немедленному опубликованию, СССР еще не вступил в войну с Японией и Ялтинское соглашение оставалось еще секретным.

Никаких разночтений между союзными державами относительно того, что понятие «Курильские острова» включает и так называемые Южные Курилы, не возникало ни при принятии решения в Ялте о их передаче СССР, ни при осуществлении этого решения на практике после капитуляции Японии. В направленной японским властям директиве Штаба оккупационных войск США № 647 от 29 января 1946 года относительно исключения из-под японской юрисдикции передаваемых Советскому Союзу Курильских островов перечислены все они, включая и Шикотан, и Хабомаи. Это полностью соответствовало и административному делению Японии, согласно довоенным японским справочникам и энциклопедиям.

Естественно, что это прекрасно понимала японская сторона и тогда, когда отказ Японии от «всех прав, правооснований и притязаний на Курильские острова» был закреплен в Сан-Францисском договоре, подписанном ею в сентябре 1951 года. Так, при ратификации этого договора в японском парламенте заведующий договорным отделом МИД Японии подтвердил, что «территориальные пределы Курильских островов, о которых говорится в договоре, включают в себя как северные Курильские

острова, так и южные Курильские острова».

Поэтому появившиеся позже утверждения, будто при подписании Сан-Францисского договора Япония не считала входящими в Курильские острова четыре острова, которые она стала называть не Южными Курилами, а «северными территориями», просто рассчитаны на несведущих людей. Так же как и заявления о том, что нам вообще не позволено ссылаться на Сан-Францисский договор, поскольку Советский Союз не подписывал его. Оставляя в стороне вопрос о том, насколько мудрым было это наше решение, с точки зрения международного права это не имеет значения для статуса Курильских островов. По такой логике можно было бы сказать, что, поскольку, скажем, Чехословакия не подписывала Акт о капитуляции Германии и не участвовала в принятии решений в Потсдаме, Судетская область должна была бы остаться в составе Германии. Или, может быть, кто-то по той же причине предложит Польше отдать свои западные земли Германии? Абсурд.

Столь же абсурдны ссылки на то, что в Сан-Францисском договоре говорится, мол, только об отказе Японии от притязаний на Курильские острова, но не сказано, в чью пользу. Во-первых, ни для кого не было секретом, в чьих руках они находились на момент подписания договора, а во-вторых, всем было известно и то, результатом чего это явилось. Если об этом приходится напоминать спустя более полувека после войны, то повинны в этом сами японцы и те, кто потакает им.

Кстати, и США, и другие западные державы, поддерживающие сейчас притязания Японии на четыре южных острова Курильской гряды, на момент подписания Сан-Францисского договора придерживались совсем другого мнения. Не кто иной, как Даллес в первый же день работы конференции в Сан-Франциско в связи с возникшим вопросом о географическом определении «Курильские острова» выразил некоторую неуверенность **только** относительно включения в это понятие мелких островков под общим названием Хабомаи, заявив, что в случае возникновения спора на этот счет следует обратиться в Международный суд. Другими словами, в 1951 году у Даллеса не было никаких сомнений в отношении вхождения Итурупа, Кунашира и Шикотана в Курильские острова. Изменилась позиция США лишь в 1956 году – этот факт, между прочим, подтвердил несколько лет тому назад в своем выступлении во Владивостоке тогдашний посол США в России Т. Пиккеринг.

Причина такого изменения позиции США именно в 1956 году вполне понятна. Хрущев опрометчиво решил соблазнить Японию посулами отдать ей два острова – Шикотан и Хабомаи – в

надежде оторвать ее от Соединенных Штатов. Последних же это подтолкнуло к более решительным шагам по привязке Японии к себе путем заключения Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности, а заодно и поддержкой ее притязаний на все Южные Курилы.

Такова история спора на пустом месте – суть же вопроса, повторяю, состоит в том, что для обоснования **принадлежности всех Курильских островов России** не требуется нагромождать множество доказательств и аргументов. Несведущим лицам, в том числе и политикам, следует всего лишь внимательно, с хорошим знанием русского языка прочесть соответствующие документы военного и послевоенного времени, а также вникнуть в смысл статьи 107 Устава ООН, которая гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям».

Устав ООН является основополагающим документом международного права. Следовательно, нет абсолютно никаких оснований говорить, подобно Ирине Хакамаде, будто сегодня нет международно-правовой базы для определения образа действий в курильском вопросе и поэтому, дескать, надо решать его иным образом.

Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что все Курильские острова принадлежат России, и решать, что делать с ними, как и с другими искони или не искони русскими землями, – это ее, и только ее суверенное право.

В заключение разговора о Курильских островах коснусь еще одного вопроса не юридического, а исторического порядка. Приходилось сталкиваться с суждениями, что, мол, не таким уж большим был вклад Советского Союза в разгром Японии, а поэтому мог бы он и поступиться этими четырьмя островами. Не вдаваясь в подробности, хотел бы просто привести некоторые факты. В течение 1941 – 1945 годов на оккупированной японцами китайской территории вдоль границы с СССР была дислоцирована Квантунская армия численностью в миллион человек – одна из самых боеспособных японских армий. Соответственно мы были вынуждены держать на Дальнем Востоке тоже мощную войсковую группировку, в то время как она очень пригодилась бы в европейской части страны, на германском фронте. Да, в тяжелые дни битвы за Москву и периодически в последующем с Дальнего Востока перебрасывалось по нескольку

дивизий, но вместо них сразу же создавались новые дивизии, в том числе за счет школьников, не достигших 18 лет, включая и девушек. А наличие нашей крупной группировки на Дальнем Востоке не давало Японии возможности перебросить Квантунскую армию в районы, где шли сражения с американцами, которые, конечно же, несли основную тяжесть войны с Японией.

Но вопреки тому, что говорилось и писалось на эту тему потом, руководство США не только должным образом оценивало факт сковывания Квантунской армии на советской границе, но и придавало весьма большое значение скорейшему вступлению Советского Союза в войну против Японии. Вот что писал Трумэн своей жене из Потсдама 18 июля 1945 года после первой беседы со Сталиным: «Начало положено. Я получил то, **ради чего я прибыл сюда** (выделено мною. – *Г. К.*). Сталин вступит в войну 15 августа без всяких условий. Теперь я могу сказать, что мы закончим войну на год раньше, и думаю о наших ребятах, которые не погибнут».

Есть и авторитетные свидетельства того, как по свежим следам, в августе 1945 года высоко оценивала американская сторона реальную роль, сыгранную Советским Союзом в капитуляции Японии. Приведу в качестве показательного примера заявление командующего военно-воздушными силами США в Азии генерала Ченнолта: «Вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не были применены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесенный Красной Армией по Японии, завершил окружение, приведшее к тому, что Япония оказалась поставленной на колени».

Все это тоже следовало бы знать тем, кто по молодости лет или по иным причинам недостаточно осведомлены о делах минувших дней, но подчас с поразительной легкостью и большим апломбом берутся судить обо всем на свете.

А что же случилось с «холодной войной»?

В настоящей книге приведены наиболее вопиющие свидетельства не оправданной никакими объективными причинами сдачи Горбачевым – Шеварднадзе военно-политических и геополитических позиций Советского Союза. Это было прискорбно не потому, что утраченные позиции нужны были Советскому Союзу для продолжения «холодной войны». Отнюдь нет. Они необходимы были для совершенно другого – для того,

чтобы покончить с «холодной войной», но завершить ее достойно, на основе равенства, без победителей и побежденных.

Добиться этого вполне позволяли те позиции, которыми Советский Союз обладал к началу свертывания «холодной войны» и которые, собственно и обеспечивали объективные предпосылки для ее прекращения. Только при завершении «холодной войны» на основе равенства возможно было бы заложить фундамент для новых, равноправных отношений между нашим государством и Западом в дальнейшем. Но такая реально существовавшая возможность была бездарно упущена.

А затем «холодная война», не успев закончиться (вопреки словесным декларациям на этот счет) в одночасье **прервалась**, поскольку прекратил свое существование Советский Союз как один из основных субъектов и главный объект этой войны. Подобный оборот дела – далеко не то же самое, что упорядоченное окончание «холодной войны» с планомерным переводом международных отношений на новый, неконфронтационный уровень.

Существовавшая в Советском Союзе социально-экономическая система стала разрушаться, а сам он – разваливаться вовсе не в результате «холодной войны», а в силу причин, о которых шла речь в предыдущей главе. Однако то, что развалу Советского Союза и демонтажу его внутреннего строя предшествовала сдача Горбачевым – Шеварднадзе мировых позиций нашей державы, во многом искажало действительную картину происходившего и давало западным руководителям определенные основания изображать дело таким образом, будто Запад одержал победу над Советским Союзом в «холодной войне», в результате чего, дескать, и наступило его крушение.

Отсюда проистекал победно-патерналистский подход Соединенных Штатов и в целом Запада к отношениям с Россией и другими государственными образованиями – бывшими республиками СССР. Такой подход на деле означал стремление строить свои отношения с ними не как с равноправными членами мирового сообщества, а в зависимости от того, в какой мере они готовы перестраивать по западному образу и подобию свою внутреннюю жизнь и следовать в фарватере США во внешних делах.

Положение усугублялось еще больше тем, что в течение многих лет подобная линия Запада не встречала противодействия со стороны руководства России, которое фактически продолжало пораженческую линию Горбачева – Шеварднадзе во внешних делах.

А когда Россия решилась, наконец, заговорить своим

собственным голосом в международных делах, она неизбежно сталкнулась и продолжает сталкиваться с отрицательными последствиями того, что в силу изложенных в данной книге причин так и не удалось «по-правильному» закончить «холодную войну» и, соответственно, создать такую новую основу для последующего развития международных отношений, которая исключала бы возможность возобновления подобной войны в той или иной форме.

notes

Примечания

1

В изданной уже после смерти Меньшикова его сыном книге воспоминаний «На 16-й стрит» упоминается, будто эти подарки передавал именно он, Меньшиков. В том, что это не соответствует действительности, можно убедиться, просмотрев советские или американские газеты за этот период.

2

Сейчас термин «бармен» уже не нуждается в переводе и пояснении, а вот тогда при расшифровке телеграммы из Вашингтона в Москве кто-то, видимо, не зная значения этого слова, напечатал его с заглавной буквы, превратив в фамилию, что в данном случае не меняло, конечно, сути дела.

З

Этот термин употреблялся не только в разговорной речи, но и в официальной переписке. Появился он, как и термин «дальние соседи», еще в 20-е годы, и его происхождение очень простое – до 1951 года МИД находился на Кузнецком мосту, буквально в двух шагах от КГБ, а военная разведка размещалась гораздо дальше от МИДа – в районе Арбатской площади. Так что все дело здесь в географии, а не в том, что политическая разведка ближе к МИДу, чем военная, по своей сути, как это иногда толкуют.

4

Именно в этот приезд в Нью-Йорк Хрущев прославился своим ботинком. Только стучал он этим ботинком не по ооновской трибуне, как обычно это изображают, а по столику перед своим креслом. У меня сохранилась фотография из одной американской газеты, на которой изображен этот эпизод.